

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

Политические
Исследования

POLIS
Political Studies

2020

6

ПОЛИС

Политические Исследования 6'2020

Научный и культурно-просветительский журнал
Издается с 1991 г.
Выходит 6 раз в год

2020 № 6

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.00](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.00)

ISSN (Print) 1026-9487

ISSN (Online) 1684-0070

Читайте в следующих номерах:

“Воображаемая политика” и коронавирус:
русский кейс

Институциональные факторы
в урегулировании этнических конфликтов

Успешность сецессий: к методологии анализа

Американский консерватизм
и вызов современного популизма

Структурные геополитические факторы
русской внешней политики

Учредители:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис”
 (“Политические исследования”)

Общероссийская общественная организация
 “Российская ассоциация политической науки”

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
 Российской академии наук

Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических
 и политических исследований

Московский государственный институт международных отношений
 (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

Издатель:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис”
 (“Политические исследования”)

Главный редактор:

С.В. Чугров

Научный советник:

И.К. Пантин

Редакция:

А.Л. Бардин, А.Н. Кокарева, Л.Н. Кузнецова,
 В.В. Лапкин (первый зам. главного редактора)

Оргподдержка:

Е.В. Рыжова

Компьютерная верстка:

И.М. Ситников

Журнал включен в ядро РИНЦ (двухлетний импакт-фактор без самоцитирования — 2,252),
 в Scopus (Sociology and Political Science, SJR Q2, Cite Score Q2), Web of Science (ESCI),
 Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science, ERIH PLUS.

Журнал входит в Перечень ведущих
 рецензируемых научных журналов
 и изданий, в которых должны быть
 опубликованы основные научные
 результаты диссертаций на соискание
 ученых степеней кандидата и доктора наук.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРНАЛА
 ПИ № ФС 77-73112 выдано
 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
 информационных технологий
 и массовых коммуникаций 22 июня 2018 г.

©НП “Редакция журнала “Полис”, 2020

POLIS.Political Studies

www.politstudies.ru

www.polismag.ru



ISSN 1026-9487



9 771026 948003 >

Polis. Political Studies 6'2020

Journal on Political Science, Political Sociology, International Relations, Political Philosophy

Published since 1991
Issued six times a year

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.00
<http://www.politstudies.ru>

CONTENTS

6 Presenting the Issue

- | | |
|---|---|
| <p>8 I.A. Istomin, A.A. Baykov. Alliances at the Service of Hegemony: Deconstruction of the Military Domination Toolbox</p> <p>26 L.L. Fituni, I.O. Abramova. Political Theory of Decolonization: Essentials of Modern Reading</p> <p>41 A.Yu. Melville, M.G. Mironyuk. "Political Atlas of the Modern World" Revisited</p> | <p>THEME OF THE ISSUE:
EXPERIENCES
OF A NEW PERUSAL
OF THE POLITICS
THEORY</p> |
|---|---|

- 62 T. Graham. China-Russia-US Relations and Strategic Triangles

- 73 I.N. Timofeev. "Sanctions for Sanctions Violation":
U.S. Department of Treasury Enforcement Actions
against Financial Sector

ORBIS TERRARUM

- 91 S.A. Kravchenko. COVID-19 Pandemic: Challenges to Global
Health – is Humanist Global Biopolitics Possible?

- 103 R.V. Petukhov. The Request for Change:
Political and Value Dimension

RUSSIA TODAY

- 119 S.N. Shkel. Political Attitudes of Local Elites in Contemporary
Russia (Cases of Municipalities of the Perm Territory)

- 135 A.I. Solovyov. Power and Politics. Polemic Notes about
"Damned Questions" of Political Science

- 148 V.V. Lapkin. The State in Times and Spaces:
Diversity and Variability

- 163 O.S. Kocherov. A "Philosophy to Come" in International
Relations: Fred Dallmayr's Apophatic Democracy

**REFLECTING ON
MATTERS IN PRINT**

- 173 A.B. Belousov. Paradoxes of the Power Vertical:
Retrospection, Imagination, Trauma

- 181 M.A. Yadova. Generation of Millennials in Russian Society:
In Search of Another Youth

189 The Journal in 2020 (Index)

192 Special Thanks to Our Reviewers

In the next issues: *"Imagined Politics" and Coronavirus: the Russian Case*
Institutional Factors in the Settlement of Ethnic Conflicts
The Success of Secessions: towards the Methodology of Analysis
U.S. Conservatism and the Challenge of Modern Populism
Structural Geopolitical Factors of Russian Foreign Policy

Founders: Noncommercial Partnership "Editorial Board 'Polis' ('Political Studies')"
Russian Public Organization "Russian Political Science Association"
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
Noncommercial Foundation – Institute of Socio-economic and Political Researches (ISEPR Foundation)
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation

Polis. Political Studies journal has a media registration certificate
PI No. FS 77-73112 issued on June 22, 2018,
by the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media.

The Journal has been included in Scopus
(Sociology and Political Science,
SJR Q2, Cite Score Q2),
and in the Web of Science
(Emerging Sources Citation Index),
Russian Science Citation Index (RSCI)
on the Web of Science platform, ERIH PLUS.

Полис. Политические Исследования 6'2020

6 Представляю номер

8 И.А. Истомин, А.А. Байков

Альянсы на службе гегемонии:
деконструкция инструментария
военно-политического доминирования

ТЕМА НОМЕРА:

26 Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова

Политическая теория деколонизации:
императивы современного прочтения

ОПЫТЫ
НОВОГО ПРОЧТЕНИЯ
ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ

41 А.Ю. Мельвиль, М.Г. Миронюк

“Политический атлас современности” revisited

62 Т. Грэм

Китай — Россия — США:
отношения и стратегические треугольники

73 И.Н. Тимофеев

“Санкции за нарушение санкций”:
принудительные меры Министерства финансов США
против компаний финансового сектора

ORBIS TERRARUM

91 С.А. Кравченко

Пандемия COVID-19: вызовы здоровью
населения мира — возможна ли гуманистическая
глоболокальная биополитика?

103 Р.В. Петухов

Запрос на перемены:
политико-ценностное измерение

119 С.Н. Шкель

Политические установки муниципальных элит
в современной России
(на примере муниципалитетов Пермского края)

РОССИЯ
СЕГОДНЯ

135 А.И. Соловьев

Власть и политика. Полемические заметки
о “проклятых вопросах” политической науки

148 В.В. Лапкин

Государство во временах и пространствах:
многообразие и изменчивость

163 О.С. Кочеров

“Грядущая философия” международных отношений
и апофатическая демократия Фреда Даллмайра

РАЗМЫШЛЯЯ
НАД ПРОЧИТАННЫМ

173 А.Б. Белоусов

Парадоксы вертикали власти:
ретроспекция, воображение, травмы

181 М.А. Ядова

Поколение миллениалов в российском обществе:
в поисках другой молодежи

189 Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 2020 г.

192 Особая благодарность нашим рецензентам

Международный консультативный совет

Оксана ГАМАН-ГОЛУТВИНА (председатель), доктор политических наук, чл.-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, Президент Российской ассоциации политической науки (Россия)
Бьорн ВИТТРОК, заслуженный профессор, Уппсальский университет (Швеция)
Александр ГАЛКИН, доктор исторических наук, почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН (Россия)
Михаил ГОРШКОВ, доктор философских наук, академик РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН (Россия)
Владимир ГУТОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории и философии политики СПбГУ (Россия)
Петр ДУТКЕВИЧ, доктор политических наук, профессор, Карлтонский университет, Оттава (Канада)
Такаса ИНОГУТИ, президент, Университет префектуры Ниигата (Япония)
Борис КАПУСТИН, доктор философских наук, старший преподаватель Йельского университета (США)
Тимоти КОЛТОН, профессор, Гарвардский университет (США)
Стейн Угелвик ЛАРСЕН, заслуженный профессор Университета Бергена (Норвегия)
Мари МАНДРАС, профессор Школы международных отношений Института политических исследований, Париж (Франция)
Александр НИКИТИН, доктор политических наук, профессор, директор Центра евроатлантической безопасности ИМИ МГИМО МИД России (Россия)
Игорь ПАНТИН, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН (Россия)
Юрий ПИВОВАРОВ, доктор политических наук, академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН (Россия)
Ричард САКВА, профессор, Кентский Университет (Великобритания)
Нобуо СИМОТОМАИ, профессор, Университет Хосэй, Токио (Япония)
Анн де ТАНГИ, профессор, Институт политических исследований, Париж (Франция)
Филипп ШМИТТЕР, заслуженный профессор, Институт Европейского Университета, Флоренция (Италия)

Редакционная коллегия

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической теории МГИМО МИД России
Владимир ГЕЛЬМАН, кандидат политических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
Андрей ДЕГТЯРЕВ, кандидат философских наук, профессор факультета политологии МГИМО МИД России
Михаил ИЛЬИН, доктор политических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Полина КОЗЫРЕВА, доктор социологических наук, первый зам. директора ФНИСЦ РАН, зав. центром лонгитудных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ
Владимир ЛАПКИН, ведущий научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, первый зам. главного редактора журнала "Политические исследования"
Марина ЛЕБЕДЕВА, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России
Ольга МАЛИНОВА, доктор философских наук, профессор, профессор НИУ ВШЭ
Борис МЕЖУЕВ, кандидат философских наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
Андрей МЕЛЬВИЛЬ, доктор философских наук, профессор, декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заслуженный деятель науки РФ
Владимир ПАСТУХОВ, доктор политических наук, профессор Колледжа Св. Антония, Оксфорд
Сергей ПАТРУШЕВ, кандидат исторических наук, зав. отделом сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН
Владимир ПЕТУХОВ, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН
Яков ПЛЯИС, доктор исторических и политических наук, профессор, профессор Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ирина СЕМЕНЕНКО, доктор политических наук, чл.-корр. РАН, зам. директора, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
Виктор СЕРГЕЕВ, доктор исторических наук, профессор, директор Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО МИД России
Леонид СМОРГУНОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политического управления факультета политологии СПбГУ
Александр СОЛОВЬЕВ, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Сергей ЧУТРОВ, доктор социологических наук, профессор МГИМО МИД России
Елена ШЕСТОПАЛ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Главный редактор:	С.В. ЧУТРОВ
Научный советник:	И.К. ПАНТИН
Редакция:	А.Л. БАРДИН, А.Н. КОКАРЕВА, Л.Н. КУЗНЕЦОВА, В.В. ЛАПКИН (первый зам. главного редактора)
Организационная поддержка:	Е.В. РЫЖОВА
Компьютерная верстка:	И.М. СИТДИКОВ

International Editorial Council

Oksana GAMAN-GOLUTVINA (chairman), Dr. Sci. (Pol. Sci.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Prof., Head of Comparative Political Science Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, President of the Russian Political Science Association (Russia)
Archie BROWN, Emeritus Prof., Oxford University (Great Britain)
Timothy COLTON, Prof., Head of the Department of Government, Harvard University (USA)
Piotr DUTKIEWICZ, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Carleton University, Ottawa (Canada)
Aleksandr GALKIN, Dr. Sci. (Hist.), Prof., honorary Dr. of Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Mikhail GORSHKOV, Dr. Sci. (Philos.), Academician, Director, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Vladimir GUTOROV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Department for Theory and Philosophy of Political Science, Saint Petersburg State University (Russia)
Takashi INOUCHI, President, Niigata Prefecture University (Japan)
Boris KAPUSTIN, Dr. Sci. (Philos.), Senior Lecturer, Yale University (USA)
Stein Ugelvik LARSEN, Emeritus Prof., University of Bergen (Norway)
Marie MENDRAS, Prof., Sciences Po University's School of International Affairs, Paris (France)
Aleksandr NIKITIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Director, Center for Euro-Atlantic Security, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs (Russia)
Igor PANTIN, Dr. Sci. (Philos.), Principal Researcher, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia)
Yuriy PIVOVAROV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of the Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Russia)
Richard SAKWA, Prof., University of Kent (Great Britain)
Philippe C. SCHMITTER, Emeritus Prof., European University Institute, Florence (Italy)
Nobuo SHIMOTOMAI, Prof., Hosei University, Tokyo (Japan)
Anne de TINGUY, Prof., Sciences Po Institute, Paris (France)
Björn WITTROCK, Emeritus Prof., Uppsala University (Sweden)

Editorial Board

Tatyana ALEKSEYEVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Theory Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Sergey CHUGROV, Dr. Sci. (Soc.), Prof., Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Andrey DEGTAREV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Faculty of Political Science, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Vladimir GELMAN, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Faculty of Political Sciences and Sociology, European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia
Mikhail ILYIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor in Ordinary of National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Polina KOZYREVA, Dr. Sci. (Soc.), First Deputy Director of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Head of the Center for Longitudinal Studies at the Institute for Social Policy of the National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Vladimir LAPKIN, Cand. Sci. (Chem.), Leading Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, First Deputy Editor-in-Chief, Polis. Political Studies, Moscow, Russia
Marina LEBEDEVA, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of World Political Processes Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Olga MALINOVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Prof., National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Andrey MELVILLE, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Dean, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics, Honored Scientist of Russia, Moscow, Russia
Boris MEZHUEV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Vladimir PASTUKHOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., St. Antony's College, Oxford, Great Britain
Sergey PATRUSHEV, Cand. Sci. (Hist.), Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Vladimir PETUKHOV, Cand. Sci. (Philos.), Head of the Center of the Comprehensive Social Studies, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Yakov PLEIS, Dr. Sci. (Hist., Pol. Sci.), Prof., Prof. of Political Science Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Irina SEMENENKO, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director, Head of the Center for Comparative Socio-Economic and Political Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Viktor SERGEEV, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Director, Center for Global Problems, Institute of International Studies, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Yelena SHESTOPAL, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head the Chair of Sociology and Psychology of Politics, Department of Political Science, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Leonid SMORGUNOV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Governance Department, Faculty of Political Science, Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Aleksandr SOLOVYOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Editor-in-Chief:	S.V. CHUGROV
Academic Adviser:	I.K. PANTIN
Editorial Staff:	A.L. BARDIN, A.N. KOKAREVA, L.N. KUZNETSOVA, V.V. LAPKIN (First Deputy Editor-in-Chief)
Organizational Support:	E.V. RYZHOVA
Computer Layout:	I.M. SITDIKOV

*Наше знание —
сила и оружие.
Люди — лодки.
Хотя и на суше.*
В. Маяковский

Дорогой читатель! Когда я итожу то, что прожил, останавливает мысль, что мне повезло стать свидетелем важных событий и контактировать с уникальными людьми. Наша с вами “лодка” вошла в круговорот памятных для политологии дат, и я озадачился вопросом: что и как нам еще предстоит вспомнить в ковидную эпоху? Кого успели поздравить, а кого нет?

В памяти всплывает встреча с блистательным В.И. Гантманом, одним из отцов-основоположников нашей политической теории, в 1987 г., когда директор ИМЭМО Е.М. Примаков, тоже выдающаяся личность, взял меня зам. главного редактора в журнал “МЭиМО”. Владимир Израилевич (в этом году ему исполнилось бы 95) тогда поразил меня, сказав, что политология в нашем Отечестве зародилась в эпоху тоже Владимира, но только — Мономаха (многотомная “Антология мировой политической мысли” датирует ее началом первой половины XII в.).

6 История РАПН складывание нашего профессионального сообщества относит к 1955 г., к появлению Секции экономических, философских и правовых наук Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Ностальгические заплывы в многодате прошлого побуждают ассоциировать наш день рождения также с 1960 г., когда в апреле упомянутая секция реорганизовалась в Советскую Ассоциацию политических (государствоведческих) наук, а в декабре Президиум Академии наук СССР одобрил ее переход в Отделение экономических, философских и правовых наук (некоторые коллеги считают, что организация встала на ноги в 1961 г.). Период между апрелем и декабрем 1960 г. был временем промыслительных событий, кардинальным образом сказавшихся на траектории нашей жизни. Каждый выбирает себе веху по вкусу и разумению — 60 или 65 — но как ни взгляни, текущий год — определенно юбилейный...

Пандемия коронавируса смазала торжественность событий, дала благовидный повод, чтобы “забыть”, что-то “не заметить”; но это даже не столь важно. Важен сегодняшний итог — то, что “Полис” с вами, а этот номер выходит накануне очередной конференции РАПН, которая, несмотря на “мрак, который ныне зараза, гостя наша, насылает на самые блестящие умы”, собирается в немыслимом ранее очно-онлайновом формате. И в этом большая заслуга уникальной личности — **Оксаны Викторовны Гаман-Голутвиной**, президента РАПН, ученого, блестяще доказавшего всем свое право быть членом корреспондентом Академии. Ее личные достижения в социальных науках коррелируют с тем, что ей удалось сделать на общественном поприще для объединения политологов, более того — для улучшения условий нашего существования, сохранения внутренней сбалансированности в турбулентной среде, возведения заслона от попыток подорвать извне основы идентичности сообщества. “Полисная” страница ее жизни — это отдельная история. Дважды в трудные времена она, председатель Международного консультативного совета “Полиса”, без раздумий пришла на помощь и затем организовала стратегическую поддержку

журнала, оказавшегося перед нестерпимым выбором: согласиться на “хирургическую операцию” по смене ориентации, своего естества, или — смириться с исчезновением. (Тогда я особенно остро почувствовал сокровенный смысл слова “полис” — “страховка”, полученная нами гарантия защиты от институциональной энтропии.) Мы и выжили, и не согнулись. Желаю конференции РАПН “семь футов под килем” в плавании по морям политологии, а Оксане Викторовне — многотерпения и радостей!

“Тема номера” этой книжки “Полиса” созвучна теме конференции РАПН — “Опыты нового прочтения теории политики”. Она открывается статьей **Игоря Истомина** и **Андрея Байкова** “Альянсы на службе гегемонии: деконструкция инструментария военно-политического доминирования”, дающей новое осмысление сущности великодержавности и доминирования в условиях происходящего на наших глазах нарастания анархии в международных отношениях. Деконструкция системы показывает, что Вашингтон пытается компенсировать хаотизацию за счет укрепления асимметричных альянсов, в то же время тяготясь ими. Мы у порога реконфигурации союзов и, возможно, смены парадигмы. Какой она будет?

В круговерти юбилейных дат — статья флагманов нашей африканистики **Леонида Фитуни** и **Ирины Абрамовой**. Они рассматривают механизмы избавления от постколониального доминирования в статье “**Политическая теория деколонизации: императивы современного прочтения**”. Опять в фокусе знаменательный 1960 г.! Тогда, в декабре, на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Подводя итоги прошедших за 60 лет в мире трансформаций, авторы дают критическую оценку современному этапу *постнеоколонизма* и задачам новой деколонизации, предполагающей многовариантность траекторий развития.

Андрей Мельвиль (а его юбилей в этом году тоже пришелся на разгар пандемии) с соавтором **Михаилом Мироноком** предлагает статью “**“Политический атлас современности” revisited**”, в которой в рамках стилистики популярного жанра “*revisited*” представлены результаты нового этапа исследований по проекту на платформе Университета МГИМО, прогремевшему в среде экспертного сообщества более десяти лет назад. В нынешней версии развития проекта (НИУ ВШЭ) сделан шаг к переходу от статической к динамической картине “современности”, с учетом новых данных и уточненных методов многомерного статистического анализа.

Американского опытного дипломата с солидным академическим бэкграундом **Тома Грэма** я помню с конца 1980-х годов. Уже тогда я мечтал напечатать его в журнале, напоминал ему об обещании дать статью во время встреч в США, Китае, на Примаковских чтениях. И вот, наконец, итог “кругосветки” напоминаний — статья “**Китай — Россия — США: отношения и стратегические треугольники**”, занятное интеллектуальное плавание! Текст блестяще перевел на русский научный редактор “Полиса” Андрей Бардин.

Прерву рассказ об “изюминках” номера, чтобы нарушить свой зарок — не перечислять всех славных юбиляров. Но сегодня, когда пишутся эти строки — 26 октября, 75 лет **Андрею Афанасьевичу Кокошину**, “человеку-крейсеру”. Полвека общения с ним стали свидетельством выдающихся качеств его пассивной натуры. Салют академику! И салют всем юбилярам необычного года, кто составляет “силу и оружие” российской политологии!

Сергей Чугров

АЛЬЯНСЫ НА СЛУЖБЕ ГЕГЕМОНИИ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОМИНИРОВАНИЯ

И.А. Истомин, А.А. Байков

ИСТОМИН Игорь Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем, МГИМО МИД России, Москва; приглашенный исследователь Центра Дэвиса, Гарвардский университет, Кембридж, Масс. (США), email: i.istomin@inno.mgimo.ru; **БАЙКОВ Андрей Анатольевич**, кандидат политических наук, доцент, и.о. проректора по научной работе и международному сотрудничеству, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, Москва, email: baykov@mgimo.ru

Истомин И.А., Байков А.А. Альянсы на службе гегемонии: деконструкция инструментария военно-политического доминирования. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 8-25. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.02>

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда (проект № 17-78-20170 “Типология современных военно-политических союзов и модели отношений России с союзниками”). Авторы выражают признательность Александру Кули, Н.Ю. Силаеву, Анджеле Стент, А.А. Сушенцову, М.В. Харкевичу за ценные идеи и комментарии, полученные в ходе дискуссий.

Статья поступила в редакцию: 15.04.2020. Принята к публикации: 08.07.2020

Аннотация. Важное место в отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных особенностям мирополитических практик крупных держав в условиях анархии, отведено концепциям великодержавности, доминирования, гегемонии. Между тем специфические формы этих феноменов, равно как и практические инструменты, посредством которых ведущие игроки стремятся структурировать международную среду, нередко остаются за рамками подробного разбора. Настоящее исследование призвано оценить, в арсенале державной политики, значение такого инструмента военно-политического доминирования, как асимметричные альянсы. В статье показано, что, хотя после Второй мировой войны, в рамках биполярной структуры международного силового баланса, традиционные функции агрегирования потенциалов в значительной мере утратили значимость, асимметричные альянсы оказались прочно вплетенными в практики американского доминирования — в качестве механизма закрепления гегемонии США. Они обеспечивали контроль над кругом привилегированных партнеров в ключевых регионах мира и проецирование силы Соединенных Штатов. В настоящее время альтернативные центры силы стремятся к делегитимации этого механизма военно-политического взаимодействия, обличая его как инструмент подчинения более слабых государств, противопоставляя им равноправный характер инклюзивных диалоговых форматов. Да и сами Соединенные Штаты нередко тяготеют институциональными сдержками союзнических отношений, подвергая сомнению их востребованность, руководствуясь прежде всего утилитарными соображениями. На этом фоне значение асимметричных альянсов в международной политике в предстоящие десятилетия может снизиться вслед за ослаблением гегемонии, которую они призваны были поддерживать, что потребует креативности восходящих держав, нуждающихся в новых институциональных механизмах фиксации регионального, а возможно, и глобального доминирования.

Ключевые слова: гегемония, США, альянс, великие державы, мирорегулирование, коалиция, асимметрия.

Дискуссии относительно характера структурирования международной системы нередко страдают от попыток крупными мазками выделить общие

тренды и закономерности эволюции глобальной среды. Поэтому может затеряться значение практических инструментов, посредством которых государства стремятся упорядочить собственное международное окружение. Так, большое внимание в отечественных и зарубежных исследованиях уделяется концепциям великодержавности, доминирования, гегемонии [Gilpin 1981; Mearsheimer 2001; Шаклеина 2013], но их конкретные формы проявления и механизмы реализации нередко упоминаются без специального анализа.

Настоящее исследование призвано отчасти восполнить обозначенную лауну, оценив роль и место такого инструмента военно-политического доминирования в арсенале державной политики, как асимметричные альянсы. В соответствии с классическим определением, альянс представляет собой объединение двух и более государств, связавших себя обещаниями взаимной военной помощи [Wolfers 1968: 268]. Далее мы рассмотрим лишь те из случаев союзничества, которые предполагают наличие формализованных обязательств между их участниками¹.

Подобные объединения имеют широкое распространение в современном мире, и последующий анализ призван доказать, что оно напрямую обусловлено практиками американской гегемонии. При этом структурные сдвиги в международной политике порождают вызовы не просто для поддержания существующих ныне альянсов, но и для данного типа оформления отношений военно-политической зависимости в принципе.

Обоснование этих тезисов будет последовательно изложено в четырех разделах. Вначале будет рассмотрена историческая эволюция феномена союзничества как такового и предложено теоретическое объяснение логики формирования асимметричных альянсов. Последующий анализ опыта Соединенных Штатов с середины XX в. позволит проиллюстрировать эмпирическую применимость сформулированной модели. Затем на примерах 2000-2010-х годов будет продемонстрирован постепенный отход США от опоры на ранее созданные механизмы. Рассмотренные в этом контексте подходы к военно-политическому союзничеству других крупных держав (России, Китая, Индии), на наш взгляд, способствуют подтверждению привязки этой формы доминирования к практикам американской гегемонии. Наконец, в заключение будут оценены перспективы сохранения асимметричных альянсов и возможности их замещения иными механизмами политической кооперации.

ЛОГИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСИММЕТРИЧНЫХ АЛЛЯНСОВ

Анализ причин создания военно-политических альянсов традиционно опирался на модель агрегирования потенциалов (*capabilities aggregation model*) [Johnson 2017] и союзничество рассматривалось как инструмент привлечения ресурсов третьих стран для дополнения или замещения собственных возможностей в противоборстве с конкурентами. Иными словами, альянсы были ориентированы на достижение предпочтительного соотношения сил в условиях соперничества. На протяжении столетий европейские державы прибегали к такого рода объединениям для поддержания силового баланса в рамках полицентричной системы. Хотя логика *Realpolitik* подразумевает в первую очередь временные коалиции, возникающие в ответ на отдельные кризисы, государства демонстрировали растущую готовность вступать в долгосрочные союзнические

¹ Относительно альтернативного понимания альянсов см. [Walt 1990].

отношения даже в условиях мирного времени. Своего апогея эта политика достигла в канун Первой мировой войны, когда в Европе сложились два противостоящих блока — Тройственный союз (Австро-Венгрия, Германия и Италия) и Антанта (Великобритания, Россия, Франция) [Snyder 1997]. Исследователи неоднократно обращали внимание на то, что опора на союзников связана с рисками для национальной безопасности. Реалисты сомневаются в надежности военно-политических обязательств в отсутствие действенных санкций в отношении государств, их нарушающих [Waltz 1979: 168]. Альянсы обостряют дилемму безопасности, так как эксклюзивные форматы сотрудничества ограниченной группы государств усиливают опасения за собственную безопасность у их соседей [Vasquez 1993; Gibler, Vasquez 1998; Weitsman 2004].

Эти риски не останавливали участников международной политики от выстраивания союзнических отношений. Хотя союзничество и не всегда позволяло приобрести преимущества, отказ от него порождал угрозу внешнеполитической изоляции. Даже если оно оказывало дестабилизирующее воздействие на международную среду, каждый из участников по отдельности сохранял мощные стимулы к опоре на этот инструментарий, что порождало ситуацию, типологически сводимую к модели “трагедии общин” [Hardin 1968].

Во второй половине XX в. ситуация радикально изменилась. Появление ядерного оружия коренным образом трансформировало представления о возможностях обеспечения национальной безопасности. Такого рода потенциалы стали рассматриваться как идеальный инструмент возмездия в случае агрессии [Jervis 1989; Mandelbaum 1981]². Потенциал ведущих держав стал в еще большей степени, чем ранее, определяться их собственным арсеналом. Военно-политические альянсы не могли существенным образом повлиять на соотношение сил СССР и США, безопасность которых в первую очередь обеспечивалась возможностью гарантированного уничтожения противоположной стороны.

Модель агрегирования потенциалов перестала адекватным образом объяснять союзничество, тем не менее описанные изменения не привели к исчезновению этого феномена. Напротив, во второй половине XX в. наблюдалось широкое распространение функционирующих на протяжении длительного времени глубоко институционализированных альянсов.

Наиболее ярким примером такого рода объединений стала Организация Североатлантического договора, нередко претендующая на статус самого успешного альянса в истории³. Это далеко не единственный пример современного союзничества. Среди других — АНЗЮС, Организация Варшавского договора, Организация Договора о коллективной безопасности, Пакт Рио, а также двусторонние альянсы США с рядом азиатских государств (Республикой Корея, Таиландом, Филиппинами, Японией).

Все эти случаи объединяет асимметричный характер отношений между участниками. В них наличествует явный лидер (который, кроме прочего, предоставляет ядерные гарантии партнерам), а также ряд младших союзников.

² Разрушительная мощь ядерного оружия и способность государств к осуществлению возмездия в ряде случаев ставились под вопрос [Фененко 2018; Long, Green 2015]. Тем не менее убежденность в исключительной разрушительной силе ядерного потенциала оставалась достаточной для того, чтобы удерживать лиц, принимающих решения, от проверки этого потенциала на практике.

³ Stoltenberg J. Press conference by NATO Secretary General ahead of the Leaders’ Meeting in London on 3 and 4 December. — *NATO*. 29.11.2019. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171460.htm?selectedLocale=ru (accessed 21.09.2020).

Такого рода объединения выступают не столько механизмом агрегирования потенциалов, сколько инструментом гегемонистского менеджмента — даже если безопасность крупной державы не зависит от малых и средних стран, альянс с ними способствует закреплению ее международно-политического доминирования. Он предоставляет ей возможность влиять на внешнюю (а иногда и внутреннюю) политику последних [Morrow 1991; Истомин, Байков 2019].

Доминирующая держава может опираться в первую очередь на союзников для проекции силы за пределы альянса. Их вклад представляет ценность не только, а зачастую и не столько в контексте противостояния сопоставимым конкурентам, сколько в противодействии угрозам трансграничного перелива нестабильности, принуждения более слабых стран в удаленных регионах и обеспечения контроля над морскими пространствами. Он связан с выполнением крупной державой присвоенной ей функции мирорегулирования. Наличие союзников обеспечивает ряд преимуществ в этом контексте. В частности, несмотря на повышение связанности международной среды под влиянием технологических инноваций, проекция силы на значительные расстояния по-прежнему связана с логистическими трудностями. В этих условиях союзники выступают в качестве точек доступа для лидера альянса к возможностям базирования, захода, ремонта, пополнения запасов его вооруженных сил, расширяя сферу их применения в различных регионах мира.

Порой они также предоставляют собственные подразделения для выполнения миссий, которые требуют значительных масштабов военного присутствия. Длительная оккупация третьей страны может быть связана с меньшей интенсивностью боевых действий, чем ее завоевание, но при этом требует значительного контингента. Удержание территориального контроля порождает большие трудности по сравнению с разгромом вооруженных сил противника.

Наконец, даже союзники, не принимающие непосредственного участия в кампаниях патрона, приносят пользу, выражая дипломатическую поддержку и подкрепляя его правоту. Международная политика редко приобретает характер неограниченной “войны всех против всех”. В той или иной степени она всегда носит упорядоченный характер [Bull 1977], а потому даже самые крупные государства стремятся представлять собственные действия как правомочные. Легитимируя политику крупной державы, малые и средние страны помогают ей манипулировать стандартами приемлемости в тех случаях, когда ее поведение выходит за рамки международного права.

Наряду с задействованием союзников для проецирования силы в отношении третьих стран крупные державы также используют альянсы в качестве инструмента контроля над самими их участниками [Gelpi 1999; Pressman 2011]. Возможно принуждение малых и средних стран к свертыванию взаимодействия с противниками стран — лидеров альянсов. Крупные державы также нередко заинтересованы в ограничении военно-политического потенциала союзников, в том числе удерживая их от создания собственного потенциала ядерного сдерживания [Security assurances... 2012]. Через такие механизмы контроля они предотвращают возникновение новых конкурентов.

В литературе альянсы нередко характеризуются как инструменты “двойного сдерживания”, т.е. закрепления ограничений на внешнеполитический волюнтаризм как третьих стран, так и самих участников объединения. На протяжении истории между союзниками зачастую возникали вооруженные конфликты, но в условиях асимметрии вероятность выступления младших

партнеров против крупной державы сравнительно низка. В то же время последняя может прибегать к различным мерам дисциплинарного характера в случае недовольства поведением малых и средних стран.

В обмен на согласие с доминированием крупной державы младшие партнеры в асимметричных альянсах получают ряд благ, в частности военно-политические гарантии своей безопасности. Они также могут выторговывать побочные выплаты за содействие военным кампаниям крупного государства и выполнение других услуг. Даже в тех случаях, когда они малозначимы для доминирующей державы, передаваемые материальные и символические блага оказываются ценными для малых и средних стран.

Кроме того, институционализация сотрудничества с крупной державой позволяет младшим партнерам в альянсе ограничивать наиболее очевидные проявления ее волюнтаризма посредством перевода отношений во взаимодействие по правилам. Эти нормы неизбежно будут отражать в первую очередь предпочтения крупной державы, но они обеспечат большую предсказуемость внешней среды для малых и средних стран. Регулярная коммуникация в рамках альянса также обеспечивает их каналами донесения собственных интересов, позволяя воздействовать на решения доминирующей державы [Ikenberry 2019; Risse-Kappen 1995]. Такого рода преимущества неспособны полностью компенсировать диспаритет, но могут, по меньшей мере, несколько ослабить его негативные последствия для малых и средних стран.

Функционирование асимметричных альянсов определяется способностью государств обмениваться разными типами благ, что обеспечивается неравномерностью их изначального распределения. Описание логики этого процесса стоит искать в теории конкурентных преимуществ Дэвида Рикардо: игроки обменивают те товары, которые они способны производить с меньшими затратами, на те, которых им не хватает [Рикардо 2007]. При этом в международно-политическом торге задействуется более широкий спектр благ, чем в экономическом взаимодействии. Крупная держава обладает большими военными и финансовыми ресурсами, но нуждается в легитимирующем потенциале, пространственном доступе, а также в нишевых возможностях иных игроков.

Сами альянсы выступают инструментами долгосрочного закрепления обязательств по поддержанию обмена разнотипными благами на привилегированных основаниях. При этом непосредственные условия таких обменов становятся предметом отдельных договоренностей. Разрыв альянса связан с репутационными потерями и транзакционными издержками, что повышает его способность сигнализировать серьезность ориентации на кооперацию. В то же время главные преимущества, которые государства стремятся приобрести от союзничества, редко попадают в договоры, его оформляющие. Они становятся объектом последующего торга и часто неформальных сделок между взаимодействующими сторонами.

Соотношение выгод и издержек как для крупных держав, так и для малых и средних стран объясняет логику использования асимметричных альянсов для закрепления международной гегемонии. Для подтверждения реальной востребованности этого инструментария в следующем разделе будет рассмотрен опыт Соединенных Штатов. Выбор США в качестве примера для эмпирического исследования обусловлен как их ведущим положением в международной системе, так и широтой охвата сети юридически оформленных союзнических отношений.

АСИММЕТРИЧНЫЕ АЛЬЯНСЫ В АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ

Соединенные Штаты представляют собой наиболее яркий пример крупной державы, использующей союзничество с малыми и средними странами для фиксации своей гегемонии⁴. Именно США стали главным автором этой модели проекции внешнеполитического влияния в середине XX в. Хотя на протяжении большей части истории, следуя заветам своего основателя⁵, Вашингтон не связывал себя долгосрочными обязательствами, после Второй мировой войны он развернул обширную сеть асимметричных альянсов, распространяющуюся на несколько регионов мира [Beckley 2015; Истомин, Байков 2019].

Первым ее элементом стал Межамериканский договор о взаимной помощи, подписанный в 1947 г., известный также как Пакт Рио. В 1949 г. США сыграли лидирующую роль в создании Организации Североатлантического договора. После начала Корейской войны в 1950 г. они пошли на установление союзнических отношений с рядом представителей АТР, в том числе с Японией, Австралией и Новой Зеландией (1951), Республикой Корея (1953), Тайванем (1954). Кроме того, в 1950-х годах под патронатом США были заключены Багдадский и Манильский пакты с участием государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии соответственно. Однако оба они оставались пассивными объединениями и свернули свою деятельность в 1970-х годах.

Базовая архитектура американской сети военно-политических обязательств сформировалась уже к середине 1950-х годов. В основу ее структурирования был положен принцип регионального деления, предполагающий создание несколько отличающихся институциональных механизмов для Тихоокеанской Азии, Евро-Атлантики и Латинской Америки. Именно эти регионы выделялись как наиболее значимые для США в период холодной войны. В дальнейшем они претерпевали сравнительно незначительные изменения, притом что состав союзников США менялся⁶.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировалась система “оси и спиц”, предполагающая выстраивание отношений с отдельными привилегированными партнерами в рамках двусторонних альянсов. Американское присутствие в Европе обеспечивалось многосторонним и высокоинституционализированным блоком. В Латинской Америке был также создан многосторонний формат сотрудничества, но практическое взаимодействие с латиноамериканскими государствами США в большей степени выстраивали по двусторонним каналам.

Подобные различия в дизайне альянсов отражали как разницу в уровне доверия Соединенных Штатов к партнерам, так и их неодинаковую геостратегическую значимость. Двусторонние механизмы обеспечивали более высокий уровень контроля Вашингтона над контрагентами, но порождали большие транзакционные издержки и материальные затраты в расчете на

⁴ Подробнее об основаниях американской гегемонии см. [Богданов 2014].

⁵ Washington G. *Farewell Address*. 1796. URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp (accessed 21.09.2020).

⁶ В Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты отказались от договорных обязательств в отношении Тайваня после нормализации отношений с КНР, хотя и продолжили оказывать ему поддержку на основе внутреннего законодательства. В 1980-х годах из-за споров относительно доступа американских ядерных сил произошел разрыв военно-политического сотрудничества между США и Новой Зеландией. Наконец, в 2000–2010-х годах из состава Пакта Рио вышли сначала Мексика, а потом и участники Боливарианской альтернативы для Латинской Америки (Боливия, Венесуэла, Куба, членство которой и так было приостановлено, Никарагуа). При этом численность европейских союзников США сильно выросла, особенно с 1990-х годов. К 2020 г. НАТО расширилось до 30 государств-членов.

одного союзника. Многосторонние форматы создавали мультипликативные эффекты от взаимодействия между участниками альянса, повышающие возможности проецирования силы вовне, но осложнявшие принятие решений внутри объединений [Cha 2016].

Несмотря на то что американская сеть альянсов создавалась в условиях интенсивного противоборства с Советским Союзом, она изначально не рассматривалась как инструмент агрегирования дополнительного потенциала [Jervis 1980]. Асимметричные обязательства, особенно на ранних этапах холодной войны, в ключевых регионах мира повышали издержки США и порождали опасения относительно перспектив втягивания в конфронтацию, грозящую перерастанием в глобальный конфликт.

Создаваемые альянсы служили прежде всего инструментом контроля над самими союзниками. Они были призваны ограничить взаимодействие ключевых малых и средних стран с советским блоком и одновременно удержать их от авантюрных провокаций, грозящих дестабилизирующей эскалацией. В основе американской стратегии лежало стремление сохранить контроль над большинством ведущих центров промышленного и военного производства в мире, с тем чтобы предотвратить аккумуляцию враждебного потенциала, угрожающего Соединенным Штатам⁷. В этом контексте неудивительно признание первого генерального секретаря НАТО лорда Исмэя о том, что альянс создавался для того, чтобы удержать “США в Европе, СССР вне ее, а Германию под контролем”. С точки зрения Вашингтона союзничество в период холодной войны представляло интерес в первую очередь как инструмент удержания большого числа значимых стран от развития связей с Советским Союзом и от их превращения в независимых игроков.

В связи с этим Соединенные Штаты нередко демонстрировали готовность применять дисциплинарные меры в случае подозрения союзников в недостаточной лояльности. Подобные практики получили наиболее широкое распространение в Латинской Америке, тогда как в Европе отдельные государства смогли обрести большую степень автономии. Примером тому стало заключение Германией контрактов на поставки советского газа в 1970-х годах, против которых активно выступал Вашингтон [Смирнов 2011].

Вместе с тем США относительно спокойно воспринимали эксплуатацию их гарантий безопасности союзниками и стремление последних экономить на собственных вооруженных силах (особенно в случае Японии). Болезненной они относились к поползновениям этих стран в сторону создания автономного потенциала ядерного сдерживания [Lanoszka 2018]. Пример Франции показывал, что его появление уменьшало необходимость оглядываться на мнение Вашингтона.

Опора на альянсы как инструменты контроля потенциальных конкурентов сохранилась и после окончания холодной войны. В изменившихся условиях с точки зрения Соединенных Штатов более востребованным становился вклад союзников в проецирование силы в отношении третьих стран. Они спокойно относились к большему внешнеполитическому активизму самих партнеров, сохраняя за собой “программирующее лидерство” — способность диктовать общую повестку развитых стран в мирорегулировании [Троицкий 2002].

⁷ На конец 1940-х годов глава Отдела политического планирования Государственного департамента Джордж Кеннан насчитывал пять таких центров: США, Великобритания, Германия, Япония и СССР. В условиях, когда последний рассматривался в качестве враждебного игрока, США стремились установить надежный контроль над оставшимися тремя [Gaddis 2005: 28-29].

Еще в предшествующий период США избирательно привлекали союзников к участию в своих войнах (например, в Корее и во Вьетнаме). В 1990-2010-х годах интенсивность американских интервенций возросла. При этом Соединенные Штаты предпочитали действовать в составе многосторонних сил. Широкую известность приобрело выражение сенатора Ричарда Лугара о том, что НАТО должно начать действовать за пределами традиционной сферы ответственности или исчезнуть (*“out of area or out of business”*)⁸.

Уже в 1991 г. в войне с Ираком Вашингтон опирался на поддержку широкого круга стран, которые в том числе взяли на себя большую часть финансовых издержек. Аналогичным образом реализовывались операции в Югославии, Афганистане, на Ближнем Востоке. Даже вторжение в Ирак 2003 г., которое осудила значительная часть традиционных союзников, США стремились представить как действия коалиции, включавшей почти пять десятков стран [Newnham 2008]. Альянсы и прежде всего НАТО играли значимую роль в проецировании силы США.

В этом контексте сторонники сохранения американской гегемонии рассматривают международные альянсы как значимый инструмент внешней политики Вашингтона [Brooks, Ikenberry, Wohlforth 2013; Brooks, Wohlforth 2016]. Они характеризуют союзников как уникальный актив США в сравнении с другими крупными державами, обеспечивающий им доступ в удаленные регионы мира, поддержку их инициатив, возможность опираться на технологические, экономические и военные достижения других развитых стран.

Политика Вашингтона по формированию и поддержанию сети асимметричных альянсов вполне соответствует изложенным выше теоретическим представлениям относительно этого инструментария. Союзнические отношения с широким кругом стран в ключевых регионах мира сформировали институциональное ядро американской гегемонии, которое в базовых параметрах остается неизменным с 1950-х годов.

В то же время функциональное значение союзничества в американской политике со временем менялось. С 1990-х годов Вашингтон сместил акценты с задач контроля потенциальных конкурентов посредством альянсов к большей опоре на них для проецирования силы. Такая переориентация ставила вопрос о способности ранее сложившихся институтов американской гегемонии адаптироваться к новым условиям. Вопрос о том, в какой степени именно долгосрочные альянсы выступают предпочтительным инструментом американского доминирования, остается открытым.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОМИНИРОВАНИЯ США

Вклад союзников в реализацию американской стратегии признают далеко не все представители политического и экспертного истеблишмента Соединенных Штатов, и он остается предметом дискуссий. Более того, действия США нередко идут вразрез с представлениями о союзничестве как привилегированном формате отношений с малыми и средними странами, обеспечивающем стабильность американского доминирования.

Широкий резонанс получили скептические высказывания о союзниках Дональда Трампа, который еще в ходе кампании 2016 г. обвинял их в пара-

⁸ Rosenfeld S.S. NATO's Last Chance. — *The Washington Post*. 02.07.1993. URL: <https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1993/07/02/natos-last-chance/22054ea7-5958-44b0-9e6a-212ee1da51de/> (accessed 21.09.2020).

зителировании на американских гарантиях безопасности⁹ и угрожал разрывом существующих договорных обязательств. Между тем подобная риторика оригинальна разве что резкостью формулировок.

В 2011 г. министр обороны США Роберт Гейтс выступил с разгромной критикой европейской союзников. Он отмечал низкие операциональные возможности большинства из них, указывая, что без перераспределения бремени расходов будущие лидеры Соединенных Штатов “могут посчитать выгоды от американских инвестиций в НАТО несопоставимыми с издержками”¹⁰. Показательно, что предостережения звучали из уст представителя администрации Барака Обамы. Последний пользовался популярностью среди американских союзников как раз благодаря восстановлению связей, пострадавших в период президентства Джорджа Буша — младшего.

Предшествующая администрация, особенно в 2003–2004 гг., также достаточно низко оценивала значение долгосрочных альянсов, демонстрируя готовность жертвовать отношениями с их участниками ради достижения краткосрочных целей. Только после провала первоначальных планов интервенций в Ираке и Афганистане Дж. Буш — младший переосмыслил значение союзничества и уделил больше внимания этому инструментарию. Опыт 2000-х годов свидетельствует, что утверждения о беспрецедентном характере обострения противоречий между США и их союзниками после, при Д. Трампе, сильно преувеличены.

Более того, в американском экспертном дискурсе длительно сохраняется критическая линия, призывающая к радикальному сокращению международных обязательств [Gholz, Press, Sapolsky 1997; Layne 2007; Posen 2014]. Ее выразители убеждены, что затраты и риски для США, связанные с поддержанием сети военно-политических альянсов, существенно превышают выгоды, побуждают к поддержанию крайне затратной инфраструктуры глобального присутствия и обостряют противоречия с другими ведущими державами (такими как Китай и Россия).

В действительности роль долгосрочных альянсов во внешней политике Соединенных Штатов снижается на протяжении нескольких десятилетий. Как было отмечено, структура союзнических отношений, сложившаяся в середине XX в., мало менялась впоследствии, и за пределами Европы Вашингтон не стремился к расширению числа формализованных альянсов. Вместо этого он стал в большей степени прибегать к более гибким и менее формализованным инструментам доминирования.

На Ближнем и Среднем Востоке США усиливали военное присутствие с 1980-х годов без предоставления публичных гарантий безопасности. Даже на фоне постоянного размещения войск в регионе, договоренности о военно-политическом взаимодействии с местными правительствами зачастую носили закрытый характер. Это снижало их полезность в качестве инструмента сигнализирования долгосрочных намерений и отличало формирующиеся отношения от классических альянсов¹¹.

В контексте перебалансирования в Азиатско-Тихоокеанский регион с начала 2010-х годов Соединенные Штаты пошли на расширение взаимодействия

⁹ Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views. — *The New York Times*. 26.03.2016. URL: <https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html> (accessed 21.09.2020).

¹⁰ Gates R. M. *Remarks by Secretary of Defense at the Security and Defense Agenda, Brussels, Belgium*. 10.06.2011. URL: <https://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=4839> (accessed 21.09.2020).

¹¹ О значении альянсов как инструментов сигнализирования см. [Smith 1995].

с местными игроками¹². Вместе с тем активизация сотрудничества нередко осуществлялась за счет размывания традиционного примата двусторонних альянсов в рамках системы “оси и спиц”. Оно принимало различные формы и включало основной военно-политический компонент, но не предполагало появления новых союзников в регионе. США предпочитали менее обязывающие варианты партнерств, зачастую в многостороннем формате.

С 1980-х годов Вашингтон начал предоставлять отдельным странам в различных регионах мира статус “ключевого союзника вне НАТО”. Подобное обозначение может создавать обманчивое впечатление, так как не обеспечивает государству американские гарантии безопасности. Оно лишь открывает ему расширенный доступ к военно-технической помощи Соединенных Штатов и в этом смысле не соответствует традиционному определению альянса.

В исследовательской литературе поставки вооружений нередко рассматриваются как альтернатива союзничеству [Yarhi-Milo, Lanoszka, Cooper 2016]. Они побуждают партнера к тому, чтобы обеспечивать безопасность своими силами, пусть и при внешней поддержке. С учетом высокой сложности современных систем вооружения, необходимости их регулярного обслуживания и периодической модернизации, военно-техническое сотрудничество порождает устойчивую зависимость получателя от государства — поставщика военной техники. Тем не менее это — инструментальный контроль иной природы по сравнению с формализованными обязательствами в рамках союзничества.

Таким образом, используя понятие альянса в расширительном смысле, США сами подрывают значение военно-политического союзничества как инструмента маркирования привилегированных отношений¹³. Наблюдаются попытки заместить его иными формами внешнеполитического влияния, которые имеют ряд последствий, связанных с проецированием вооруженной силы и фиксации военно-политического присутствия. Например, хотя США и стремятся осуществлять интервенции во главе многонациональных сил, с 2000-х годов они вовлекают в них не только, а порой и не столько традиционных союзников, сколько ситуативных партнеров, предпочитая создавать разовые коалиции под конкретные миссии [Bogdanov 2019]. Последние накладывают меньшие институциональные сдержки на принятие Соединенными Штатами политических и военных решений.

На формирование американских предпочтений в этом отношении повлиял опыт войн на Балканах в 1990-х годах, в ходе которых интервенции под эгидой НАТО сопровождались принесением в жертву операциональной целесообразности ради союзнической солидарности. Даже те участники, которые предоставляли минимальный вклад в проведение операций, получали возможность связывать свободу рук американских командующих. Подобный опыт был сочтен неудачным, несмотря на достижение целей вооруженного вмешательства [Weitsman 2013].

В последующие десятилетия сложились две модели реализации интервенций. В рамках первой военно-штабная инфраструктура существующего

¹² Manyin M., Daggett S., Dolven B. et al. *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*. CRS Report. 28.03.2012. URL: <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf> (accessed 21.09.2020).

¹³ Весьма показательна дискуссия с участием представителей американской администрации относительно допустимости обозначения Египта в качестве союзника и множественности значений этого понятия, развернувшаяся в 2012 г. См. Hamden T. U.S. State Department Corrects Barack Obama: Egypt IS an American Ally, Mr President. — *The Daily Mail*. 14.09.2012. URL: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2202959/State-Department-corrects-Obama-Mr-President-Egypt-IS-American-ally.html> (accessed 21.09.2020).

альянса использовалась как основа для коалиции, охватывавшей не всех союзников, но и не только их. Примеры такого рода дают Международные силы содействия безопасности в Афганистане в 2003–2014 гг. и операция 2011 г. против Ливии. В обоих случаях для координации использовались командные структуры НАТО, а вооруженные силы предоставлял широкий круг стран.

В рамках второй модели коалиции опирались непосредственно на военно-штабные возможности региональных американских командований и даже участники многосторонних альянсов присоединялись к *ad hoc* объединению в индивидуально-страновом качестве. Примеры тому дают операция “Несокрушимая свобода” в Афганистане 2001–2014 гг., война в Ираке в 2003–2011 гг., а также операция против ИГИЛ начиная с 2014 г. В двух случаях из трех НАТО выражало готовность оказывать помощь Соединенным Штатам. Тем не менее Вашингтон предпочел не связывать себя сложностями опоры на институционализированные механизмы¹⁴.

Хотя имеющихся случаев недостаточно для построения научно обоснованных генерализаций, в них тем не менее прослеживается общая логика. В 2000–2010-х годах США чаще были готовы порекомендовать руководство операцией союзным объединениям в ситуациях, которым придавали сравнительно меньшее значение (в частности, в Ливии Вашингтон пошел на вмешательство под влиянием Лондона и Парижа). При этом они готовы были включать в действующие силы максимальное число участников, ряд из которых ограничивались символическими контингентами.

Между тем США стремились сохранить максимальный контроль над операциями в тех случаях, в которых политические ставки представлялись им высокими. В этих ситуациях они даже сознательно старались сузить круг стран, непосредственно вовлеченных в военные действия только до тех, кто действительно обладал существенным потенциалом: от остальных они добились исключительно выражения политической лояльности.

Еще одним проявлением уменьшающейся роли альянсов в поддержании американского доминирования стала перестройка системы зарубежного базирования вооруженных сил США. Как и в период холодной войны, большая часть американских сил дислоцирована в странах-союзниках. Вместе с тем с 1990-х годов снижалась доля войск, размещаемых за границей на постоянной основе, а те, которые направлялись, все более рассредоточивались.

В 2000-х годах Пентагон стал делать ставку на гибкие форматы военного присутствия, в том числе на ротационной основе и в формате собазирования с вооруженными силами местных государств. Малая инфраструктура, зачастую используемая нерегулярно, получила обозначение “передовых операционных объектов” (*Forward Operating Sites*), или “пунктов совместного использования” (*Cooperative Security Locations*). Одновременно американские вооруженные силы размещались в растущем числе стран, на многие из которых, по крайней мере формально, не распространяются гарантии США¹⁵. В частности, с 2000-х годов началось распространение американской военной инфраструктуры в Африке — части мира, в которой у Соединенных Штатов вообще

¹⁴ Подробнее о практике коалиционных войн в 1990–2010-х годах см. [Печуров 2013; Weitsman 2013; Schmitt 2018].

¹⁵ О специфике американского военного присутствия см. [Байков 2011; Батюк, Володин, Дьякова 2012; Cooley, Nexon 2013; Lostumbo et al. 2013].

отсутствуют союзники. В Азиатско-Тихоокеанском регионе большая часть сил сосредоточена в Японии и Южной Корее, однако все большее значение для американских военных приобретает доступ к объектам в Сингапуре, а также военно-морское взаимодействие с Индией [Истомин 2019]. В условиях расширения предложения для американского присутствия способность союзников извлекать преимущества из предоставления прав базирования снижается.

Хотя долгосрочные альянсы продолжают составлять костяк институциональной инфраструктуры американской гегемонии, растущая часть функций, связанных с поддержанием доминирования не только не прописывается в союзных договорах, но осуществляется помимо института союзничества. В результате последний утрачивает значение в качестве инструмента маркирования привилегированных отношений отдельных государств с Соединенными Штатами — важность асимметричных альянсов как механизма гегемонии размывается.

ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЯНСОВ В КОНТЕКСТЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Несмотря на то что с середины XX в. США были наиболее мощным государством по совокупному потенциалу в мире, они никогда не оставались единственной крупной державой в международной системе. Более того, на протяжении 2010-х годов утвердились представления о снижении глобальной роли США [Layne 2012; Lebow, Reich 2014; Барановский 2017; Никитин 2018]. Между тем другие ведущие игроки в меньшей степени опираются на асимметричные альянсы в выстраивании отношений с малыми и средними странами. В итоге стоит ожидать не только снижения значения союзничества во внешней политике Вашингтона, но и более широкого переосмысления механизмов международного доминирования крупных держав. Развитие этого процесса порождает аналогии с опытом отмирания колониализма как альтернативного механизма оформления статусной асимметрии.

Для оценки меняющегося значения асимметричных альянсов в настоящем разделе будут проанализированы подходы России, Китая и Индии как ведущих незападных держав, выступающих за поиск альтернатив американской гегемонии [Хатунцев 2015].

На протяжении почти всей второй половины XX в. *Советский Союз* оставался основным конкурентом США. Москва выступала не просто альтернативным центром силы, но и носителем иной социально-экономической, политической, идеологической модели. Тем не менее в вопросе оформления отношений с малыми и средними странами она во многом ориентировалась на образцы, предложенные Вашингтоном.

В частности, Организация Варшавского договора, созданная в 1955 г. и объединившая восточноевропейских союзников Москвы, представляла собой фактически симметричный ответ на становление НАТО. Еще ранее СССР стал заключать двусторонние альянсы с отдельными государствами. В частности, советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 г. предшествовал американо-японскому соглашению, заключенному лишь годом позже. Его ценность как инструмента закрепления асимметричных отношений оказалась ниже ввиду стремления КНР проводить самостоятельный курс и неспособности СССР удержать контроль над союзником.

Объявленная государством — продолжателем Советского Союза, Российская Федерация унаследовала лишь часть потенциала и международного влияния своего предшественника. Но с 1990-х годов она также прибегала к военно-

политическим альянсам для оформления отношений с соседними малыми и средними странами. Это выразилось в заключении Ташкентского договора 1992 г. и его преобразовании в Организацию Договора о коллективной безопасности в 2002 г. [Nikitina 2012].

Хотя Москва привлекала союзников к урегулированию конфликта в Таджикистане, в других случаях она не прибегала к ним для проецирования силы вовне. В большей степени возглавляемые Россией альянсы служат целям внутривнутриполитической стабилизации их непосредственных участников, а также для предотвращения усиления зависимости этих стран от других крупных игроков (Соединенных Штатов, Европейского союза, Китая).

В отличие от США, Россия не связывает себя формализованными военно-политическими обязательствами за пределами своего непосредственного окружения [Истомин, Силаев, Сушенцов 2018]. При выстраивании отношений с большинством привилегированных партнеров, таких как Китай, Индия, Иран, Сирия или Венесуэла, она ориентируется на другие механизмы закрепления сотрудничества (в первую очередь на военные поставки) [Фомин и др. 2019].

Опора на военно-политические альянсы, такие как ОДКБ, вступает в диссонанс с нормативной позицией Москвы на международной арене и критикой эксклюзивных, ориентированных на США форматов взаимодействия. Она среди прочего выразилась в негативном отношении к НАТО, но также и к системе “оси и спиц”, выстроенной Соединенными Штатами в Азии. В противовес им Россия акцентирует принцип неделимости безопасности, предполагающий опору на инклюзивные, многосторонние диалоговые площадки, в рамках которых все игроки имели бы право голоса¹⁶.

Еще более жесткая критика союзничества звучит со стороны *Китая* и *Индии*. Обе эти державы в своей риторике отказываются от военно-политических альянсов как инструмента внешней политики¹⁷. В случае Дели это накладывается на лидирующую роль в Движении неприсоединения, объединившем страны, претендующие на внеблоковый статус в период холодной войны [Pant, Super 2015]. Пекин, вслед за Москвой, указывает на ключевую роль Совета Безопасности ООН в поддержании международной стабильности, которая снижает потребность в эксклюзивных объединениях¹⁸.

В риторике и Китая, и Индии критика альянсов приобретает ярко выраженный антигегемонистский характер, указывая на их значение в качестве инструментов доминирования. Обрушиваясь на американскую внешнюю политику, они сами сталкиваются с необходимостью выстраивания отношений с малыми и средними странами в своем региональном окружении. Несмотря на эгалитаристские высказывания, Пекин в отношении государств Юго-

¹⁶ Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности “Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня?”, Мюнхен, 15 февраля 2020 года. — *МИД России*. 15.02.2020. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4043519 (accessed 21.09.2020).

¹⁷ Zhou Bo. The US Is Right that China Has No Allies — Because it Doesn't Need Them. — *South China Morning Post*. 13.06.2016. URL: <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1974414/us-right-china-has-no-allies-because-it-doesnt-need-them> (accessed 21.09.2020).

¹⁸ Xi Jinping. *Working Together to Forge a New Partnership of Win-win Cooperation and Create a Community of Shared Future for Mankind*. Statement at the General Debate of the 70th Session of the UN General Assembly. 28.09.2015. URL: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_ZH_en.pdf (accessed 21.09.2020).

Восточной Азии и Северной Кореи, а Дели применительно к малым странам Южной Азии выступают в качестве доминирующих держав.

В этих условиях незападные державы, так же как и США, нуждаются в долгосрочном закреплении привилегированного положения по отношению к младшим партнерам. Пример тому — выдвижение Пекином концепции “Один пояс — один путь”, предполагающей встраивание широкого круга стран в китайские логистические маршруты с акцентом на экономические связи и инфраструктуру защиты инвестиций. Таким образом, КНР и, возможно, Индия нуждаются в конструировании собственных механизмов закрепления военно-политической гегемонии в отношении малых и средних стран¹⁹. Вовсе не обязательно, что они будут принимать те же формы, как и у Соединенных Штатов. Сами США в период своего подъема подвергали резкой критике механизмы мирорегулирования, использовавшиеся ранее европейскими империями [Watt 1984].

Между тем колонии, доминионы и уставные компании (такие как Ост-Индская компания и Компания Британского Северного Борнео) выполняли многие из тех военно-политических функций, которые позже приписывались асимметричным альянсам. Среди них и контроль над местными элитами в колониальных владениях, и проецирование силы [Lake 2011; Mann 2012]. Перенос этих задач на альянсы был обусловлен делегитимацией прежде существовавших форм властвования в международных отношениях²⁰. Признание частичной функциональной эквивалентности колониализма и союзничества не отрицает того, что новые механизмы обеспечивали более косвенный и менее репрессивный контроль, оставлявший малым и средним странам большую автономию [Шишков 2014].

Незападные державы, критикуя американское доминирование, стремятся ослабить позиции нынешнего гегемона. В случае дальнейшего усиления их потенциала они могут оказаться заложниками собственной риторики, будучи вынужденными изобретать заново механизмы неравноправных отношений с младшими партнерами. Новые формы контроля могут опираться на привязывание через военно-техническое сотрудничество, деятельность частных военных компаний или иные ныне неочевидные форматы взаимодействия. Домодерный Китай располагал собственными механизмами закрепления доминирования в Восточной Азии [Kang 2010]. Нельзя исключать, что этот опыт окажется востребованным на новом витке исторического развития.

В настоящее время направление эволюции военно-политического доминирования не просматривается достаточно отчетливо. Нельзя исключать, что делегитимация союзничества не пойдет так же далеко, как в случае колоний. Тем не менее востребованность задач гегемонистского мирорегулирования в условиях сохраняющейся и даже усиливающейся неравновесности международной среды [Womack 2016] будет порождать потребность в механизмах, выполняющих те же функции, что и асимметричные альянсы.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Представленный анализ демонстрирует, что, хотя после Второй мировой войны — в рамках биполярной структуры международной системы — традиционные функции агрегирования потенциалов в значительной мере потеряли значимость,

¹⁹ О переосмыслении Пекином международных трендов и внешней политики см. [Лукин 2019].

²⁰ Показательно приложение имперского концепта к США в 2000-х годах (см. [Шишков 2018]).

с середины XX в. асимметричные альянсы оказались прочно встроенными в практики американского доминирования — как механизм закрепления гегемонии. Они обеспечивали контроль над кругом привилегированных партнеров в ключевых регионах мира и проецирование силы Соединенных Штатов.

Тесное ассоциирование альянсов с гегемонией США порождает вопрос о перспективах их сохранения в контексте структурных сдвигов на современном этапе эволюции международной среды. Показательно, что альтернативные центры активно добиваются делегитимации этого механизма военно-политического взаимодействия как инструмента репрессивного подавления более слабых государств, противопоставляя им эгалитаризм инклюзивных форматов. Да и сами США нередко тяготеют к институциональным сдержкам союзнических отношений, подвергая сомнению их востребованность исходя прежде всего из утилитарных, а не нормативных соображений.

На этом фоне значение асимметричных альянсов в международной политике в предстоящие десятилетия может снизиться вслед за ослаблением гегемонии, которую они призваны были поддерживать. Освобождение функциональной ниши будет порождать институциональную креативность держав, нуждающихся в замещающих механизмах доминирования. Благородные призывы к примату инклюзивных форматов мирорегулирования не могут изменить принципиально неравноправный характер отношений в международной системе, в которой сосуществуют государства с несопоставимыми потенциалами.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.02](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.02)

ALLIANCES AT THE SERVICE OF HEGEMONY: DECONSTRUCTION OF THE MILITARY DOMINATION TOOLBOX

I.A. Istomin^{1,2}, A.A. Baykov¹

¹Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

²Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University. Cambridge, Massachusetts, U.S.A

ISTOMIN, Igor Alexandrovich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, MGIMO University, Moscow; Senior Visiting Scholar, Davis Center, Harvard University, Cambridge, Mass., email: i.istomin@inno.mgimo.ru; **BAYKOV, Andrey Anatolyevich**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Acting Vice-Rector, Dean, Faculty of international Relations, MGIMO University, email: baykov@mgimo.ru

Istomin I.A., Baykov A.A. Alliances at the Service of Hegemony: Deconstruction of the Military Domination Toolbox. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 8-25. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.02>

The study was carried out on a grant from the Russian Science Foundation (Project No. 17-78-20170 “Typology of Modern Military-Political Alliances and Model of Russia’s Relations with Allies”). The authors express gratitude to Alexander Cooley, N.Yu. Silaev, Angela Stent, A.A. Sushentsov, and M.V. Kharkevich for valuable ideas and comments.

Received: 15.04.2020. Accepted: 08.07.2020

Abstract. In IR studies into the most prominent patterns of how great powers conduct themselves under anarchy, a special emphasis is placed on the concepts of great power, dominance, and hegemony. However, concrete manifestations of these phenomena, as well as applied tools through which leading international players seek to structure the international environment, often remain outside the scope of detailed investigation. This study aims to appraise the significance of asymmetric alliances, as a tool of military and political dominance in the toolkit of power politics. The article shows that, although the traditional capabilities of appliances’ aggregation function in large part lost their value after the Second World War as part of the bipolar structure of the international power balance, asymmetric alliances still became firmly woven into the practices of American dominance — this time as a mechanism for the consolidation of U.S. hegemony. They assured control over a select group of privileged partners in key regions of the world and helped advance the power projection of the United States. Currently, alternative centers of power aspire to delegitimize this mechanism of military-political interaction, denouncing

it as a tool for subordinating weaker states, contrasting them with the egalitarian nature of inclusive dialogue formats. The USA itself is, too, often burdened by the institutional constraints of allied relations, questioning their relevance on, above all, operational considerations. Against this background, the significance of asymmetric alliances in international politics may decline in the coming decades, following the weakening of the hegemony they were originally designed to shore up; this will require creativity on the part of rising powers, who will be in need of new institutional mechanisms to back up their regional, and possibly global, hegemony.

Keywords: hegemony, United States, alliances, great powers, global governance, coalition, asymmetry.

References

- Beckley M. 2015. The Myth of Entangling Alliances: Reassessing the Security Risks of US Defense Pacts. — *International Security*. Vol. 39. No. 4. P. 7-48. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00197
- Bogdanov K.V. 2019. Flexible Coalitions: Origins and Prospects. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 17. No. 3. P. 132-150. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-3-132-150>
- Brooks S.G., Ikenberry G.J., Wohlforth W.C. 2013. Don't Come Home, America: The Case Against Retrenchment. — *International Security*. Vol. 37. No. 3. P. 7-51. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00107
- Brooks S.G., Wohlforth W.C. 2016. *America Abroad: The United States' Global Role in the 21st Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Bull H. 1977. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. London: Macmillan.
- Cha V.D. 2016. *Powerplay: The Origins of the American Alliance System in Asia*. Princeton: Princeton University Press.
- Cooley A., Nexon D.H. 2013. "The Empire Will Compensate You": The Structural Dynamics of the US Overseas Basing Network. — *Perspectives on Politics*. Vol. 11. No. 4. P. 1034-1050. <https://doi.org/10.1017/S1537592713002818>
- Gaddis J.L. 2005. *Strategies of Containment: a Critical Appraisal of American National Security Policy During the Cold War*. Oxford: Oxford University Press.
- Gelpi C. 1999. Alliances as Instruments of Intra-Allied Control. — *Imperfect Unions: Security Institutions Over Time and Space*. Ed. by H. Haftendorn, R. Keohane, C. Wallender. Oxford: Oxford University Press. P. 107-139.
- Gholz E., Press D.G., Sapolsky H.M. 1997. Come Home, America: The Strategy of Restraint in the Face of Temptation. — *International Security*. Vol. 21. No. 4. P. 5-48. <https://doi.org/10.1162/isec.21.4.5>
- Gibler D.M., Vasquez J.A. 1998. Uncovering the Dangerous Alliances, 1495-1980. — *International Studies Quarterly*. Vol. 42. No. 4. P. 785-807. <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00106>
- Gilpin R. 1981 *War and Change in World Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fenenko A.V. 2019. "Long Peace" and Nuclear Weapon. — *Russia in Global Affairs*. No. 1. P. 72-99. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-1-72-99>
- Hardin G. 1968. The Tragedy of the Commons. — *Science*. Vol. 162. No. 3859. P. 1243-1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- Ikenberry G.J. 2019. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars*. Princeton: Princeton University Press.
- Jervis R. 1980. The Impact of the Korean War on the Cold War. — *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 24. No. 4. P. 563-592. <https://doi.org/10.1177/002200278002400401>
- Jervis R. 1989. *The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon*. Ithaca: Cornell University Press.
- Johnson J.C. 2017. External Threat and Alliance Formation. — *International Studies Quarterly*. Vol. 61. No. 3. P. 736-745. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw054>
- Kang D.C. 2010. Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System in Early Modern East Asia. — *Security Studies*. Vol. 19. No. 4. P. 591-622. <https://doi.org/10.1080/09636412.2010.524079>
- Lake D.A. 2011. *Hierarchy in International Relations*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lanoszka A. 2018. *Atomic Assurance: The Alliance Politics of Nuclear Proliferation*. Ithaca: Cornell University Press.
- Layne C. 2007. *The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present*. Ithaca: Cornell University Press.
- Layne C. 2012. This Time It's Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana. — *International Studies Quarterly*. Vol. 56. No. 1. P. 203-213. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2011.00704.x>
- Lebow N., Reich S. 2014. *Goodbye Hegemony! Power and Influence in the Global System*. Princeton: Princeton University Press.
- Long A., Green B.R. 2015. Stalking the Secure Second Strike: Intelligence, Counterforce, and Nuclear Strategy. — *Journal of Strategic Studies*. Vol. 38. No. 1-2. P. 38-73. <https://doi.org/10.1080/01402390.2014.958150>
- Lostumbo M.J., McNeerney M.J., Peltz E. et al. 2013. *Overseas Basing of US Military Forces: An Assessment of Relative Costs and Strategic Benefits*. Santa Monica: Rand Corporation.

- Mandelbaum M. 1981. *The Nuclear Revolution: International Politics Before and After Hiroshima*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann M. 2012. *The Sources of Social Power, Volume III: Global Empires and Revolution, 1890-1945*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mearsheimer J.J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. N.Y.: WW Norton & Company.
- Morrow J.D. 1991. Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances. — *American Journal of Political Science*. P. 904-933. <https://doi.org/10.2307/2111499>
- Newnham R. 2008. "Coalition of the Bribe and Bullied?" US Economic Linkage and the Iraq War Coalition. — *International Studies Perspectives*. Vol. 9. No. 2. P. 183-200. <https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2008.00326.x>
- Nikitina Y. 2012. The Collective Security Treaty Organization through the Looking Glass. — *Problems of Post-Communism*. Vol. 59. No. 3. P. 41-52. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216590304>
- Pant H.V., Super J.M. 2015. India's 'Non-Alignment' Conundrum: a Twentieth-Century Policy in a Changing World. — *International Affairs*. Vol. 91. No. 4. P. 747-764. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12336>
- Posen B.R. 2014. *Restraint: A New Foundation for US Grand Strategy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Pressman J. 2011. *Warring Friends: Alliance Restraint in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Risse-Kappen T. 1995. *Cooperation Among Democracies: The European Influence on US Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Schmitt O. 2018. *Allies that Count: Junior Partners in Coalition Warfare*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Security Assurances and Nuclear Nonproliferation*. 2012. Ed. by J.W. Knopf. Stanford: Stanford University Press.
- Smith A. 1995. Alliance Formation and War. — *International Studies Quarterly*. Vol. 39. No. 4. P. 405-425. <https://doi.org/10.2307/2600800>
- Snyder G.H. 1997. *Alliance Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Vasquez J.A. 1993. *The War Puzzle*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walt S. M. 1990. *The Origins of Alliance*. Ithaca: Cornell University Press.
- Waltz K. 1979. *Theory of International Politics*. Boston: McGraw Hill.
- Watt D.C. 1984. *Succeeding John Bull: America in Britain's Place 1900-1975*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weitsman P.A. 2004. *Dangerous Alliances: Proponents of Peace, Weapons of War*. Stanford: Stanford University Press.
- Weitsman P.A. 2013. *Waging War: Alliances, Coalitions, and Institutions of Interstate Violence*. Stanford: Stanford University Press.
- Wolfer A. 1968. Alliances. — *International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: Macmillan.
- Womack B. 2016. *Asymmetry and International Relationships*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yarhi-Milo K., Lanoszka A., Cooper Z. 2016. To Arm or to Ally? The Patron's Dilemma and the Strategic Logic of Arms Transfers and Alliances. — *International Security*. Vol. 41. No. 2. P. 90-139. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00250
- Baranovsky V.G. 2017. Transformation of Global World Order: Dynamics of Systemic Changes. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 71-91. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.05>
- Baykov A.A. 2011. Geopolitics of the American Military Bases. — *National Security*. No. 1. P. 32-37. (In Russ.)
- Batyuk V.I., Volodin D.A., Dyakova N.A. 2012. *Amerikanskaya voennaya politika k XXI veke: regional'nye aspekty* [American Military Policy in the 21st Century]. Moscow: ISKRAN. (In Russ.)
- Bogdanov A.N. 2014. American Hegemony and Systemic Stability. — *International Trends*. Vol. 12. No. 3. P. 8-22. (In Russ.) URL: <http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/19/Bogdanov-38.pdf> (accessed 09.10.2020).
- Fomin I.V., Silaev N., Makarycheva A., Stolyarova S., Shavlay E. 2019. Russia's Allies Formal Obligations vs. Effective Cooperation. — *International Trends*. Vol. 17. No. 2. P. 101-130. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2019.17.2.57.6>
- Istomin I.A. 2019. *Politika SShA v Indo-Tikhookeanskom regione* [US Policy in the Indo-Pacific Region]. Rabochaya tetrad' Rossiiskogo soveta po mezhdunarodnym delam [Working Paper of the Russian International Affairs Council]. No. 49. (In Russ.) URL: <https://russiancouncil.ru/papers/USA-IndoPacific-WP49.pdf>
- Istomin I.A., Baykov A.A. 2019. Dynamics of International Alliances in an Unbalanced World Structure. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 63. No. 1. P. 34-48. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-1-34-48>
- Istomin I.A., Silaev N.Yu., Sushentsov A.A. 2018. Strategies of Alliances of Continental and Sea Powers. — *International Trends*. Vol. 16. No. 4. P. 42-62. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2018.16.4.55.3>
- Khatuntsev S.V. 2015. The West and the "Eurasian Quadriga" (Russia, China, India, Iran). — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 45-52. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.07>

- Lukin A.V. 2019. Discussion on the Development of China and Prospects for Its Foreign Policy. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 71-89. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.06>
- Nikitin A.I. 2018. Modern World Order, Its Crisis and Prospects. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 32-46. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.03>
- Pechurov S.L. 2013. *Koalitsionnye voyny anglo-saksov. Istoriya i sovremennost'* [Coalition Wars of Anglo-Saxons. History and Modernity]. Moscow: LKI. (In Russ.)
- Ricardo D. 2007. *On the Principles of Political Economy and Taxation: Selected Works*. Moscow: EKSMO. (In Russ.)
- Shakleina T.A. 2013. Great Power Phenomenon and Parameters in the World Politics of the 21st Century. — *Megatrendy. Osnovnye traektorii evolyutsii mirovogo poriadka v XXI veke* [Megatrends. Major Trajectories of the Evolution of the World Order in the Twenty-First Century]. Ed. by T.A. Shakleina, A.A. Baykov. Moscow: Aspect Press. P. 283-298. (In Russ.)
- Shishkov V.V. 2014. The Rise and Development of U.S. Hegemony: Imperial Domination and Globalization in the 20th Century. — *Age of Globalization*. No. 1. P. 140-141. (In Russ.)
- Smirnov S.V. 2011. At the Roots of the Russian-German Energy Relations (The 70s of the 20th Century). — *MGIMO Review of International Relations*. No. 2. P. 193-201. (In Russ.)
- Troitsky M.A. 2002. Concept of "Programming Leadership" in the US Euro-Atlantic Strategy. — *Pro et Contra*. Vol. 7. No. 4. P. 86-103. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Байков А.А. 2011. Геополитика американских военных баз. — *Национальная безопасность*. № 1. С. 32-37.
- Барановский В.Г. 2017. Трансформация глобального миропорядка: динамика системных изменений. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 71-91. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.05>
- Батюк В.И., Володин Д.А., Дьякова Н.А. 2012. *Американская военная политика к XXI веку: региональные аспекты*. М.: ИСКРАН, 2012.
- Богданов А.Н. 2014. Американская гегемония и факторы системной нестабильности в XXI веке. — *Международные процессы*. Т. 12. № 3. С. 8-22. URL: <http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/19/Bogdanov-38.pdf> (accessed 09.10.2020).
- Истомин И.А. 2019. *Политика США в Индо-Тихоокеанском регионе*. Рабочая тетрадь Российского совета по международным делам № 49. URL: <https://russiancouncil.ru/papers/USA-IndoPacific-WP49.pdf> (accessed 21.09.2020).
- Истомин И.А., Байков А.А. 2019. Динамика международных альянсов в неравновесной мировой системе. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 63. №. 1. С. 34-48. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-1-34-48>
- Истомин И.А., Силаев Н.Ю., Сушенцов А.А. 2018. Стратегии союзничества континентальных и морских держав. — *Международные процессы*. Т. 16. № 4. С. 42-62. <https://doi.org/10.17994/IT.2018.16.4.55.3>
- Лукин А.В. 2019. Дискуссия о развитии Китая и перспективы его внешней политики. — *Полис. Политические исследования*. 2019. № 1. С. 71-89. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.06>
- Никитин А.И. 2018. Современный миропорядок: его кризис и перспективы. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 32-46. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.03>
- Печуров С.Л. 2013. *Коалиционные войны англо-саксов. История и современность*. М.: ЛКИ.
- Рикардо Д. 2007. *Начала политической экономики и налогового обложения: избранное*. М.: ЭКСМО.
- Смирнов С.В. 2011. У истоков российско-германского энергетического взаимодействия (70-е годы XX в.). — *Вестник МГИМО-Университета*. № 2. С. 193-201.
- Троицкий М. 2002. Концепция "программирующего лидерства" в евроатлантической стратегии США. — *Pro et Contra*. Т. 7. № 4. С. 86-103.
- Фененко А.В. 2018. "Долгий мир" и ядерное оружие. — *Россия в глобальной политике*. Т. 16. № 6. С. 99-123.
- Фомин И., Силаев Н., Макарычева А., Столярова С., Шавлай Э. 2019. Союзники России: формальные обязательства и фактическое сотрудничество. — *Международные процессы*. Т. 17. № 2. С. 101-130. <https://doi.org/10.17994/IT.2019.17.2.57.6>
- Хатунцев С.В. 2015. Запад и "Евразийская квадрига" (Россия, Китай, Индия, Иран). — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 45-52. <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.06.07>
- Шаклеина Т.А. 2013. Феномен и параметры великодержавности в мировой политике XXI в. — *Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке*. Под ред. А.А. Байкова, Т.А. Шаклеиной. М.: Аспект пресс. С. 283-298.
- Шишков В.В. 2014. Становление и развитие гегемонии США: имперское доминирование и глобализация в XX в. — *Век глобализации*. № 1. С. 140-141.

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.03

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ: ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ

Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова

ФИТУНИ Леонид Леонидович, доктор экономических наук, профессор, член-корр. РАН, зам. директора Института Африки РАН, Москва; профессор СПбГУ, Санкт-Петербург, email: africa.institute@yandex.ru; **АБРАМОВА Ирина Олеговна**, доктор экономических наук, профессор, член-корр. РАН, директор Института Африки РАН, Москва; профессор СПбГУ, Санкт-Петербург, email: irina.abramova@inafr.ru

Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Политическая теория деколонизации: императивы современного прочтения. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 26–40. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.03>

Статья подготовлена при поддержке гранта СПбГУ № 26520757 “Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской Федерации”.

Статья поступила в редакцию: 09.08.2020. Принята к публикации: 10.09.2020

Аннотация. Статья посвящена анализу эволюции и частичному переосмыслению политической теории деколонизации в свете глубоких изменений, произошедших со времени принятия по инициативе СССР XV сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 г. Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Цель такого переосмысления авторы видят в необходимости подведения итогов прошедших за 60 лет на международной арене процессов и важности познания особенностей современного этапа глобальных политических отношений в контексте незавершившейся в широком смысле деколонизации, сохранения элементов колониальности в мировой политике в целом, а во многих странах бывшей колониальной периферии и на внутригосударственном уровне. Авторы дают свою критическую оценку современного исследовательского поля деколонизации, анализируя ключевые теоретические направления и школы мысли — теории постколониализма, деколониальности, субальтерности и др. В результате проведенного критического анализа авторы приходят к выводу об изменении магистральной направленности современных теоретических работ по деколонизации, выразившемся в смещении интереса и внимания научной мысли с конкретных проблем политики, экономики, государственного строительства в нематериальные (информационная сфера, наука, культура, искусство, язык и т.п.) или глубоко субъективные области (сознание, самоидентификация, репрезентация, память). На основе обобщения практического опыта, истории, результатов и последствий деколонизации авторы систематизируют представления об эволюции колониальности в международных отношениях и мировой экономике в Новейшее время, выделяя три этапа (фазы) ее трансформации: а) этап “классического” колониализма конца XIX — первой половины XX в.; б) фаза неоколониализма (“неоколониальные формы”) периода с середины XX в. до распада мировой системы социализма, в) сформированный условиями глобализации современный этап постнеоколониализма. Логической ответной реакцией на постнеоколониальность становится задача новой деколонизации, предполагающая многовариантность путей развития и сохранение собственной системы ценностей, включая выбор путей и моделей развития, а также культуру, науку и язык.

Ключевые слова: политическая теория, империализм, зависимость, расизм, деколонизация, суверенитет, неоколониализм, деколониальность, colonial studies, постколониальные исследования, постнеоколониализм, квазиколониальность.

60 лет назад, 14 декабря 1960 г., XV сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Инициатором ее принятия была наша страна, внесшая еще в сентябре 1960 г. проект текста этого исторического документа. Советские дипломаты приложили немало усилий, чтобы преодолеть сопротивление принятию Декларации со стороны стран Запада — как самих колониальных метрополий, так и активно поддерживавших их США. После острых дискуссий в середине декабря был принят компромиссный вариант текста, внесенный группой 43 афро-азиатских стран. Он базировался на фундаментальных посылах советского проекта, но содержал более обтекаемые формулировки по вопросам характера будущих правовых отношений между освобождающимися странами и их недавними хозяевами. За принятие текста проголосовали 89 делегаций, против — ни одна. Девять стран (США, Англия, Франция, Австралия, Бельгия, Португалия, Испания, Южно-Африканский Союз и Доминиканская Республика) воздержались.

Принятие Декларации, конечно, имело не только (и даже не столько) важное значение для формирования у международного сообщества положительного образа Советского Союза как борца за права угнетенных народов. Документ создавал прочную международно-правовую базу для дальнейшего развертывания процесса деколонизации, легитимизировал с точки зрения международного права поддержку национально-освободительных движений, подтверждал применимость к вопросам деколонизации положений, касающихся права наций на самоопределение и выбора форм самоорганизации и путей развития. В сегодняшнем контексте внутривосточных баталий и эксцессов политического активизма в США и Западной Европе следует напомнить и о том, что Декларация выдвигала также требование немедленно покончить с сегрегацией и расизмом.

Хотя с формальной точки зрения принятые в форме декларации резолюции ГА не являются документами прямого действия и императивного характера (часть членов ООН может выполнять их диспозиции, а часть — нет), конкретно эта Декларация породила обширные международно-правовые последствия. На ее основе и во исполнение на следующий год были внесены изменения в структуру органов ООН (создан Комитет по деколонизации, существующий по сей день, Спецкомитет ООН против апартеида), принимались решения по конкретным страновым и общеполитическим вопросам, меры международного принуждения (санкции в отношении ЮАР и Южной Родезии). Последовательно на протяжении 60 лет исполняются решения по деколонизации, завершающиеся признанием суверенитета освободившегося государства и его принятием в качестве члена ООН и т.д. Со ссылкой на Декларацию как на источник права принимались новые важные решения и документы (в том числе и резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению).

Номинально призыв Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам в основном претворен в жизнь. В настоящее время в мире остаются только четыре государства, которым удалось сохранить под своим управлением части бывших колониальных империй. Это США, Великобритания, Франция и Новая Зеландия (острова Токелау перешли ей во владение в наследство от Англии, недавно еще ее собственной хозяйки). В настоящее время политически некорректная терминология, например, “колонии и протектораты”, отсылающая к историческим истокам установления внешнего контроля над заморскими территориями, полностью заменена на

политически нейтральную. Согласно текущим формулировкам ООН, “сегодня в мире все еще существует 17 ‘несамоуправляющихся территорий’”¹.

С момента принятия Декларации почти 100 стран получили политическую независимость и стали членами ООН. Опыт исторического развития, однако, показал, что с демонтажем колониальных империй и формальным провозглашением политического суверенитета полная независимость автоматически не наступает, как и не прекращается внешняя эксплуатация. Практически все освободившиеся страны столкнулись с тем, что колониальная зависимость и эксплуатация трансформировались в неоколониальную, а завершение исторического этапа прямой колониальной эксплуатации стало началом фазы эксплуатации *неоколониальной*. Однако задача полной деколонизации решена на этом этапе не была.

На основе Декларации 1960 г. принят ряд не менее важных международных актов, дополняющих и развивающих ее. Деколонизация прошла несколько этапов, ее содержание претерпело существенную трансформацию. Этим вопросам и очередным задачам, стоящим перед развивающимися странами, была посвящена недавняя статья наших коллег [Энтин, Энтина, Торкунова 2019], что дает нам право, не углубляясь в вопросы описания исторического хода деколонизации, целиком сосредоточиться ниже на иных аспектах и ракурсах.

НЕОКОЛОНИАЛИЗМ, ПОСТКОЛОНИАЛИЗМ, ДЕКОЛОНИАЛЬНОСТЬ

Провозглашение политической независимости открыло перед освободившимися странами возможность выстраивания собственной государственности, а также, до определенных пределов, выбора общественных целей и стратегий развития. Вместе с тем на два ключевых аспекта постколониального бытия новые суверенные страны влиять были практически не в состоянии. Объективно существовали границы, задаваемые, с одной стороны, низким уровнем развития и общей отсталостью вчерашних колоний, а с другой — никуда не девшейся их экономической, международно-политической, военной и культурной зависимостью от метрополий, которые, к тому же, теперь уже формально не несли ответственности за положение дел в бывших владениях.

После провозглашения независимости неоколониализм, под видом включения неокрепшего молодого государства в систему “цивилизованных” и “современных” международных отношений, сразу же опутывал его изощренной системой неравноправных политических, экономических, правовых и социально-культурных условий, норм и правил поведения, обеспечивающих сохранение эксплуатации и зависимости народов.

Несмотря на то что с исчезновением СССР и социалистического лагеря термин “неоколониализм” в нашей научной литературе стал использоваться намного реже, существование самого явления ни для кого не секрет, и практически никем из серьезных ученых или политических аналитиков не отрицается. Для политической мысли Запада не сам распад мировой системы колониализма, а именно приход ему на смену неоколониализма стал толчком к бурному развитию целого спектра критических теорий и школ,

¹ Ангилья (Брит.), Американское Самоа (США), Бермудские острова (Брит.), Британские Виргинские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Гибралтар (Брит.), Гуам (США), Западная Сахара (независимость была признана примерно 80 странами), Каймановы острова (Брит.), Монтсеррат (Брит.), Новая Каледония (Фр.), Питкэрн (Брит.), остров Св. Елены (Брит.), острова Теркс и Кайкос (Брит.), Токелау (Н. Зел.), Фолклендские (Мальвинские) острова (Брит.) и острова Французской Полинезии. См.: 70 лет ООН: Каковы наши успехи в деколонизации. — ООН. URL: <https://www.un.org/dppa/decolonization/ru/content/UN-at-70> (accessed 08.10.2020).

тракующих онтологические аспекты и практические вопросы осуществления деколонизации — постколониализма, колониальности и деколонизальности, субалтерности, ориентализма и некоторых завязанных на колониальность направлений феминизма [Said 1979; Strang 1991; Dussel 1996; Bhabha 1994; Spivak 1989; Chakrabarty 2000a, 2000b].

Почти до середины XX в. проблематика колонизации и деколонизации в классических *colonial studies* не выходила за рамки трех дисциплин: политической географии, политической экономии (в том исконном виде и методе, в каком ею занимались А. Смит и К. Маркс) и этнографии. Современные исследования колониальности и деколонизации все более дрейфуют в сторону исследований межрасовых отношений (в том числе внутри одного, не обязательно колониального государства), культуры, науки, образования и знания, медицины и даже технологий [Cote 2019; Глостанова 2011]. Разночтения и противоречия в среде исследователей возникают в связи со множеством новых толкований и измерений колониализма и трактовок сути колониальности, которые стали появляться, как правило, уже после распада мировой колониальной системы параллельно с осознанием формирования новой, *неоколониальной* зависимости стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки.

В области теоретических исследований колониализма и деколонизации сегодня можно условно выделить три сосуществующих и взаимодействующих меганаправления: традиционное для нашей науки *изучение истории колонизации и последующей деколонизации* (включая проблематику неоколониализма); *теорию постколониализма* и модный ныне, но пока менее распространенный сегмент исследований *деколонизальности* (англ. — *decoloniality*, а изначально от исп. — *decolonialidad*). Каждое из трех меганаправлений на деле не является чем-то целостным. Они представляют собой взаимно переплетающиеся близкие по духу и, частично, по методологии автономные и полуавтономные теории, в которых, в свою очередь, также присутствует масса более мелких подразделов и ответвлений.

Вместе с тем, с некоторыми оговорками, у каждого из трех меганаправлений уже определилось свое приоритетное исследовательское поле и своя устремленность. Это, соответственно, а) исследование колониализма и деколонизации под углом *Политического* и *Экономического* (как сущностей); б) рассмотрение *Постколониального* сквозь призму философии, социологии, психологии и социальной науки; в) выявление влияния и последствий *колониальности* на человека через культуру, образование, искусство, язык и поиск путей преодоления груза прошлого.

Сама категория деколонизации трактуется: а) как *этап* истории (разрушение мировой колониальной системы в XX в.); б) как последовавший вслед за этим *процесс* национального “самоосмысления и возрождения” с последующим созданием новых основ нации и государственности в освободившихся странах; в) как новейший *императив* и тренд по самоосвобождению от груза колониального прошлого в культуре, языке и сознании.

У такой концептуальной диффузии имеются как положительные, так и отрицательные стороны. И те, и другие связаны с более глубоким и многоаспектным, чем чисто политико-юридическое, толкованием колониализма и колониальности. Явным минусом при этом, как в любой науке, становится многозначность одного и того же термина, которая зачастую порождает

дискуссии о “преимуществах круглого перед зеленым”. Плюсом, напротив, является нарастающая глубина и разнообразие аспектов исследования колониализма, которые в конечном счете действительно объективно взаимосвязаны, а нередко прямо вытекают один из другого.

При всех различиях вышеперечисленные подходы и интерпретации колониализма и деколонизации сводятся к единому “наименьшему общему кратному”. Базисом служат два исходных пункта, а именно:

— принятие за отправную точку всех последующих построений дихотомии “свой — чужой”;

— виновности “чужого” в возникших (реально или в восприятии) негативных последствиях, за которые он должен нести ответственность.

По мере отдаления от времени провозглашения политической независимости бывших колоний доказательства вины и ответственности все более отходят от конкретных измеряемых параметров (сокращение численности туземного этноса, низкого дохода на душу населения, уровня грамотности, количества врачей или вакцинированных на тысячу жителей и т.д.) и перемещаются в не поддающуюся объективно обоснованным количественным оценкам ментальную и духовную сферу, где происходит “вживление” колониального способа мышления и навязываются западные парадигмы в образе жизни, системе ценностей, науке, литературе, театре, кино, моде и т.п.

Постколониальная теория (*postcolonialism*), первые ростки которой (“ориентализм” Э. Саида [Said 1979]) появились еще в середине 1970-х годов, уверенно вышла на авансцену в качестве нового прочтения научного нарратива деколонизации в 1980-х годах. В ее основе лежал отказ от старого, чисто “политического” прочтения колониализма. Большое внимание ее создатели уделяли поиску идентичности постколониальной личности, постколониальной нации, постколониальной культуры/субкультуры, их раздвоенности и невозможности ни вернуться к своей утраченной национальной исконности, от которой отошли, ни быть включенным на равных в западный мир, который их не принимает как равных. Постколониализм в значительной степени может рассматриваться как своеобразная “локализация” постмодернистской теории, с которой фактически списан ракурс его научных подходов. Поэтому и его название, и назначение точно также следует воспринимать как теорию, которая приходит на смену (отсюда *post-*, т.е. после) прежним теориям колониализма и *colonial studies*, подвергая сомнению, отвергая и намеренно переворачивая утверждения, истины и оценки (в том числе морально-нравственные) имперской науки.

Как представляется, теория постколониализма была своего рода реакцией усталости на реальные проблемы почти двух десятилетий (у кого-то больше, у кого-то меньше) независимого постколониального развития основного числа освободившихся стран и их народов. Эти государства за 20 лет сумели добиться серьезных успехов в области образования, формирования национальной интеллигенции и подготовки кадров, но не в развитии и модернизации экономики. Реальный уровень жизни в некоторых странах Африки к концу 1980-х годов оказался даже ниже, чем накануне независимости.

Новые национальные лидеры и интеллектуальная элита Азии, Африки и Латинской Америки, которые в 1950-1960-е годы вели свои народы на борьбу с колониализмом, обещая после его слома лучшую жизнь, были крайне заинтересованы в нахождении причин отсталости и подчиненности, сохра-

няющихся несмотря на крушение колониальных режимов и на все предпринятые усилия.

Молодые люди, получившие образование на Западе, как, впрочем, и те, кто учился дома по наспех подправленным, но все еще очень английским или французским программам и “силлабусам”, были подвержены сильному влиянию Ф. Фанона [Fanon 1952] и Ж.-П. Сартра [Fanon, Sartre 1961], а позже вошедших в моду постструктуралистов — М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёза. В то же время их воодушевляли “черные властелины сердец и умов третьего мира” — К. Нкрума [Nkrumah 1964], П. Лумумба [Lumumba 1964], Л. Сенгор [Senghor 1964], Дж. Ньерере [Nyerere 1968] и др.

Когда пассионарная вспышка действия — изгнания колонизаторов — пошла на убыль, настало время самокопаний, поиска ответов на вопрос “кто мы теперь, куда свой путь вершим?”. Теоретики политологии доказали, что в условиях происходящей смены парадигмы общественного развития приоритетом становится выявление его возможных созидательных ориентиров и альтернатив [Семененко 2019]. Но оказалось, что освобожденному индивидууму вернуться в доколониальное прежнее состояние уже невозможно (да и не хочется), как невозможно и не хочется перестать быть самодостаточным С собой, растаяв без следа в “европейском” (т.е. колониальном). Мучительные искания такого рода вылились в ряд большей частью стройных концепций и критических теорий постколониального.

Ближний Восток породил упоминавшегося выше Э. Саида [Said 1979]; Южная Азия — Г. Спивак (теоретик *субальтерности*) [Spivak 1989] и Х. Бхабхи [Bhabha 1994] — трех гениев теории постколониализма. Правда, все трое создавали свои теории и продуктивно творили главным образом в США, как, впрочем, и почти весь многочисленный латиноамериканский подотряд основателей и сторонников теории деколонизальности (*decolonialidad*). То ли в США колониальность и угнетенность лучше ощущаются, то ли там комфортнее работает (или живетсЯ?). Так или иначе, но из большой (не только творЯщей в США, но и в ФРГ, и во Франции) латиноамериканской когорты теоретиков следует, на наш взгляд, особо выделить Э. Дусселя [Dussel 1996], С. Кастро-Гомеса [Castro-Gomez 1998], А. Кихано [Quijano 2000], В. Миньоло [Mignolo, Escobar 2013], Н. Мальдонадо-Торреса и других членов исследовательской группы *Modernidad/Colonialidad* [Grosfoguel et al. 2006].

Важной общей чертой постколониальных теорий и учений о деколонизальности является то, что фундаментальную причину отсталости, бедности и неустроенности они видят в так называемой *колониальности* — навязанном способе познания, толкования и устройства всего сущего в категориях и канонах, созданных и используемых Западом, исходя из *его* (Запада) природы, *его* видения и *его* интересов. “Западноцентристское” мышление и мировоззрение прививалось и в целом было успешно привито народам незападной “периферии” в результате их порабощения (колонизации). Оно определило подчиненное положение этих народов, с точки зрения и в категориях теорий мир-системного анализа И. Валлерстайна (близкого к ним по духу), и продолжает удерживать их в этом состоянии по сей день [Quijano, Wallerstein 1992].

Эту колониальность не следует путать с реальным историческим феноменом колониализма как системы порабощения и господства европейских метрополий над заморскими территориями. Речь идет о парадигме внешне

суверенного бытия, но на деле состоящей в осознанном или неосознанном подчинении “белому господину”, его экономике, культуре, системам знаний и мировосприятия.

Колониальность у всех вышеназванных новых школ и теорий является корнем, условием и, одновременно, главным механизмом продолжающейся социально-экономической и духовной эксплуатации. В том, что она не преодолена, несмотря на провозглашение независимости, смену государственного строя, а также массу проводимых реформ, и кроется причина сохранения отставания, зависимости, “вторичности” всех преобразований и невозможности рывка вперед в развитии.

Все, что предпринимается для этого, делается в рамках идей, методами и с использованием критериев, сформированных некогда Западом и созданных им в своих специфических условиях и, главное, исходя из своих интересов. Западу удалось привить остальному миру идею, что все перечисленные параметры научно обоснованы и потому универсальны. Большая часть человечества, в том числе в развивающихся странах, приняла эту точку зрения.

Посредством колонизации (не только территориальной) остального мира Запад разрушил альтернативные “незападные” системы координат и способы бытия, привив мысль, что поскольку он сильнее в военном и экономическом отношении, располагает рядом совершенных технологий и не слишком строг в ограничении человеческих устремлений и некоторых распространенных слабостей, то именно он, Запад, находится на более высокой ступени развития, а потому обладает естественным правом и необходимыми возможностями определять пути развития человечества и судьбы “отстающих” от его уровня народов и цивилизаций.

Любые отличные от его модели знания, бытия, ориентиры и цели развития по определению хуже того, что он создал и распространил по всему миру, а потому “вестернизация” — единственно верный магистральный путь развития человечества. Именно в силу восприятия “вестернизации” как волшебного ключа, а точнее универсальной отмычки, подходящей для открытия всех запертых дверей к прогрессу, богатству и благоденствию, туземные режимы проводят различные реформы и преобразования, большинство из которых лишь усугубляет неоколониальную зависимость.

Теоретики *деколониальности* развивают логику постулатов постколониализма далее, осуществляя, как они сами считают, уже не количественный, а качественный сдвиг по сравнению с прежними *colonial studies* или марксистскими, неомарксистскими, реалистскими и конструктивистскими теориями колониализма и деколонизации. Им, однако, представляется неправомерным “встраивание деколониального поворота в некий устоявшийся и знакомый, единственно верный магистральный путь в качестве продолжения постколониальных исследований”². Они стремятся довести саму идею и дело деколонизации до, как им кажется, логического и естественного конца — победы над колониальностью власти.

Концепт колониальности власти лежит ныне в фундаменте едва ли не всех постколониальных, деколониальных и субальтерных научных исследований. Начинателем его теоретической разработки был скончавшийся два года назад

² Шенталь А. Мадина Тлостанова: “Колониальность переживет колониализм”. URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/8258-madina-tlostanova-o-dekolonialnom-povorote> (accessed 08.07.2020).

перуанец Анибаль Кихано. Его перу принадлежит и исходная теория колониальности власти, которая, согласно его трудам, вращается вокруг двух осей — расы и капитализма, “через который находят выражение все производства” [Quijano 2000]. Он доказывал, что приход колонизаторов и принудительное установление ими в Латинской Америке западной (европоцентричной) системы власти, производства, обмена и распределения уничтожили вполне жизнеспособные и самодостаточные автохтонные системы, существовавшие и развивавшиеся успешно на Латиноамериканском континенте до той поры. Возникла система эксплуатации местного населения, становой хребет которой сохраняется по сей день. А. Кихано утверждал, что современная организация общества, несмотря на уход испанских колонизаторов, несет в себе наследие колониальности власти [Quijano 2000, 2007].

Последняя находит проявление в трех измерениях: системе иерархий (структура власти), системе знания и исторической памяти (включая систему организации культуры и культурной политики).

Система иерархий построена на вертикальном ранжировании субъектов по объему прав, возможностей и обязанностей. Иерархичность не является уникальной характеристикой колониальности: она присуща и другим отношениям господства и подчинения. Однако сама постановка проблемы колониальности в теориях рассматриваемой группы латиноамериканских ученых невозможна без иерархической лестницы: Вышестоящего (колонизатора, а после освобождения — его правил игры в экономике, политике, культуре) и Нижестоящего (порабощенных туземцев, а впоследствии латиноамериканцев, вынужденных следовать чужим правилам). Без иерархии нет угнетения.

У Кихано, отталкивавшегося от латиноамериканского исторического опыта и действительности, центральное внимание уделено расовому компоненту дифференциации и угнетения, хотя в той же плоскости можно рассуждать о выстраивании любых иерархий (вертикалей неравноправия и подчиненности/субальтерности): классовых, этнических, конфессиональных, идеологических, профессиональных, страновых, гендерных и исследовательских.

Колониальность власти при этом проявляется в возможности навязывать в интересах подчинения критерии иерархичности и обосновывать необходимость и полезность существования последней. Иерархичность обеспечивает сегодня и колониальность системы глобального управления, а через нее — системы контроля труда, государства, субъектности. Живой пример колониальной иерархичности и эмпирики субальтерности из близкой нам реальности: проходная статья в европейском журнале, входящем во второй квартиль *Web of Science*, ценится выше (и часто в прямом “зарплатном” смысле слова), чем блестящая статья в нерейтинговом журнале российского НИИ или вуза, статья на английском языке — выше, чем на русском и т.п. Хотя для части научного сообщества такое положение кажется, по крайней мере, нелогичным, другая его часть это не только принимает, но и считает важным показателем прогресса.

По мнению Кихано, колониальность в системе знания и науки — один из трех базовых столпов современной колониальности. Согласно его теориям, она проявляется в обеспечении контроля над производством знаний, установлении монополии знаний современной науки и утилизации глобальных ресурсов сгенерированного знания в своих интересах. Важно оговориться, что речь идет не о монополии в области науки конкретного государства,

а в рамках дихотомии “колонизатор — колонизируемый”. Одновременно следует подчеркнуть, что присвоение результатов процесса (труда) познания в мировом масштабе в конечном счете также реализуется в рамках отношений колониальности и иерархичности.

Все данные школы колониальности (а не только латиноамериканская) исходят из того, что определенное возрастание доли китайских, индийских, южнокорейских или иных незападных ученых и их разработок в общем объеме западноцентричной системы научного знания не меняет сути дела, поскольку в итоге присвоение и перераспределение результатов научного поиска осуществляется в рамках отношений колониальности по правилам игры, установленным и контролируемым Западом. В случае угрозы интересам Запада они легко нарушаются и меняются, что ярко подтверждается такими событиями, как кейс информационных экосистем *Huawei*.

С помощью удержания в своих руках рычагов финансирования, организации, управления и материально-технического обеспечения научного процесса, регулирования международного движения интеллектуального капитала, контроля за сферами и перспективными направлениями исследований, содержательного мониторинга, регулирования и иерархической оценки публикационной активности, контроля над системой оценки и “признания” научных достижений Запад обеспечивает монополию на знание и колониальность отношений в сфере науки по всему миру. Достижения незападных ученых — лишь еще одна добавка в контролируемый мировой научный потенциал. Полюбившуюся фразу “свободного ученого” о том, что в наше время “наука глобальна”, таким образом, возможно, стоило бы дополнить словами “...и колониальна”.

Третий элемент колониальности власти — это создание культурных систем, которые вращаются вокруг евроцентричной иерархии и усиливают евроцентричные экономические системы и системы производства знаний. В общественное сознание внедряются мысли, что только западные культуры являются современными, поскольку основаны на модернистских принципах, таких как капиталистические экономические системы, рациональность, неолиберализм и наука. Национальные культуры могут стать современными только в случае восприятия и принятия доминантности западной культуры.

Эта логика проникает в самые сокровенные, ценностные компоненты культурного кода, например, языка. Колониальность в лингвистической сфере имеет две полосы движения. Первая — скоростная, реализуется через навязывание языка колонизаторов, который становится естественным (и едва ли не единственным) средством приобщения к модерну. Ведь он — главный язык науки, образования, внешний маркер признания интеллектуального уровня и символ социального статуса. Вторая — более медленная полоса движения, это маргинализация национального языка, снижение его иерархического уровня, низведение сфер его использования до уровня “низких”, по определению не подлежащих высоким оценкам, а также путем примитивизации, “искалечивания” языка через вытравливание его стилистического многообразия, введение упрощенных норм, правил орфографии и пунктуации.

ПОСТНЕОКОЛОНИАЛИЗМ

С распадом СССР и переходом его союзников в стан Запада лозунги борьбы с неокOLONIAлизмом постепенно отходят на второй план. Отныне весь

пафос и усилия по деколонизации стихийно или управляемо переводятся в нематериальные и имитационные области — борьбы с колониальностью в кино, литературе, театре, изобразительном искусстве, особенно в скульптуре (“памятники-то колониализма оттуда!”), лингвистике, а также в сознании, репрезентации, самоидентификации.

Исчезли два лагеря мирового противостояния. Один из них, в силу своего состава и груза своей истории, был однозначно колониальным и затем стал неоколониальным. Другой, в силу своих идейных установок, революционности и реального вклада в разрушение колониальной системы, считался антиколониальным, антинеоколониальным и антиимпериалистическим. В итоге сам собой завершился и этап борьбы с *неоколониальной* эксплуатацией освободившихся стран, поскольку последняя, не меняя целеполагания, сильно изменила свои формы и методы.

С исчезновением деления мира на два относительно самодостаточных и автономных лагеря с пути было убрано главное препятствие, сильно тормозившее победное шествие глобализации по всей планете. Для победителей в холодной войне наконец открылась возможность снять клеймо “империалистических хищников”, “проповедников колониализма” и “проводников неоколониализма”, противостоящих молодым освободившимся государствам. Путем включения в число последних бывших социалистических стран Запад сам технически отпустил себе в глазах мира грех колониализма, обвинив в нем и тех, кто идейно и на деле все это время бился против него.

Внутри теперь уже не разделенного на два лагеря, а, по сути, ставшего на время монополярным мира происходит перестройка системы всего комплекса мировых взаимоотношений с учетом глобального доминирования Запада, возглавляемого США. Как отмечают исследователи, США и ЕС помогли новым демократиям создать у себя многочисленные исследовательские центры, одной из важнейших миссий которых стало обоснование того, что избавление стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и стран Балтии от внешнего господства является подлинной деколонизацией, образцом деколонизации, мейнстримом современной деколонизации.

Колониальность, таким образом, обретает новые интерпретации, а заодно и второе дыхание, что тоже важно учитывать. Это включает замену набора старых изношенных и ставших одиозными инструментов неоколониализма (типа “программ структурной адаптации”) на целостную систему такой эксплуатации через механизмы глобального управления и информационного доминирования, настраиваемые победителями в холодной войне.

Отныне государственные границы должны окончательно перестать быть препятствием для эффективной эксплуатации природных и человеческих ресурсов в мировом масштабе. Этот транзит еще несколько лет назад носил характер неспешного эволюционного реформирования действовавших с 1960-х годов институтов неоколониализма и осторожного выстраивания новых *постнеоколониальных* связей и зависимостей. В рамках этих отношений произошел редкий по своим объемам перелив национального богатства с Востока на Запад, количественно сравнимый с масштабами ограбления колониальной Индии за весь период британского владычества.

Первоначальная неспешность в формировании новой ткани постнеоколониальной зависимости во многом объяснялась возникшей иллюзией “конца

истории”, незыблемого векового характера установившейся монополярности — “Американского века”. Однако ситуация в сравнительно короткие (с исторической точки зрения) сроки начала принципиально меняться.

К этому времени восходящие центры силы, прежде всего принадлежавшие к колониальной и полуколониальной периферии — КНР, Индия, Бразилия, Индонезия, а также “поверженная в холодной войне” Россия и некоторые другие страны стали обретать новую значимость в глобальном балансе сил, как с точки зрения экономического веса, так и политического влияния.

В мировой экономике и в международном разделении труда их роль и место стали медленно, но верно меняться. Они начали претендовать на более значительную долю конечного объема глобальных ресурсов и оставлять в своем распоряжении все большую часть мирового дохода. Сохранение и усиление такого тренда чревато для прежнего колониального Центра не просто недополучением прибылей. Возникает опасность системного и последовательного выравнивания и сближения жизненных стандартов и уровней развитого и развивающегося мира в ходе относительного снижения этих долей у первых и повышения у вторых.

Для демократических политических систем такая опция неприемлема. Поскольку их функционирование строится на регулярной сменяемости власти в результате свободного волеизъявления избирателя, такой тренд означает системный и перманентный политический кризис. Ни при каких условиях массовый избиратель в западных демократических странах не согласится с перспективой устойчивого снижения стандартов своей жизни даже в силу объективных трендов развития мировой экономики или в интересах справедливого улучшения ситуации в странах третьего мира.

Между тем такие тенденции уже обозначились. Возможно, в США мы ныне видим первые подтверждения этой гипотезы. Как отмечает академик А.А. Дынкин, “нарастание конфликтов и глобальной конфронтации — это результат исчерпания ‘социального контракта’, который действовал в западных обществах с начала 60-х годов прошлого века. Его суть была проста: каждое следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Дети имели больше возможностей, чем родители. Этот тренд окончательно сломался, начиная с кризиса 2008 г. Сегодня надо искать что-то другое”³.

В эпоху кризиса позднефеодальной и раннекапиталистической Европы аналогичный кризис длительного устойчивого падения жизненного уровня (тогда в основном из-за относительного перенаселения и нехватки земли) был в целом разрешен как раз за счет колониальных войн, захвата чужих земель и создания глобальных колониальных империй.

В последующем он решался через попытки ревизии карты колониального раздела мира и через мировые войны. С появлением ядерного оружия подобный способ стал слишком рискованным.

У государственных и негосударственных акторов, безраздельно доминировавших в мире в последние десятилетия, подъем новых глобальных игроков, конечно же, вызывает стремление сдержать или максимально воспрепятствовать их восхождению. Страны Запада, прежде всего США, видят в усилениях прежней колониальной и нынешней полуколониальной периферии покушение на свою доминирующую роль в мироустройстве XXI в. и ограничение их ресурсных, конкурентных и идейных позиций в мире.

³ Дынкин А. 2019. Будущее уже здесь. — *Российская газета*. 17.06.2019. URL: <https://rg.ru/2019/06/17/akademik-dynkin-rasskazal-o-silnoj-valiute-i-o-novoj-mirovoj-ekonomike.html> (accessed 08.10.2020).

Навязывание постнеоколониальных отношений — едва ли не единственный выход для Запада из сложившегося положения. Классический колониализм решал главную задачу — гарантировать растущей промышленности метрополии доступ к сырьевым ресурсам. Неоколониализм конца прошлого века предполагал вынос западными монополиями производства на периферию — ближе к источникам сырья, трудовых ресурсов и в юрисдикции с необременительным экологическим законодательством.

В условиях постнеоколониализма главным мотиватором становится приближение производства к потребителю. Характер происходящей трансформации миропорядка определяется рядом новых фундаментальных процессов в мировом экономическом базисе: существующие цепочки создания товарных стоимостей стали относительно менее экспортиориентированными, трансграничная торговля услугами растет в 60 раз быстрее товарной и в ней в сумме создаются большие стоимостные объемы, а сравнительное преимущество в дешевизне рабочей силы теперь, в отличие от 1990-х годов, генерирует менее пятой части стоимости мировых товаропотоков [Абрамова, Фитуни 2018].

В этом плане демографические факторы в сочетании с растущей покупательной способностью населения делают восходящие экономики (сейчас больше Азию, а с середины XXI в. — Африку) крайне привлекательными и перспективными для инвестиций и производств. В то же время очевидна и спираль возврата на качественно более высоком уровне некоторых особо доходных или стратегических производств в страны бывшего колониального Центра.

Само по себе оформление отношений постнеоколониализма не означает их безальтернативности и неизбежности для восходящих и развивающихся стран. И на предшествующем этапе неоколониализма, основанном на колониальности отношений с Западом, существовала альтернатива в виде возможности развития связей со странами социалистического лагеря или в рамках отношений Юг — Юг.

Впрочем, и однополярная конструкция мироустройства как перспектива не списана еще со счетов полностью, по крайней мере, Соединенными Штатами. США пытаются сохранить свое имперское могущество и ускользающее “статус-кво начала века” с помощью силовых инструментов, напоминающих колониальную политику канонеров.

Как следствие, к концу второго десятилетия нынешнего века, когда информационные технологии позволили массово, быстро и точно воздействовать на общественное бытие и сознание, произошло резкое ускорение вялотекущих процессов, выразившееся в обострении того, что в эпоху классических *colonial studies* именовали межимпериалистическими противоречиями. Происходящие транзиты еще более ускорила вспышка COVID-19 и труднообъяснимые действия правительств ведущих мировых держав, на время застопоривших функционирование экономик, суммарно создающих до трех четвертей глобального ВВП [Фитуни 2020]. Последовавшие далее внутренние и международные процессы утверждают нас во мнении, что описанной выше эволюционной тактике пришел конец — развернулась силовая ломка недостаточно быстро трансформирующихся производственных и межгосударственных отношений доминирования и подчинения в мире.

Член-корр. РАН О. Гаман-Голутвина считает, что “происходит становление ‘другой современности’, которая становится следствием усиления свойства нелинейности в глобальной системе”. Она призывает к “осмыслению этих

процессов и адаптации профессионального сообщества к новым условиям” [Гаман-Голутвина 2016].

У глобальных отношений постнеоколониализма, при сохранении единой сути, множество конкретных новых форм и проявлений. Однако главной отличительной чертой этой фазы сохранения зависимости и продолжения эксплуатации одних государств другими в новых условиях и на новом уровне становится *глобальность* и *“неселективность”* зависимости и эксплуатации. Отныне это уже не исключительно взаимоотношения бывших колоний с их метрополиями. Эта модель отношений распространяется и на прежде независимые страны и даже крупные державы.

Другими словами, мы *сталкиваемся с обновленным неоколониализмом, распространяемым не только на постколониальную периферию, но и на весь мир* с использованием новейших информационных технологий, расширяющих возможности манипулирования на всех уровнях, включая ломку общественного сознания, национальной идентичности и целей развития. И если в производственной сфере создается реальная возможность противостоять постколониализму, по крайней мере для новых экономически весомых игроков (таких как Китай, Индия, некоторые стран ЮВА), то в сфере общественного сознания и ценностной системы координат, все более определяемых фейками виртуальной реальности и воспевающих общество потребления, шансы Запада намного выше.

Для мировой экономики и международных отношений на этом этапе становятся характерными отношения “квазиколониальности”, означающие фактическую эксплуатацию независимых государств и народов посредством ограничения их суверенитета в вопросах принятия решений и организации общественной жизни и экономических отношений, в области производства материальных и нематериальных благ, в технико-экономической сфере и в организационно-управленческой области, выборе путей и направлений социально-экономического развития или ценностной ориентации.

При этом утрачиваются характерная для прежних этапов направленная устремленность и “географическая векторность” колониальности. В условиях постнеоколониализма речь идет уже не о закабалении определенной страны другим государством или, на стадии неоколониализма, компаниями бывшей метрополии другой страны в целях получения доступа к ее определенным ресурсам. В условиях глобализации с сокращением властных функций национального государства и сужением границ суверенитета, передачей многих прав принятия решений и контроля с национального на надгосударственный уровень, нарастанием прозрачности границ и свободы движения людей и капитала размывается прежний формат колониальности при сохранении, однако, ее двуединой сущности — эксплуатации и несвободы.

Таковы отличительные характеристики и главное содержание практически наступившего уже этапа постнеоколониализма — обновленного и качественно усложнившегося неоколониализма, распространенного не только на постколониальную периферию, но на весь мир.

У постнеоколониальных международных отношений может появиться множество новых форм и проявлений, но при этом их суть будет оставаться неизменной. Они не могут быть чем-либо иным, кроме как отношениями доминирующего и подчиняющегося, диктующего свои требования и условия и выполняющего их, судьбы и ответчика, и, в конечном итоге, — господина и слуги. В фундаментальном смысле это отношения колониальности в новых

условиях и новой обертке, соответствующие этапу победившей глобализации, этапу цифровизации и витализации бытия.

Логической ответной реакцией на постнеоколониальность становится задача новой деколонизации, предполагающая многовариантность и свободный выбор путей и моделей развития, сохранение своей идентичности, собственной системы ценностей, исторической памяти, культуры, науки и языка.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.03](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.03)

POLITICAL THEORY OF DECOLONIZATION: ESSENTIALS OF MODERN READING

L.L. Fituni^{1,2}, I.O. Abramova^{1,2}

¹*Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

²*Saint Petersburg State University. Saint Petersburg, Russia*

FITUNI, Leonid Leonidovich, Dr. Sci. (Econ.), Prof., corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director of the Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences; Prof., Saint Petersburg State University, email: africa.institute@yandex.ru; **ABRAMOVA, Irina Olegovna**, Dr. Sci. (Econ.), Prof., corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Director of the Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences; Prof., Saint Petersburg State University, email: irina.abramova@inafr.ru

Fituni L.L., Abramova I.O. Political Theory of Decolonization: Essentials of Modern Reading. – Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 26–40. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.03>

Acknowledgements. The article was prepared with the support of the grant from St. Petersburg State University No. 26520757 “Innovative methodologies for ensuring information security of the Russian Federation”.

Received: 09.08.2020. Accepted: 10.09.2020

Abstract. The article analyses the evolution and partial rethinking of the political theory of decolonization in the context of the profound changes that have occurred since the adoption in 1960 of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the 15th session of the UN General Assembly, at the initiative of the USSR. With the need for both the ontological and epistemological reassessment of the processes that have evolved and developed over the past 60 years in the current stage of global political relations, in the contexts of uncompleted decolonization and the preservation of elements of coloniality in international relations as a whole globally, but also in many countries of the former colonial periphery domestically, the authors believe this rethinking is thus justified. In this regard, the authors give their critical assessment of the modern research field of decolonization, analyzing the key theoretical doctrines, concepts, and schools of thought – postcolonialism, decoloniality, subalternity, etc. As a result of their critical analysis, it is concluded that in political science, the main focus of modern theoretical works on decolonization has shifted from the previous focus on theoretical issues and the practical agenda of politics, economics, and state building to less tangible areas (information sphere, science, culture, art, language and etc.) or deeply subjective domains (consciousness, self-identification, representation, memory). Basing on generalizing the practical experience, history, results, and consequences of decolonization, the authors systematize the evolution of coloniality in international relations and the global economy in recent times, the authors offer their own three-element taxonomy of the transformation. They distinguish the following three stages of the development and qualitative metamorphoses of coloniality: a) the version that existed under the condition of the classical colonial domination of European nations at the end of the 19th and the first half of the 20th century; b) the coloniality of neocolonialism, dominant since the middle of the 20th century to the dissolution of the Socialist (Soviet) Block; and c) the current type formed under and by the conditions of globalization. The logical next step towards post-neo-colonialism is the challenge of a new decolonization, whose basic goals would be a multiplicity of development options, the inviolability and preservation of the existing systems of values, freedom of the choice in selecting paths, and models of development, cultures, science, and language.

Keywords: political theory, imperialism, dependence, racism, decolonization, sovereignty, neo-colonialism, decoloniality, colonial studies postcolonial studies, post-neocolonialism, quasi-colonialism.

References

Bhabha H.K. 1994. *The Location of Culture*. London, New York: Routledge. 285 p.

Castro-Gomez S., Mendieta E. 1998. *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*. México: Miguel Ángel Porrúa. URL: <http://people.duke.edu/~wmignolo/interactiveCv/Publications/teoriassindisciplina.pdf> (accessed 08.07.2020).

Chakrabarty D. 2000a. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton; Oxford: Princeton Univ. Press. 301 p.

Chakrabarty D. 2000b. Subaltern Studies and Postcolonial Historiography. — *Nepantla: Views from South*. Vol. 1. No. 1. P. 9-32.

Dussel E. 1996. *The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor, and the Philosophy of Liberation*. Amherst, N.Y.: Humanity Books. xxxi, 248 p.

Fanon F. Sartre J.-P. 1961. *Les Damnés de la Terre*. Paris: Francois Maspero. 242 p.

Fanon F. 1952. *Peau noire, masques blancs*. Paris: Le Seuil, Points. 224 p.

Globalization and the Decolonial Option. 2013. Ed. by W. Mignolo, A. Escobar. Abingdon: Routledge. 414 p.

Grosfoguel R., Maldonado-Torres N., Saldívar J.D. 2006. *Latin@s in the World-System. Decolonization Struggles in the 21st Century U.S. Empire*. Boulder: Paradigm Publishers.

Lumumba P. 1963. *La pensée politique de Patrice Lumumba*. Ed. by J.V. Lierde. Paris: Présence Africaine. 401 p.

Nkrumah K. 1964. *Consciencism: Philosophy and the Ideology for Decolonization*. London: Heinemann. 122 p.

Nyerere J. 1968. *Ujamaa. Essays on Socialism*. Arusha: OUP. 188 p.

Quijano A. 2000. Coloniality of Power, Knowledge, and Latin America. — *Nepantla: Views from South*. No. 1. P. 533-580.

Quijano A. 2007. Coloniality and Modernity / Rationality. — *Cultural Studies*. Vol. 21. No. 2-3. P. 168-178. <https://doi.org/10.1080/09502380601164353>

Quijano A., Wallerstein I. 1992. Americanity as Concept: Or the Americas in the Modern World-System. — *International Social Science Journal*. Vol. 131. P. 549-557.

Said E. 1979. *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*. London: Vintage. 414 p.

Senghor L. 1964. *Liberté, tome 1. Négritude et humanisme*. Discours, Conférences. Paris: Le Seuil. 448 p.

Spivak G.Ch. 1989. Subaltern Studies: Deconstructing Historiography. — *Selected Subaltern Studies*. Ed. by R. Guha, G.Ch. Spivak. New York, Oxford: Oxford University Press. P. 3-32.

Strang D. 1991. Global Patterns of Decolonization, 1500-1987. — *International Studies Quarterly*. Vol. 35. No. 4. P. 429-454. <https://doi.org/10.2307/2600949>

Abramova I.O., Fituni L.L. 2018. The African Segment of Multipolar World: Dynamics of Geostrategic Significance. — *World Economy and International Relations*. Vol. 62. No. 12. P. 5-14. (In Russ.)

Entin M.L., Entina E.G., Torkunova E.A. 2019. New Phase of Decolonization: From Formal Sovereignty to Real One. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 124-135. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.09>

Fituni L.L. 2020. The Coronavirus and "The End of History". — *Journal of the Institute for African Studies*. No. 2 (51). P. 5-13. (In Russ.) <https://doi.org/10.31132/2412-5717-2020-51-2-5-13>

Gaman-Golutvina O.V. 2016. Political Science as a Metadisciplinary Matrix. — *International Trends*. Vol. 14. No. 1. P. 86-94. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2016.14.1.44.7>

Semenenko I.S. 2019. Politika identichnosti i politika razvitiya: smena paradigm [Identity Politics and Development Politics: A Paradigm Shift]. — *Trayektorii politicheskogo razvitiya Rossii: instituty, proyekty, aktory* [Trajectories of Russia's Political Development: Institutions, Projects, Actors]. Moscow: MPGU. (In Russ.)

Tlostanova M.V. 2011. Decolonial Knowledge and Overcoming Disciplinary. — *Epistemology and Philosophy of Science*. Vol. 27. No. 1. P. 84-100. (In Russ.)

Литература на русском языке

Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. 2018. Африканский сегмент многополярного мира: динамика геостратегической значимости. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 62. № 12. С. 5-14. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-12-5-14>

Гаман-Голутвина О.В. 2016. Политология как метадисциплинарная матрица. — *Международные процессы*. Т. 14. № 1 (44). С. 86-94. <https://doi.org/10.17994/IT.2016.14.1.44.7>

Семененко И.С. 2019. Политика идентичности и политика развития: смена парадигмы. — *Траектории политического развития России: институты, проекты, акторы*. М.: МПГУ. С. 357-358.

Тлостанова М.В. 2011. Деколониальность знания и преодоление дисциплинарного декаданса. — *Эпистемология и философия науки*. Т. 27. № 1. С. 84-100.

Фитуни Л.Л. 2020. Коронавирус и "конец истории". — *Ученые записки Института Африки РАН*. № 2 (51). С. 5-13. <https://doi.org/10.31132/2412-5717-2020-51-2-5-13>

Энтин М.Л., Энтина Е.Г., Торкунова Е.А. 2019. Новый этап деколонизации: от формальной суверенности к реальной. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 124-135. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.09>

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.04

“ПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЛАС СОВРЕМЕННОСТИ” REVISITED

А.Ю. Мельвиль, М.Г. Миронюк

МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель и декан факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва, email: amelville@hse.ru; **МИРОНЮК Михаил Григорьевич**, кандидат политических наук, доцент, первый зам. декана, факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва, email: mmironyuk@hse.ru

Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г. “Политический атлас современности” revisited. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 41-61. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.04>

Статья поступила в редакцию: 15.08.2020. Принята к публикации: 03.09.2020

Аннотация. В статье представлены результаты развития проекта “Политический атлас современности” (“Атлас 1.0”), осуществленного более 10 лет на базе МГИМО-Университета МИД России при поддержке Института общественного проектирования и журнала “Эксперт”. В оригинальном проекте были предложены пять комплексных индексов — государственности, внешних и внутренних угроз, потенциала международного влияния, качества жизни и институциональных основ демократии. Методом дискриминантного анализа по индексам были рассчитаны рейтинги 191 государства-члена ООН (а также Тайваня) по состоянию на 2005 г. Полученные результаты, отражающие различные аспекты существования современных государств, были “свернуты” в четыре главные компоненты, в совокупности представляющие собой аналитическую модель мировой структуры. В проекте, реализованном на базе НИУ ВШЭ при поддержке гранта РНФ спустя свыше десяти лет (“Атлас 2.0”), полученные ранее результаты были проверены на устойчивость, были сделаны поправки на появление новых государств-членов ООН, уточнены компоненты индексов, использованы новые базы статистических данных и применены уточненные методы многомерного статистического анализа, что в совокупности позволило сделать ряд содержательных заключений о динамике мировой структуры. Прделанное исследование выполнено в традиции “Revisited” в современных социальных науках. Полученные результаты (прежде всего в конфигурации главных компонент) свидетельствуют о значительной стабильности базовых параметров мировой структуры, но в то же время выявляются и важные элементы динамики.

Ключевые слова: государство, мировая политика, факторный анализ, многомерный статистический анализ, индекс, рейтинг, главные компоненты.

ВВЕДЕНИЕ

Как устроен современный мир? Какова структура мировой политики? Как связаны между собой базовые “ячейки” мирового порядка — суверенные государства? Где в настоящее время находятся центры мировой мощи и влияния и какова их динамика? Какие инструменты качественного и количественного анализа могут использоваться для понимания изменяющейся мировой структуры? Эти фундаментальные и постоянно дискутируемые вопросы более десяти лет назад оказались в центре масштабного исследовательского проекта “Политический атлас современности” (условно — “Атлас 1.0”), осуществленного на базе МГИМО-Университета МИД России при поддержке Института

общественного проектирования и журнала “Эксперт”. В одноименной книге был представлен опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств [Политический атлас современности... 2007; Political Atlas of the Modern World... 2011]¹. На момент начала проекта (в 2005 г.) в мире насчитывалось 191 государство-член ООН, которые и стали основными объектами анализа.

В ходе реализации этого проекта были разработаны пять оригинальных комплексных индексов, характеризующих по разным параметрам позиции государств в мировой структуре (индексы государственности, внешних и внутренних угроз, потенциала международного влияния, качества жизни и институциональных основ демократии). Для расчета рейтингов стран по этим индексам были созданы статистические базы данных, которые подверглись обработке с помощью дискриминантного, факторного (метод главных компонент) и кластерного анализа. Помимо построения рейтингов стран по пяти индексам были выявлены четыре главные компоненты (ГК), являющиеся результатами свертывания разнородной информации, характеризующей страны по пяти комплексным индексам. Эти ГК представляют собой различные измерения взаимосвязей между отдельными государствами в мировой структуре — своего рода модель проекций мировой реальности.

ГК-1 отражает оппозицию внешних и внутренних угроз и качества жизни (55% объяснения дисперсии всех данных по выборке из 192 стран²). ГК-2 противопоставляет государственность и институциональные основы демократии — 26% объяснения по всем странам. ГК-3 — отражает дилеммы государственности и качества жизни (11%). И наконец, ГК-4 отражает потенциал международного влияния (7%), выделяя узкий “клуб” государств, обладающих реальной мощностью для воздействия на мировую политику (“противополюса” в данном случае нет).

В результате мы получили аналитическую модель мировой структуры, в которой практически более половины государств современного мира вынуждены противостоять широкому спектру внешних и внутренних угроз, во многом жертвуя при этом качеством жизни своих граждан ради собственного выживания. В этой же модели, как минимум, четверть государств выбирают либо крепкую суверенную государственность, либо приоритет демократического развития. Каждое десятое государство решает, что для него является приоритетом — государственность или качество жизни своих граждан. Наконец, совсем немногие государства способны реально влиять на ход мировых дел, все остальные, по большому счету, лишь объекты внешних воздействий. Таковы были наши основные выводы более десяти лет назад.

Несколько лет назад мы решили проверить полученные ранее результаты, в том числе с учетом динамики исследуемых мировых структур, уточняя компоненты индексов, при необходимости (в том числе по причине доступности более надежных данных) используя новые базы статистических данных и уточненные методы многомерного статистического анализа. Напомним, что наша первая

¹ Среди членов авторского коллектива — А. Мельвиль (руководитель), М. Ильин, Ю. Полунин, Е. Мелешкина, М. МIRONЮК, И. Тимофеев, Я. Ваславский. См. также [Мельвиль 2006; Мельвиль и др. 2006; Мельвиль и др. 2008; МIRONЮК, Тимофеев, Ваславский 2006]. Другим направлением проекта была подготовка четырехтомного энциклопедического справочника “Политические системы современных государств” (2009–2014), в работе над которым принимали участие студенты, аспиранты, сотрудники МГИМО-Университета, институтов РАН, МИД России и др.

² В “Атласе 1.0” в число изучаемых стран был включен Тайвань — крупнейшее непризнанное или частично признанное государство.

модель (“Атлас 1.0”) с использованием данных пяти оригинальных индексов дала своего рода “моментальный слепок” сложной картины взаимосвязей и иерархий современных государств по ситуации на 2005 г. В новом проекте, условно, “Атлас 2.0”, реализуемом в НИУ ВШЭ при поддержке гранта РНФ (2017–2019 гг.)³, мы стремились продолжать и развивать наши прежние наработки с учетом происходящих существенных изменений в современном миропорядке, в самих государствах и их группах, а также — концептуальных и методологических новаций, исчезновения старых и появления новых баз данных и пр. Такая операция “*Revisited*” применяется в масштабных межстрановых сравнительных проектах⁴, она позволяет выявить динамику исследуемых феноменов, протестировать на определенном временном интервале полученные ранее выводы и переосмыслить привычные концепции и теории. Наш новый временной горизонт охватывает двадцать лет и включает три опорные точки: 1995–2005–2015. В этом и состоит наша основная исследовательская задача на данный момент⁵.

На этом пути мы сталкиваемся с серьезными *концептуальными, методологическими и эмпирическими* проблемами. С концептуальной точки зрения нам было необходимо, прежде всего, проверить обоснования и компоновку переменных всех наших пяти индексов и — в случае необходимости — осуществить их коррекцию. В методологическом плане нам требовалось проверить валидность полученных результатов, используя в том числе иные, альтернативные методы и аналитические подходы. В частности, мы заменили дискриминантный анализ с “обучающими выборками” — из-за проблематичности его применения при анализе не “моментального слепка” мировой реальности (как мы поступили в проекте “Атлас 1.0”), а временных рядов, — на варианты факторного анализа.

Наконец, в эмпирическом отношении ключевая проблема, как всегда, связана была с дефицитом адекватной и своевременной информации по избранным показателям. Во-первых, наблюдается запаздывание в заполнении данных в официальных и/или общепринятых базах и источниках. Во-вторых, достаточно часто эти данные пересчитываются “назад” (так, например, поступают Всемирный банк и разработчики Индекса развития человеческого потенциала ПРООН), что не может не создавать вполне понятные проблемы для уже проведенного анализа. В-третьих, некоторые использовавшиеся ра-

43

³ Грант РНФ на выполнение проекта № 17-18-01651 “Новые подходы к анализу могущества и влияния современных государств в условиях меняющегося мирового порядка”. Среди участников (на разных этапах) — А. Мельвиль (руководитель), Ф. Алескеров, А. Ахременко, М. МIRONЮК, М. Ильин, И. Локшин, С. Швыдун, В. Якуба, А. Мячин, Ю. Полунин, а также студенты и аспиранты (И. Горельский, К. Толокнев, А. Мальцев, С. Жеглов, В. Бабаян, И. Гавриленкова, Н. Мещерякова, В. Беленков и др.). См. также основные опубликованные работы по проекту РНФ (за пределами сетевой проблематики): [Мельвиль 2018; МIRONЮК, Толокнев, Мальцев 2018; Ахременко, Горельский, Мельвиль 2019а, 2019б; Ахременко, МIRONЮК 2019; Ахременко, Мячин 2019; Горельский, МIRONЮК 2019; Жеглов, Полунин 2019; Melville 2019; Melville, Akhremenko, Mironyuk 2019].

⁴ Едва ли не классический пример — исследования политической культуры (и ее связи с демократией и политической стабильностью) Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы. В 1963 г. они опубликовали книгу “Гражданская культура” [Almond, Verba 1963]. Спустя почти 20 лет была выпущена книга “Гражданская культура: пересмотр концепции” [The Civic Culture Revisited... 1980]. Один из выводов создателей концепции состоял в том, что политические культуры США, Великобритании, Италии, Германии и Мексики за период между изданием двух этих книг претерпели значительные изменения (прежде всего — в США, Великобритании и Германии). Появилось и уточнение Алмонда о политической культуре как “пластичной многомерной переменной”.

⁵ Особая благодарность А.С. Ахременко, который взял на себя труд всех статистических расчетов, использованных в этой статье.

нее статистические параметры более не используются, и это требует поиска и применения альтернативных показателей.

Кроме того, методологической новацией стало использование *методов сетевого анализа*, разработанных Ф.Т. Алескеровым и примененных в “Атласе 2.0” для оценки отдельных аспектов взаимодействия и взаимозависимости государств⁶. Это — самостоятельное направление проекта, которое ждет содержательного политологического осмысления.

Какие же концептуальные и методологические новации были осуществлены в нашем проекте “*Revisited*”? Каковы полученные предварительные результаты? Каковы дальнейшие перспективы нашего исследования?

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИНДЕКСОВ СТРАН

С концептуальной точки зрения нам предстояла, прежде всего, верификация на новом материале общих содержательных оснований проекта “Атлас” и, в частности, отдельных компонентов индексов, используемых для моделирования структуры современной мировой политики. При этом в отношении ключевых переменных и используемых индикаторов в наших пяти индексах мы должны были осуществить целый ряд *концептуальных модификаций*, о которых и пойдет ниже речь.

В первую очередь эти модификации обусловлены нашим новым исследовательским фокусом на временные ряды (1995–2005–2015 гг.) для выявления элементов преемственности и динамики в позициях всех стран выборки (по ситуации на 2015 г. — 193 государства-члена ООН) по пяти рассматриваемым измерениям/индексам. В некоторых случаях концептуальные коррективы, вносимые нами в индексы, были связаны с переосмыслением и расширением их содержания в соответствии с новыми данными и исследованиями, в других — исключались дублирующие и/или теряющие свою релевантность переменные. Наконец, мы также добавляли некоторые новые индикаторы, отражающие новые и важные мировые тренды. Веса переменных в каждом из пяти индексов определяются по результатам факторного анализа.

Рассмотрим подробнее предложенные нами содержательные новации по всем пяти индексам.

1. Индекс государственности

Этот базовый для обоих наших проектов индекс призван оценить наличие или отсутствие у государства ресурсов для выполнения суверенных прерогатив, для самостоятельного развития. Индекс подчеркивает приоритеты успешности, управляемости и эффективности суверенных государств, которые в иных аспектах, — таких как потенциал демократического развития, качество жизни, тяжесть внешних и внутренних угроз, международное влияние, — образуют различные сочетания национальных качеств. Государственность в на-

⁶ Важный раздел проекта РНФ связан с анализом сетевых аспектов изучаемой нами мировой структуры. Это отдельное направление, отражающее инновационные подходы к сетевому анализу, разработанные Ф. Алескеровым и его коллегами. В частности, была завершена разработка обобщающей теоретической модели, раскрывающей механизмы влияния государств в сетевых взаимодействиях (в том числе конфликтных). Методы сетевого анализа были применены для анализа межгосударственных конфликтов, рынка вооружений, экспортно-импортных операций, миграционных взаимодействий, взаимодействий террористических групп и др. с публикацией соответствующих результатов. См. их некоторые публикации по проекту: [Aleskerov, Shvydun 2019; Aleskerov et al. 2020; Shvydun 2020].

шем понимании — это не столько “сила” или “размер”, сколько “качество”. При этом страны с высоким уровнем государственности могут очень сильно различаться по своим режимным характеристикам и качеству жизни своих граждан. Они оказываются вынужденными противостоять и по-разному отвечать на различные сочетания внешних и внутренних угроз и обладают принципиально разными возможностями международного влияния, причем как на глобальном, так и на региональном уровнях. В то же самое время страны с более низкими уровнями суверенной государственности могут обладать весьма различными режимными характеристиками и качеством жизни. Крайним (предельным) случаем оказываются так называемые “несостоятельные государства”, обладающие минимальной государственностью, слабо контролирующей собственную территорию, неспособные разрешать в рамках существующих институтов внутренние конфликты и находящиеся в состоянии, близком к распаду (или уже пребывающие в этом состоянии).

Приступая к проекту “Атлас 2.0”, мы должны были, с концептуальной точки зрения, учесть также идущие в современной литературе интенсивные дискуссии о проблеме “государственной состоятельности” (*state capacity*), и прежде всего о качестве отражающих (и/или определяющих) ее государственных институтов. В содержательном и операциональном плане речь идет о вариантах включения в концепт государственности также параметров, отражающих не только различные “суверенные” характеристики, но и качество институтов государственного управления (которое, конечно, зависит от многих факторов, отличных от даже широко трактуемой “суверенности” и эффективной “самостоятельности”).

В ходе работы над проектом по этому направлению мы, в частности, осуществили теоретико-методологическую проработку и эксперимент с разработанным нами новым индексом государственной состоятельности [Ахременко, Горельский, Мельвиль 2019а; 2019б] и получили нетривиальные результаты, в свою очередь нуждающиеся в дальнейшем исследовании. Тем не менее, значительная корреляция показателей государственной состоятельности и иных переменных, в том числе относящихся к политическим характеристикам государства, заставила нас вернуться к изначальной (как в “Атласе 1.0”) компоновке индекса государственности (т.е. с упором на суверенность, в том числе на экономическую самостоятельность и “веберианский” контроль над силовым принуждением на своей территории) (см. табл. 1).

Мы все же внесли одну коррективу в исходный индекс государственности — исключили переменную “отношение заявок на патенты резидентов и нерезидентов”, которая была призвана, согласно логике 10-летней давности, характеризовать способность обеспечивать “технологический суверенитет”, и перенесли ее в модифицированном виде в индекс потенциала международного влияния. Наш аргумент заключается в том, что данный параметр отражает, скорее, “нематериальный” актив международной привлекательности государства, т.е. аспект его мягкой (или “умной”) силы, а не прямое измерение суверенной государственности. Единицы измерения, шкалы и базовые источники “Атласа 1.0” мы сохранили⁷. Значения индекса рассчитываются здесь, как

⁷ Основные и дополнительные источники включают: Всемирный банк (“*World Development Indicators*”), МВФ, “Барометр конфликтов” Гейдельбергского института изучения международных конфликтов, материалы Стокгольмского международного института исследований проблем мира, а также сообщения информационных агентств, ежегодники “Военный баланс” (“*Military Balance*”) Международного института стратегических исследований, национальные переписи, оценки ежегодников “*World Factbook*”, база данных “*Ethnic Power Relations*” и др.

и во всех других случаях, по доступным эмпирическим данным (в отдельных случаях — по экспертным оценкам). Позиции стран во всех наших рейтингах нормированы в диапазоне от 0 до 10^8 .

Таблица 1 (Table 1)

Индекс государственности (переменные)
Stateness Index (variables)

1. Время существования суверенной государственности	4. Территориальное выражение внутренних конфликтов	7. Режим привязки национальной валюты
2. Внутренние конфликты: наличие и масштабы жертв	5. Доля внешней помощи в ВНД государства	8. Наличие на территории страны иностранных военных контингентов
3. Влияние внутренних конфликтов на стабильность режима	6. Внешняя долговая зависимость	9. Доля доминирующего этноса в структуре населения страны

Результаты проекта “*Revisited*” (в том числе с учетом ряда изменений в методиках расчета, о чем мы будем говорить ниже) по индексу государственности выявляют несколько важных тенденций на временных рядах 1995–2005–2015 гг. Во-первых, мы обнаруживаем страны с примечательной *преемственностью* показателей индекса по всем рассматриваемым временным точкам — как в отношении группы лидеров, так и стран-“неудачников”. Среди примеров устойчивой высокой государственности (по рейтингам 1995–2005–2015 гг.): Швеция (10,0–10,0–8,9), Швейцария (9,3–9,3–8,5), Новая Зеландия (9,4–9,2–8,7), Япония (9,2–9,2–9,2), Австралия (9,4–8,4–9,4), Норвегия (8,8–9,2–9,2), Дания (8,3–8,3–8,3), Австрия (8,2–8,2–7,1), Ирландия (7,9–7,9–7,9), Финляндия (7,9–7,9–7,9), США (7,9–9,3–7,3), Великобритания (7,3–8,0–7,3) и др. Замыкают рейтинги 1995–2005–2015 гг. Афганистан (2,8–0,8–2,0), Чад (1,2–1,3, но 3,1 в 2015 г.), ЦАР (1,4–0,9–1,2).

Во-вторых, примечательны примеры как *восходящей*, так и *нисходящей динамики* некоторых стран по индексу государственности, связанные либо с драматическими событиями (внутренними вооруженными конфликтами, интервенциями и др.), либо с изменением стратегии собственного развития. В качестве примера можно привести Йемен, фактически распавшийся к 2015 г. (3,4–6,9–1,1) или Сирию, оказавшуюся к этому периоду в состоянии гражданской войны и ставшую объектом вмешательства ряда иностранных государств (5,5–5,9–1,5). Не менее показательна нисходящая динамика государственности Ливии (8,1–7,5–3,0) или Украины (4,2–4,9–2,5), объясняемая как внутренними, так и внешними воздействиями.

Напротив, *некоторый подъем рейтинга России* с 1995 по 2015 гг. (5,6–7,0–7,2) может отражать произошедшую на рубеже веков смену политического и государственного курса (о других последствиях этих перемен речь пойдет ниже).

В-третьих, относительно высокие уровни государственности, как подтверждают наши данные, демонстрируют не только развитые западные демократии, но и *некоторые авторитарные режимы*: например, Китай (7,5–7,5–7,1), Иран (6,7–6,8–6,6), КНДР (7,1–6,5–6,5), Куба (6,8–6,6–6,9), Туркменистан (7,3–7,1–7,6), ОАЭ (6,7–6,7–6,7) и др. В то же время страны с устойчивыми демократическими системами или же избравшие *демократический вектор раз-*

⁸ Расчеты значений всех пяти индексов по собранным базам данных (1995–2005–2015 гг.) были произведены А.С. Ахременко.

вития в силу ряда исторических, социально-политических и иных причин могут и не обладать достаточно высокой (крепкой) государственностью: Индия (6,2–5,2–5,0), Молдова (5,6–4,0–4,1), Грузия (3,6–3,5–3,9), Босния и Герцеговина (0,7–3,4–3,2), Латвия (5,3–4,5–4,1), Эстония (5,0–4,2–3,9). Этот вывод на новом материале и в динамике подтверждает некоторые важные результаты нашего первого проекта, в том числе вариативность сочетания демократических институтов с иными характеристиками современных государств, включая их государственность, качество жизни, международное влияние и др.

Еще одно заключение, которое можно сделать на основании анализа “разбросов”, демонстрируемых показателями государственности разных стран мира на протяжении двух десятилетий, сводится к тому, что на положение государств в мировой системе влияют разные сочетания факторов: унаследованные традиции и обстоятельства, характер их окружения, особенности собственного развития, избираемые стратегии развития, ресурсная база и др. В ряду таких важных факторов отметим степень и характер внешних и внутренних угроз, на которые любое государство обречено так или иначе реагировать.

2. Индекс внешних и внутренних угроз

С помощью этого индекса мы измеряем комплексные угрозы и риски, с которыми сталкиваются или потенциально могут столкнуться государства современного мира. Государства по определению должны выполнять свою главную функцию — обеспечивать собственную безопасность и безопасность своих граждан. Конечно, для каждого отдельного государства эти вызовы и угрозы — внешние и внутренние — специфичны и по характеру, и по интенсивности, и по доступным ресурсам, необходимым для ответа и противодействия, и все государства реагируют на них по-разному. При этом со временем, по мере исторического расширения функций государства, сам спектр угроз расширяется и включает все новые измерения. Кроме того, процессы глобализации расширяют пространства рисков и вызовов за пределы национальных границ, и угрозы могут приобретать глобальный характер.

Основные существующие или вновь возникающие угрозы безопасности характеризуются устойчивостью и воспроизводимостью, составляя *долгосрочный контекст* существования того или иного государства. Появляются и угрозы — “черные лебеди”, которые очень сложно прогнозировать, — теракты в США 11 сентября 2001 г. или пандемия COVID-19 в 2020 г. весьма показательны в этом отношении.

В новом проекте мы исходим из разработанной в “Атласе 1.0” типологии внешних и внутренних угроз, включающей четыре группы: (1) угрозы территориальной целостности и политическому порядку; (2) экономические угрозы; (3) угрозы, имеющие природное происхождение, и (4) угрозы безопасности человека. Вместе с тем в концептуальном отношении мы вносим в этот индекс определенные модификации.

Во-первых, мы исключаем ряд параметров: в их числе (а) эпидемия ВИЧ/СПИД; (б) избыточная миграция (по оценке правительства), (в) сокращение численности населения; (г) хроническое отрицательное сальдо текущего платежного баланса; (д) зависимость от импорта энергоносителей; (е) наличие угрозы вооруженной агрессии (по оценке правительства). Мы по-прежнему считаем, что все указанные вызовы и угрозы реальны в том смысле, что отсутствие ответов на них со стороны государств могут вести к гибели людей и материальному ущербу, в том числе значительному. Однако анализ динами-

ки относительной значимости этих угроз привел к решению об исключении данных параметров из индекса.

Во-вторых, добавление нового показателя — наличие крупного внутреннего вооруженного конфликта — имело целью зафиксировать объективную угрозу, имеющую универсальное (жертвы и разрушения в ходе боевых действий), а не сконструированное (в партикулярных интересах) выражение.

В итоге уточненный индекс внешних и внутренних угроз включает в себя следующие параметры (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Индекс внешних и внутренних угроз (переменные)
External and Internal Threats Index (variables)

1. Наличие территориальных претензий со стороны иностранных государств	6. Наличие крупного внутреннего вооруженного конфликта
2. Наличие угрозы терроризма	7. Несбалансированный экспорт – преобладание одного-двух товаров в структуре экспорта (50% и более)
3. Присутствие на территории страны нелегальных сепаратистских и/или антиправительственных движений	8. Размещение страны в зоне повышенной опасности стихийных бедствий
4. Наличие в стране легальных сепаратистских движений	9. Проблемы со снабжением населения питьевой водой
5. Попытки неконституционной смены власти или государственных переворотов	10. Проблемы недоедания или голода (недостаток рациона питания по нормам FAO)

Мы в целом сохранили использованные в “Атласе 1.0” источники информации, но использовали и дополнительные⁹. Рейтинги стран, построенные на основе индекса внешних и внутренних угроз за 1995-2005-2015 гг., выявляют достаточно *четкие тренды*. Позиции стран в рейтингах расположены в диапазоне от 0 (минимальные угрозы) до 10 (максимальные угрозы). Государства, живущие в условиях наибольших угроз для своего существования, достаточно хорошо известны. По данным нашего индекса это (по трем рассматриваемым временным точкам), как правило, *уязвимые слаборазвитые страны* с низкими уровнями государственности, существующие в постоянном стрессе и в окружении очень серьезных угроз: Афганистан (8,6–9,6–9,5), Судан (8,3–9,5–9,2), Бурунди (8,1–8,1–6,7), Демократическая Республика Конго (6,6–6,8–10), Сомали (7,3–6,7–9,3) и др.

Как видно, в отношении этих стран уровни внешних и внутренних угроз на протяжении двух рассматриваемых десятилетий колеблются не слишком значительно. Это же заметно и применительно к наиболее “безопасным” странам по трем временным точкам: Финляндия (0–0–0), Люксембург (0–0–0), Швеция (0–0–0), Швейцария (0–0–0), – и многим другим западным демократиям. Хотя встречаются и относительно “безопасные” автократии – Иордания (0–0–0), Казахстан (2,2–3,1–2,2), Сингапур (2,2–1,3–1,3) и др.

Для России уровень угроз оставался достаточно высоким: 7,8 в 1995 г., 8,0 в 2005 г., но несколько *снизился* за последние годы до 5,0. В США был

⁹ Наши источники включают: ежегодники “World Factbook”, “Global Terrorism Database”, “Барометр конфликтов” Гейдельбергского института изучения международных конфликтов, проект “Minorities at Risk Project”, данные “Center for Systemic Peace”, справки по странам из “Polyarchy Dataset”, данные “UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset”, Всемирного банка, ФАО, “The Observatory of Economic Complexity”, “Human Development Data”, “International Trade Centre”, “World Risk Index” и др.

заметен подъем угроз, очевидно связанный с международным терроризмом, но в целом ситуация с безопасностью далека от напряженной (1,8–4,9–1,8).

3. Индекс потенциала международного влияния

Данный индекс, как и в “Атласе 1.0”, призван оценить средства, которыми располагают государства, и ресурсы их влияния (экономические, военные, институциональные и др.) на другие государства, на мировую политику и мировую экономику. Государства могут воспользоваться имеющимися инструментами влияния, отражающими их экономический потенциал, участие в международных структурах, военно-силовой потенциал, “человеческий потенциал”, но без гарантий достижения успеха [Мельвиль 2018].

Индекс международного влияния в “Атласе 2.0” включает 15 компонентов с целым рядом модификаций (по сравнению с “Атласом 1.0”). В частности, мы отказались от бинарных переменных (да/нет, есть/нет) при оценке ресурсов влияния, уточнили или изменили расчет ряда параметров, внесли параметры, отражающие способность стран к инновационному развитию, в том числе “Число заявок на патенты от нерезидентов” (для характеристики привлекательности патентной системы страны), “Доля в мировых расходах на научно-исследовательские и конструкторские разработки” и “Число университетов в топ-500 Шанхайского рейтинга” (данные доступны для 2005 и 2015 гг.), интегрировали блок “сырых ресурсов”. Рейтинг по этому индексу рассчитывается для стран – членов ООН по состоянию на 1995, 2005 и 2015 гг. В индекс включены параметры, относящиеся к пяти категориям: (1) экономическая мощь; (2) военная мощь; (3) институциональная мощь и влияние (т.е. позиции в международных организациях и институтах); (4) мягкая сила и (5) “сырые ресурсы” (территория, население, запасы нефти и газа)¹⁰ (см. табл. 3).

49

Таблица 3 (Table 3)

Индекс потенциала международного влияния (переменные)

Index of Potential of International Influence (variables)

1. Доля в мировом ВВП	6. Ядерное оружие и современные средства доставки	11. Число заявок на патенты от нерезидентов
2. Доля в мировом экспорте товаров и услуг	7. Многоцелевые и ударные самолеты (доля от мирового парка)	12. Число университетов в топ-500 Шанхайского рейтинга (2005 и 2015 гг.)
3. Доля в мировых расходах на научно-исследовательские и конструкторские разработки	8. Продолжительность членства в СБ ООН	13. Доля территории страны от мировой
4. Доля в мировых военных расходах	9. Доля голосов при принятии коллективных решений в Международном валютном фонде	14. Доля в мировой численности населения
5. Доля вооруженных сил страны в суммарной численности вооруженных сил всех стран мира	10. Лауреаты нобелевских премий	15. Доля в мировых запасах нефти и газа

¹⁰ Среди наших источников: данные Всемирного банка и МВФ, ежегодники “Военный баланс” Международного института стратегических исследований, базы данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира, база данных “Международная энергетическая статистика”, публикуемая Агентством энергетической информации США, данные Всемирной организации интеллектуальной собственности и др.

Насколько неравномерным является распределение потенциалов международного влияния (или, если угодно, мощи) в последние четверть века? Есть ли здесь значимые перемены?

И в “Атласе 1.0”, и в “Атласе 2.0” лидер с огромным отрывом от всех остальных очевиден — США, но ниже первого места наблюдается *примечательная динамика*. В 1995 г. в первую десятку (после США) входили в порядке убывания показателя рейтинга Япония (с почти трехкратным отставанием от лидера), Германия, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Канада, Индия и Италия. В 2005 г. Японию “потеснил” Китай (с более чем трехкратным отставанием от лидера), на четвертом месте снова оказалась Германия, далее Россия, Великобритания, Канада, Франция, Индия. А вот в 2015 г. за США продолжают следовать (с сокращающимся разрывом) Китай, затем Россия, Япония, Германия, Индия, Великобритания, Канада и Франция. Все остальные страны располагаются за этими лидерами международного влияния с огромным отрывом.

Сравнительные данные по *группе лидеров* (по данным рейтингов 1995–2005–2015 гг.) таковы: США (9,8 — 10 — 9,6), Китай (3,0 — 3,8 — 5,4). Россия (3,5 — 3,2 — 3,1), Великобритания (2,7 — 2,6 — 2,3), Индия (1,6 — 1,9 — 2,3), Франция (2,6 — 2,3 — 2,0), Германия (2,3 — 2,0 — 1,8), Япония (2,6 — 2,0 — 1,6).

Примечательна объективно снижающаяся, хотя и очень плавно, динамика ресурсов международного влияния *России*. Парадоксально, что это происходит при *очевидном росте российского фактического воздействия на международную обстановку*, прежде всего, как результат напористой внешней политики и интенсивного военного строительства (см. [Melville, Akhremenko, Mironyuk 2019]). Для объяснения этого кажущегося парадокса необходимо отметить, что уменьшение доступных России ресурсов влияния является *относительным*. Ситуация по абсолютным значениям потенциала международного влияния России совсем другая. Тем не менее темпы развития России на фоне мира в целом и государств-лидеров, в особенности, сравнительно низкие. Яркий, хотя и ограниченный пример — изменение долей России и Китая в мировом ВВП (в постоянных долларах 2010 г.). В 1990 г. на Россию приходилось 3,7% ВВП мира, Китай отставал почти в полтора раза — 2,2%, в 1995 г. доля России снизилась до 2,1%, а Китай почти догнал Россию образца 1990 г. — 3,5% ВВП мира. В 2015 г. доля России увеличилась до 2,2%, а доля Китая почти утроилась — до 11,7%. При этом ВВП мира в постоянных долларах 2010 г. в 1990–2015 гг. почти удвоился (в текущих долларах — утроился). Таким образом, рост ресурсов международного влияния конкретного государства в абсолютных показателях может сочетаться с их относительным снижением в сравнении с динамикой других стран.

4. Индекс качества жизни

Качество жизни граждан — одна из важнейших характеристик человеческой среды, создаваемой государством, условий для удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Оценка и сравнение качества жизни в разных странах мира предполагает учет комплекса социально-экономических, демографических и иных показателей, характеризующих особенности распределения доступных ресурсов в обществе. В свою очередь наличие и особенности распределения совокупных ресурсов характеризуют эффективность государства и государственных институтов, а также отчасти (хотя и не всегда) степень демократичности существующего политического режима (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Индекс качества жизни (переменные)
Quality of Life Index (variables)

1. ВВП на душу населения	5. Смертность от передающихся болезней (на 100 тыс. населения)
2. Включенность населения в систему начального, среднего и высшего образования	6. Смертность от увечий (несчастных случаев, убийств, самоубийств и др. – на 100 тыс. населения)
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	7. Расходы на здравоохранение на душу населения
4. Детская смертность до 1 года	

Качество жизни может оцениваться, в согласии с существующими практиками, либо по критериям его субъективного, индивидуального или коллективного, восприятия, либо по совокупности объективных параметров, имеющих статистическое выражение. В нашем случае используется второй подход – в соответствии с общим замыслом мы создаем композитный индекс с учетом тех параметров, которые влияют на качество жизни и отражают его состояние. Композиция индекса качества жизни в обоих “Атласах” практически идентична и опирается на общепризнанные источники. Однако эти источники используемых данных отчасти разные, что обусловлено уже отмечавшимися выше изменениями в расчетах и необходимостью поиска дополнительных информационных ресурсов¹¹.

Просчитанные нами в соответствии с указанными выше уточнениями рейтинги стран по качеству жизни (1995–2005–2015 гг.) подтверждают полученные ранее результаты, но демонстрируют и *определенную динамику*. Так, группа стран-“счастливиц” почти не меняется, и если есть какая-то динамика, то обычно это *плавный повышательный тренд*: Австралия (9,1–9,7–10,0), Люксембург (8,6–9,6–10,0), Ирландия (8,1–9,4–10,0), Исландия (8,5–9,8–10,0), Австрия (8,7–9,4–9,9), Швейцария (8,5–9,4–9,8), Новая Зеландия (8,5–9,4–9,7), Норвегия (8,5–9,2–9,7), Финляндия (7,7–8,8–9,6) и др.

Состав стран-“неудачников”, увы, также преестественен: ЦАР (0,2–0,2–0,4), Южный Судан (данные только за 2015 г. – 1,3), Демократическая Республика Конго (0,5–0,8–1,6), Чад (0,9 – 1,2 – 1,7), Гвинея-Бисау (0,8–1,0–1,8), Бурунди (0,3–0,9–1,8), Мозамбик (0,3–0,9–1,8) и др.

В России в показателе качества жизни намечается очень медленный рост (5,0–5,3–6,5), хотя по мировым меркам это все же скорее *среднее положение*, немного выше показателей Экватора и Бразилии. Позиции США по качеству жизни относительно стабильны и достаточно высоки (8,1–8,7–8,9).

На основе анализа этих рейтингов по трем временным точкам эмпирически подтверждается достаточно известное в литературе положение о *двусторонней зависимости* между уровнем жизни и характером политического режима (с учетом как иных особенностей государства, так и имеющихся у страны природных ресурсов). Согласно полученным нами данным, выделяется, прежде всего, группа “нефтяных автократий”, которые за счет щедрой политики перераспределения сырьевых доходов способны поддерживать высокий уровень потребления коллективных благ в социально-экономической сфере, а также в здравоохранении и образовании (в том числе для получения лояльности со стороны населения).

¹¹ Мы используем прежде всего следующие источники: данные Всемирного банка (“*World Development Indicators*”), “Доклады о развитии человека” ПРООН, “Оценки смертности для государств-членов ВОЗ” и др.

Это, например, Бахрейн (7,9–8,7–9,4), Кувейт (8,7–8,9–9,3), Катар (8,6–8,6–9,3), ОАЭ (8,0–8,6–8,7), Оман (5,9–7,9–8,4), Саудовская Аравия (6,0–7,3–8,4).

Вместе с тем обращают на себя внимание недемократические государства, не обладающие значимыми нефтяными/газовыми ресурсами, но за счет иных возможностей и стратегических решений поддерживающие относительно высокие уровни качества жизни своих граждан, например, Китай (3,5–5,5–7,6), Беларусь (5,3–6,1–7,5) и др. Наконец, есть отдельные страны демократического вектора развития, которые в силу различных – исторических, геополитических и иных – причин не в состоянии обеспечить достаточные уровни качества жизни для своего населения. Показательный пример – Индия (1,6–2,4–3,5), но также и Монголия (2,5–3,7–5,3) или Молдова (3,7–4,5–5,7).

5. Индекс институциональных основ демократии

Как известно, существует множество концептуально и методологически различающихся индексов (и соответствующих рейтингов) демократии, в том числе рейтинги политических прав и гражданских свобод от “Freedom House”, индексы демократии и автократии в проекте “Polity-IV”, “Democracy Index” от “Economist Intelligence Unit”, “Vanhane’s Democratization Index”, Bartelsmann Transformation Index, различные индексы проекта “V-Dem” и др.

В одних случаях широко используются экспертные оценки, в других приоритет отдается статистическим данным, часто оба подхода совмещаются. Имеющиеся подходы отличаются также в своей трактовке демократии, в том числе – в диапазоне от минималистского до максималистского ее понимания. В первом случае демократия тождественна самой процедуре выборов, во втором ей придаются еще и разнообразные социальные, политические, правовые и иные атрибуты, что по-прежнему вызывает серьезные дебаты.

Но даже если сводить минималистские условия измерения демократии к выборам, возникают многие вопросы. Как оценивать демократию “между выборами”? Как демократические по форме выборы могут приводить к власти автократов? Как выборы могут приводить к плебисцитарной легитимации авторитарного правления? Какие неформальные практики могут скрываться за формально демократическими выборами (и другими институтами)?

В предложенном нами индексе институциональных основ демократии (см. табл. 5) упор сделан на определении и сравнении минимально необходимых (но, разумеется, недостаточных) условий формирования и развития демократических институтов, практик и процедур. Это традиции и состояние конкурентных политических практик, ограничения исполнительной власти и др.

В “Атласе 2.0” используется большинство переменных, отвечающих обозначенным выше критериям и апробированных в первом проекте, за исключением нескольких новаций, связанных главным образом с иной операционализацией используемых параметров. Во-первых, были включены переменные “Наличие убийств по политическим мотивам” и “Наличие двух и более прецедентов мирных переходов власти к оппозиции (с 1945 г.)”. Первая переменная указывает на использование акторами политически мотивированных убийств, т.е. физического устранения оппонентов, как средства для удержания или смены власти (такая практика решительно противоречит любому современному пониманию демократического правления как “игры по правилам”). Вторая – указывает как раз на наличие опыта “игры по правилам”, когда к власти мирным способом приходит оппозиция и проигравшая сторона принимает этот факт и “смиряется” до следующих выборов, отказываясь от неинституциональных средств борьбы за власть.

Таблица 5 (Table 5)

Индекс институциональных основ демократии (переменные)

Index of Institutional Basis of Democracy (Variables)

1. Влияние парламента на формирование правительства	5. Доля женщин в нижней палате парламента	8. Длительность демократической традиции после Первой мировой войны (с 1918 г.)
2. Характер (уровень) парламентской конкуренции	6. Нахождение во главе исполнительной власти более двух сроков подряд	9. Отсутствие или подрыв конкуренции при формировании исполнительной власти
3. Характер (уровень) конкуренции при формировании исполнительной власти	7. Нарушения конституционного порядка (неконституционные смены власти, перевороты или их попытки, гражданские войны, оккупации и др. с 1974 г.)	10. Наличие двух и более прецедентов мирных переходов власти к оппозиции (с 1945 г.)
4. Включенность граждан в избирательный процесс		11. Наличие убийств по политическим мотивам

Во-вторых, была исключена бинарная переменная “Непрерывность демократической традиции после Первой мировой войны”, а переменная “Длительность демократической традиции после Первой мировой (с 1918 г.)” рассчитывалась по иной логике. Данный показатель обозначает период, на протяжении которого регулярно проводились минимально конкурентные выборы (с результатом не более 80% для победителя парламентских или президентских выборов). Для новых государств — с первых после независимости выборов. Гражданские войны, перевороты и др., препятствующие волеизъявлению избирателей, трактуются как нарушения регулярности традиции. В случае проведения первых минимально конкурентных выборов в год оценки (1995-2005-2015 гг.) в качестве длительности указывался один год. Соответственно, при расчете показателя в числителе значился “возраст” демократической традиции, а в знаменателе — максимальное возможное значение, начиная от с 1918 г. (для 1995 г. — это 77 лет, для 2005 г. — 87 лет, для 2015 г. — 97 лет).

В-третьих, переменная “Нарушения конституционного порядка (неконституционные смены власти, перевороты или их попытки, гражданские войны, оккупации и др.)” была преобразована из бинарной в порядковую для обозначения “регулярности” нарушений (т.е. теперь это величина, обратная числу нарушений конституционного порядка).

База данных в целом составлялась с использованием в основном тех же источников информации, что и в “Атласе 1.0”¹².

Сравнение рейтингов стран за 1995-2005-2015 гг. демонстрирует, во-первых, *очевидных лидеров* в части институциональных демократических традиций и практик: Дания (9,0–9,1–10,0), Швеция (9,4–9,3–9,8), Финляндия (8,9–9,4–9,4), Норвегия (9,0–8,9–9,1), Бельгия (7,8–8,7–9,0), Новая Зеландия (8,6–9,0–8,9), Нидерланды (8,0–8,7–8,9) и др. Обратим внимание на то обстоятельство, что эти данные свидетельствуют о примечательной стабильности позиций стран-лидеров, что может объясняться неукоснительным соблюдением устойчивых конституционных, а также иных институциональных правил и практик как *de jure*, так и *de facto*.

¹² Это прежде всего данные Межпарламентского союза (конкретно — база данных “*Parline*”) и неправительственной организации “*IFES*”, а также данные Всемирного банка, национальные конституции, источники и данные авторитетного проекта “*V-Dem*” и др.

Индия по этому индексу занимает относительно высокие позиции (6,4–7,1–6,9). Россия стабильно ниже (4,7–5,1–4,8).

Примеры автократий тоже вполне предсказуемы: Саудовская Аравия (0,3–0,2–0,6), Катар (0,8–1,1–0,8), Сомали (0,7–0,2–0,8), Судан (0–0,1–1,1), Оман (0,7–1,3–1,1), КНР (1,5–1,1–1,5).

Нужно обратить внимание, что речь идет именно об институциональных основаниях демократии, а не об оценке ее реального состояния в конкретной стране в конкретный момент. Этим объясняются в целом все же незначительные расхождения между результатами применения нашего индекса в сравнении с индексами “Freedom House”, “Polity”, “V-Dem” и др. Кроме того, временные ограничители наших данных (2015 г.) не позволяют отследить некоторые нынешние антидемократические тренды в целом ряде стран мира. Это — наша очень важная задача на будущее.

Подведем промежуточные итоги. Мы могли убедиться, что использование наших оригинальных и модифицированных индексов и построенных на их основе рейтингов дает существенные аналитические результаты, раскрывающие различные измерения мировой политической реальности, а также положение стран в многомерной мировой структуре и в известной мере существующие и эволюционирующие взаимосвязи между этими мировыми измерениями. В этом смысле индексы — это своего рода важные координаты, дающие возможность определять положение государств в мировой системе. Это важные аналитические инструменты, позволяющие измерять и оценивать состояние и динамику различных государств мира.

Сравнение полученных данных по временным отрезкам 1995–2005–2015 гг. позволяет выявить значительную *устойчивость* в позициях стран по базовым параметрам их государственности, внешних и внутренних угроз, международному влиянию, качеству жизни и демократическому потенциалу. В целом это подтверждает основные выводы “Атласа 1.0”, но одновременно и раскрывает *элементы динамики* в характеристиках и положении государств. Так, анализ новых данных по временным рядам в “Атласе 2.0” подтверждает значительную преемственность в характеристиках стран наиболее высоких и наиболее низких уровней государственности, но также и примеры как восходящей, так и нисходящей динамики, связанной с изменением внешнего контекста и внутренних обстоятельств. (Постепенное *укрепление государственности России* — характерный тому пример.)

Не менее примечателен вывод об отсутствии однозначной зависимости между государственностью и типами политических режимов. При достаточной стабильности уровней внешних и внутренних угроз мы обнаруживаем и некоторую динамику — например, частичное снижение угроз для России за два десятилетия. Анализ потенциала международного влияния показывает, что при сохранении обладающей им ограниченной группы стран внутри этого узкого “клуба” все же прослеживаются некоторые изменения — например, резкое *возвышение Китая*. Динамика стран по индексу качества жизни, где она прослеживается, очень плавная, что неудивительно, имея в виду во многом инерционный характер его показателей. Наконец, значительная преемственность показателей стран по индексу институциональных основ демократии за прошедшие два десятилетия в значительной мере объясняется его сфокусированностью на достаточно

устойчивые конституционные и институциональные факторы, дополняющей методологические подходы иных распространенных индексов демократии.

Нужно сказать, что рейтинги сами по себе не являются для нас самоцелью. В конечном счете *любой рейтинг условен*, хотя может использоваться в качестве полезного аналитического инструмента. Грань эта очень тонкая, особенно в условиях характерной для сегодняшнего мира “рейтингомании”. Поэтому помимо индексов и рейтингов целесообразно обратиться к многомерным методам статистического анализа, прежде всего, к методу главных компонент.

МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

От классификации и анализа стран по пяти рейтингам мы переходим к использованию метода главных компонент (МГК), чтобы избавиться от части “статистического шума” и установить такие комбинации показателей индексов, которые отражают существенные внутренние стороны (“компоненты”) изучаемых объектов, выражающие сходства или различия рассматриваемых стран. В определенном смысле каждая выявляемая ГК — это специфическая латентная проекция мировой политической реальности, раскрывающая в избранном ракурсе наибольшие сходства и различия между странами.

Напомним, что по данным “Атласа 1.0” основные результаты на этом направлении сводились к выявлению четырех ГК, которые в разной пропорции объясняли дисперсию значений наших пяти индексов. В содержательном отношении эти ГК раскрывают следующие основные измерения (и одновременно дилеммы) мировой реальности: *во-первых*, выбор приоритета противодействия внешним и внутренним угрозам за счет качества жизни; *во-вторых*, это дилемма: крепкая и успешная государственность vs демократическое развитие; *в-третьих*, приоритет государства и государственности в ущерб качеству жизни; *в-четвертых*, фактор максимизации международного влияния (см. табл. 6).

55

Таблица 6 (Table 6)

Проценты объяснения ГК в двух проектах
Percentage of Explanations by Principal Components in Two Projects

Главные компоненты	В “Атласе 2.0”		В “Атласе 1.0”	
	№ ГК	% объяснения	№ ГК	% объяснения
“Внешние и внутренние угрозы” vs “качество жизни”	1	57,2	1	55,4
“Потенциал международного влияния”	2	19,0	4	7,0
“Государственность” vs “институциональные основы демократии”	3	10,8	2	26,4
“Государственность” vs “качество жизни”	4	6,9	3	11,2

Полученные данные говорят о том, что от успешности противодействия внешним и внутренним угрозам зависит качество жизни населения большинства (свыше половины) всех государств мира (а для значительной части, четверти, само их существование). Реальный выбор сводится к предпочтению либо независимой и успешной государственности, либо демократических институтов и практик, пусть и в ущерб первому. Перед каждым десятым государством стоит дилемма: крепкая государственность или качество жизни. И наконец, лишь меньшинство государств может претендовать на реальное влияние в мире. Такова картина структуры мировой политики по ситуации на 2005 г.

Как уже отмечалось во Введении, использование, как в случае “Атласа 1.0”, метода дискриминантного анализа (на основе подбора так называемых “обучающих выборок” стран, в наибольшей и наименьшей степени отвечающих критериям конкретного рейтинга) применительно к изучению страновой динамики не является оптимальным. Поэтому в “Атласе 2.0” было решено обратиться к вариантам факторного анализа, чтобы оценить динамику и, одновременно, проверить полученные ранее результаты¹³.

Первый полученный нами очень важный вывод говорит о том, что использованные при анализе “статистики” и “динамики” различные методы (дискриминантный — 2005 г. и факторный — 1995–2005–2015 гг.) дают *стабильные и воспроизводимые результаты*. Иными словами, фундаментальная структура мировой политики, выявленная в “Атласе 1.0”, подтверждается и в “Атласе 2.0”. Речь идет, прежде всего, о базовых ГК, хотя и с некоторыми нюансами в их объяснительном потенциале.

О чем говорят эти данные? Во-первых, они дают возможность оценить в порядке убывания процент *сходств и различий* между странами с учетом определенных сочетаний индексов. При этом первая ГК является наиболее значимой, она объясняет особенности более чем половины стран мира. Вторая ГК объясняет почти каждую пятую страну. Третья ГК добавляет каждую десятую, а в совокупности эти три ГК объясняют абсолютное большинство стран мира — 87%. С точки зрения метода главных компонент — это более чем достаточно для построения аналитической модели изучаемых объектов.

Во-вторых, некоторые различия в процентах объяснений каждой ГК в обоих проектах объясняются *включением динамического компонента* (1995–2005–2015 гг.) в “Атлас 2.0”. В наибольшей степени это заметно по ГК-2, отражающей рост “потенциала международного влияния” — с 7% до 19%. Это может объясняться в том числе реальным обострением международной напряженности к 2015 г. и соперничеством государств и групп государств в мировой политике. Заметим также, что, согласно используемому методу, главные компоненты с незначительной объяснительной способностью трактуются как статистический шум и обычно не учитываются в дальнейшем анализе. Исключение было сделано — и вполне обоснованно — в отношении ГК “потенциал международного влияния” в “Атласе 1.0” из-за того, что объясняемые ею страны, принадлежащие к узкому “клубу”, являются ключевыми для понимания распределения реальной мощи и влияния в мировой политике. Применительно же к “Атласу 2.0” ГК “государственность” vs “качество жизни” (6,9% объяснения) была исключена из дальнейшего анализа — отчасти и потому, что объясняемые ею страны не принадлежат к ключевым игрокам в определении структуры взаимоотношений между государствами в современном мире.

Таким образом, в “Атласе 2.0” мы в дальнейшем анализе фокусируемся на первых трех из указанных в табл. 6 ГК. И, как отмечалось выше, полученные нами результаты говорят о значительной *стабильности* базовых параметров мировой структуры, но в то же время выявляются и *элементы динамики*.

Рассмотрим теперь содержание главных компонент проекта “Атлас 2.0” подробнее. ГК-1 противопоставляет “внешние и внутренние угрозы” и “качество жизни” и представляет собой *проекцию национального выживания и его качества* (как и в “Атласе 1.0”). Это важнейшее измерение современ-

¹³ Расчет значений главных компонент был произведен А.С. Ахременко.

ного мира, в котором более половины всех стран сталкиваются с широким спектром разнообразных угроз для их существования и вынуждены искать различные способы выживания, противодействия угрозам, жертвуя при этом многим — прежде всего, качеством жизни, но часто также и собственной государственностью, и перспективами демократического развития. У этих стран нет сколько-нибудь существенного потенциала международного влияния, они лишь объекты чужих интересов и воздействий.

ГК-2 отражает “потенциал международного влияния” и, как и в “Атласе 1.0”, у нее нет “противополюса”. Это измерение мировой структуры фиксирует *особый “клуб”* в составе небольшого числа государств, которые обладают ресурсами и возможностями оказывать реальное влияние на глобальном уровне, если угодно — форматировать современную мировую реальность. Все другие страны, пусть и хотели бы войти в этот привилегированный “клуб”, в той или иной степени являются объектами чужих воздействий и усилий. Они очень разные страны — и по уровню своего развития, и по суверенной государственности и государственной состоятельности, и по уровню жизни и по режимным характеристикам; все они так или иначе участвуют в мировой политике, пытаются отстаивать свои интересы, но глобальная роль этих “других стран” незначительна.

Наконец, третья учитываемая в “Атласе 2.0” главная компонента (ГК-3) противопоставляет “государственность” и “институциональные основы демократии”. По сравнению с “Атласом 1.0” ее объяснительный потенциал относительно ниже — 11% (а не 26%). Напомним, что некоторое изменение процента объяснения связано с учетом *динамики индексов* в течение двух десятилетий. Эта ГК имеет значение для объяснения лишь одной из десяти стран, которые стоят перед жизненной дилеммой — либо, при прочих равных условиях, приоритет относительно крепкой государственности, независимо от качества жизни и уровня демократического потенциала, либо развитие демократических институтов и процедур, даже жертвуя суверенной государственностью. В итоге — на одном полюсе этой компоненты — автократии с состоятельной государственностью, а на другом — страны демократического выбора, но с проблемной (т.е. невысокого уровня) государственностью.

В соответствии с разработанной в “Атласе 1.0” исследовательской логикой мы стремимся выявить особенности и динамику современной многомерной мировой структуры, рассматривая ее в *двухмерных плоскостях* наших ГК. Веса индексов в пространстве наиболее значимых ГК-1 (внешние и внутренние угрозы — качество жизни) и ГК-2 (потенциал международного влияния) выглядят следующим образом (см. рис. 1; примеры стран см. на рис. 2)¹⁴.

По горизонтали (ГК-1) на одном полюсе мы видим примеры стран, живущих в стрессе и под постоянным давлением угроз, на другом — страны, добившиеся высокого качества жизни (не исключая притом успешной государственности и потенциала демократического развития). Строго говоря, фактор угроз противостоит не только качеству жизни, но также государственности и институциональному потенциалу демократии. По вертикали (ГК-2) выделяется лишь одна небольшая группа стран, обладающих реальной национальной мощью и потенциалом международного влияния (прежде всего США, Китай, Россия, но также Индия, Германия, Великобритания и Франция).

¹⁴ Благодарим Н.В. Винника за помощь в подготовке рисунков к печати.

Рисунок 1 (Figure 1)

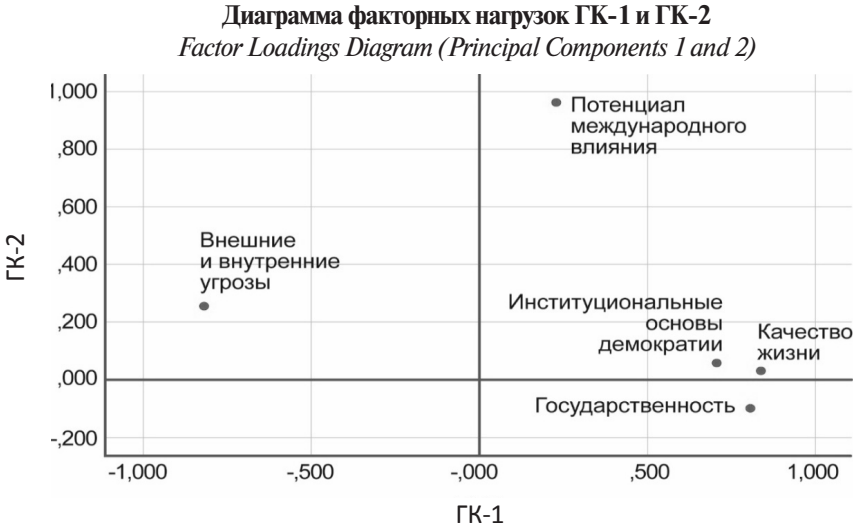
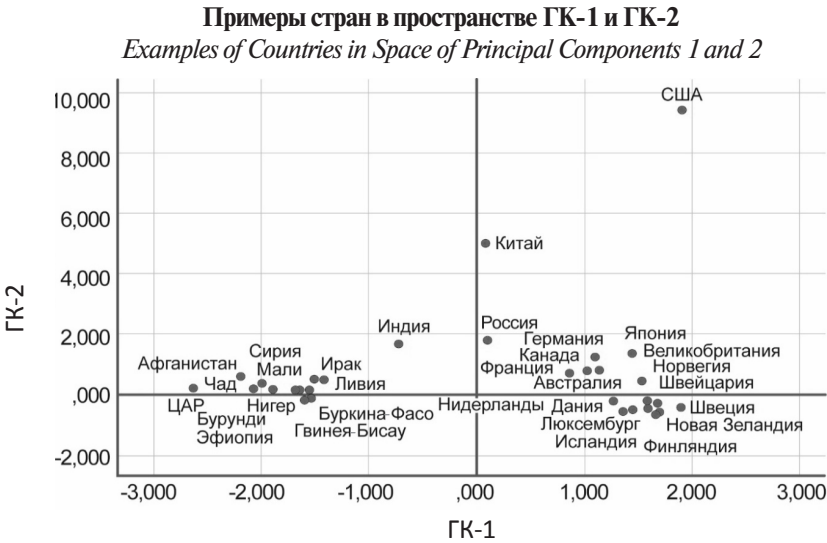


Рисунок 2 (Figure 2)



Из рис. 2 также видно, что страны с высоким потенциалом международного влияния различаются по степени стоящих перед ними внешних и внутренних угроз, но в целом принадлежат к сегменту относительной безопасности. Это же можно сказать и о диапазоне качества жизни, государственности и институциональных основ демократии среди “влиятельных стран”. Россия и Китай в определенной степени отличаются от других членов этого узкого “клуба” по всем вышеперечисленным параметрам.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Представленное читательскому вниманию, пусть и в сокращенном виде, исследование “Атлас 2.0” (“*Revisited*”) позволяет сделать ряд выводов существенных, на наш взгляд, для понимания общей динамики внутренней структуры и различ-

ных измерений мировой политики и положения в ней отдельных стран и групп стран. В отличие от “Атласа 1.0”, это не “моментальный снимок” расположения государств в различных мировых координатах, а попытка раскрыть *динамическую картину современной мировой реальности*, включающую как *элементы преемственности и стабильности*, так и *меняющиеся траектории развития*.

Суверенные (пусть в иных случаях и формально) государства-члены ООН остаются ключевыми элементами современной мировой структуры, даже при растущей роли негосударственных и межгосударственных образований. Пять предложенных нами и используемых в анализе комплексных индексов позволяют описать важные измерения этой структуры. Полученные нами результаты демонстрируют примечательную и воспроизводящуюся *преемственность* структуры взаимосвязей между государствами современного мира, что особенно важно с учетом определенных различий в используемых методах анализа. Проведенный анализ подтверждает также множественность несовпадающих измерений мировой структуры, которые в разных соотношениях характеризуют важные стороны существования и взаимоотношений между современными государствами, отличающимися по степени их государственности, качеству жизни, уровню внешних и внутренних угроз, потенциалу международного влияния и институциональным основам демократии. Вместе с тем, исследованные в проекте “Атлас 2.0” временные ряды вскрывают и существенные элементы общей мировой *динамики*, а также *перемены* в позициях отдельных, в том числе наиболее влиятельных стран мира, — по всем рассматриваемым проекциям.

Исходя из этого можно наметить целый ряд важных перспектив для дальнейших исследований. Во-первых, возможность модификации, коррекции и добавления в исследование новых аналитических измерений современной мировой структуры, в том числе в части предложенных индексов. Речь может идти как об использовании постоянно появляющихся новых *эмпирических данных*, так и о *концептуальных новациях*, отвечающих современному состоянию научных исследований. Во-вторых, в части концептуализации возможно изменение и *масштаба анализа*, в том числе включение не только глобального, но и региональных измерений взаимосвязей и взаимоотношений стран и групп стран, включая негосударственных акторов. В-третьих, представляется весьма продуктивным изучение возможностей (и результатов) использования новых *исследовательских методов*, включая сетевые подходы.

Проект продолжается...

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.04](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.04)

“POLITICAL ATLAS OF THE MODERN WORLD” REVISITED

A.Yu. Melville¹, M.G. Mironyuk¹

¹National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia

MELVILLE, Andrey Yuryevich, Dr. Sci. (Phil.), Professor, Academic Supervisor and Dean, Faculty of Social Science, National Research University Higher School of Economics, Distinguished Scholar of Russia, email: amelville@hse.ru; MIRONYUK, Mikhail Grigorievich, Cand. Sci. (Pol. Sci). Associate Professor, First Deputy Dean, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics, email: mmironyuk@hse.ru

Melville A.Yu., Mironyuk M.G. “Political Atlas of the Modern World” Revisited. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 41–61. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.04>

Received: 15.08.2020. Accepted: 03.09.2020

Abstract. In this article, we present the results of the development of the “Political Atlas of the Modern World” (“Atlas 1.0”) project. “Atlas-1.0” was implemented more than ten years ago by scholars of the MGIMO

University with the support of the Institute of Public Projects and the “Expert” magazine. Development of five complex indices – of stateness, external and internal threats, the potential of international influence, the quality of life and the institutional foundations of democracy – was one of the major results of the “Atlas-1.0” project. The method of discriminant analysis was used to calculate the ratings of 191 UN member states (as well as Taiwan) as of 2005. The results obtained, reflecting various aspects of the existence of modern states, were compressed into four principal components. The four of them in the complex were interpreted as an analytical model of the modern world structure. In the project implemented ten years later at the Higher School of Economics with the support of a grant from the Russian Science Foundation (“Atlas 2.0”), the results obtained in the earlier atlas were tested for durability, corrections were made for the emergence of new UN member states, the components of the indices were refined, new statistical databases were used and advanced methods of multivariate statistical analysis were employed. The performed operations fit into the tradition of “revisited” which is part of the modern social sciences. A number of meaningful conclusions about the dynamics of the world structure have been made. The results obtained (configurations of the principal components) indicate the significant stability of the basic parameters of the world structure. At the same time, important elements of dynamics have also been revealed.

Keywords: state, world politics, multivariate statistical analysis, index, rating, principal components.

References

Aleskerov F., Shvydun S. 2019. Stability and Similarity in Networks Based on Topology and Nodes Importance. — *Complex Networks and Their Applications VII. COMPLEX NETWORKS 2018. Studies in Computational Intelligence*. Ed. by Aiello L., Cherifi C., Cherifi H., Lambiotte R., Lió P., Rocha L. Vol. 812. Cham: Springer. P. 94–103. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05411-3_8.

Aleskerov F., Gavrilenkova I., Shvydun S., Yakuba V. 2020. Power Distribution in the Networks of Terrorist Groups: 2001–2016. — *Group Decision and Negotiation*. Vol. 29. No. 3. P. 399–424. <https://doi.org/10.1007/s10726-020-09674-2>

Almond G., Verba S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ.: Princeton University Press.

Melville A., Akhremenko A., Mironyuk M. 2019. What Russia Can Teach Us about Power and Influence in World Politics. — *Russian Politics*. Vol. 4. No. 2. P. 137–167. <https://doi.org/10.1163/2451-8921-00402001>.

Political Atlas of the Modern World: An Experiment in Multidimensional Statistical Analysis of the Political Systems of Modern States. 2011. Ed. by A. Melville et al. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 256 p.

Shvydun S. 2019. Influence of Countries in the Global Arms Transfers Network: 1950–2018. — *Complex Networks and Their Applications VIII. COMPLEX NETWORKS 2019. Studies in Computational Intelligence*. Ed. by H. Cherifi, S. Gaito, J. Mendes, E. Moro, L. Rocha. Vol. 882. Cham: Springer. P. 736–748. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36683-4_59

The Civic Culture Revisited: An Analytic Study. 1980. Ed. by G. Almond, S. Verba. Boston: Little, Brown. 421 p.

Akhremenko A.S., Gorelskiy I.E., Melville A.Yu. 2019a. How and Why Should We Measure and Compare State Capacity of Different Countries? Theoretical and Methodological Foundations. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 8–23. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.02>

Akhremenko A.S., Gorelskiy I.E., Melville A.Yu. 2019b. How and Why Should We Measure and Compare State Capacity of Different Countries? An Experiment with Empirical Research. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 49–68. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.04>

Akhremenko A.S., Mironyuk M.G. 2019. Dynamics of the Potential of Influence of States (Based on the Materials of the Project “Political Atlas of the Modern World”). — *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. No. 1. P. 39–59. (In Russ.) <https://doi.org/10.31857/S086904990003941-7>

Akhremenko A.S., Myachin A.L. 2019. Pattern Analysis and Clustering in the Study of State Capacity: “Adaptive Optics” for Political Science. — *Political Science (RU)*. No. 3. P. 112–139. (In Russ.) <https://doi.org/10.31249/poln/2019.03.05>

Gorelskiy I.E., Mironyuk M.G. 2019. Climbing the Status Ladder: An Experiment in Empirical Research of Relation between Status — *Political Science (RU)*. No. 3. P. 140–174. (In Russ.) <https://doi.org/10.31249/poln/2019.03.06>

Melville A.Yu. 2006. “Political Atlas of Modern Time”: Conception and General Theoretical and Methodological Outline of the Project. — *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 6–14. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2006.05.02>

Melville A.Yu. 2018. Power and Influence of Modern States within the Changing World Order: Some Theoretical and Methodological Aspects. — *Political Science (RU)*. No. 1, P. 173–200. (In Russ.) <https://doi.org/10.31249/poln/2018.02.00>

Mironyuk M., Toloknev K., Maltsev A. 2018. Not so Obsolete Military. Power in World Politics to Wage War, to Avoid War and (or) to Gain Recognition? — *International Trends*. Vol. 16. No. 2. P. 26–48. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2018.16.2.53.2>

“Political Atlas of the Modern World”: Experience in Multidimensional Statistical Analysis of Political Systems of Modern States (head of the team of authors Melville A.Yu.). 2007. Moscow: Publishing house “MGIMO-University”. 272 p. (In Russ.)

Zheglov S.A., Polunin Yu.A. 2019. The Potential of International Influence: Experience of Discriminant Analysis (on the Materials of the “Political Atlas of the Modern World”). — *Political Science (RU)*. No. 2. P. 76–111. (In Russ.) <https://www.doi.org/10.31249/poln/2019.03.04>

Литература на русском языке

Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю. 2019а. Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира? Теоретико-методологические основания. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 8–23. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.02>

Ахременко А.С., Горельский И.Е., Мельвиль А.Ю. 2019б. Как и зачем измерять и сравнивать государственную состоятельность разных стран мира? Опыт эмпирического исследования. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 49–68. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.04>

Ахременко А.С., Миронюк М.Г. 2019. Динамика потенциалов международного влияния государств (по материалам проекта “Политический атлас современности”). — *Общественные науки и современность*. № 1. С. 39–59. <https://doi.org/10.31857/S086904990003941-7>

Ахременко А.С., Мячин А.Л. 2019. Паттерн-анализ и кластеризация в исследовании государственной состоятельности: “Адаптивная оптика” для политической науки. — *Политическая наука*. № 3. С. 112–139. <https://doi.org/10.31249/poln/2019.03.05>

Горельский И.Е., Миронюк М.Г. 2019. Взбираясь по “статусной лестнице”: Опыт эмпирического исследования связи статуса государства в системе международных отношений и государственной состоятельности. — *Политическая наука*. № 3. С. 140–174. <https://doi.org/10.31249/poln/2019.03.06>

Жеглов С.А., Полуни Ю.А. 2019. О “тектонических сдвигах” (или их отсутствии?) драйверов международной мощи и влияния: Опыт дискриминантного анализа. — *Политическая наука*. № 3. С. 76–111. <https://doi.org/10.31249/poln/2019.03.04>

Мельвиль А.Ю. 2006. “Политический атлас современности”: замысел и общие теоретико-методологические контуры проекта. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 6–14. <https://doi.org/10.17976/jpps/2006.05.02.02>

Мельвиль А.Ю. 2018. Могущество и влияние современных государств в условиях меняющегося мирового порядка: некоторые теоретико-методологические аспекты. — *Политическая наука*. № 1. С. 173–200. <https://doi.org/10.31249/poln/2018.02.00>

Миронюк М.Г., Толочнев К.А., Мальцев А.М. 2018. Военная мощь в мировой политике: для победы в войне, для предотвращения войны и (или) для обретения статуса? — *Международные процессы*. Т. 16. № 2. С. 26–48. <https://doi.org/10.17994/IT.2018.16.2.53.2>

Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств (руководитель авторского коллектива Мельвиль А.Ю.). 2007. М.: Издательство “МГИМО-Университет”. 272 с.

КИТАЙ – РОССИЯ – США: ОТНОШЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Т. Грэм

ГРЭМ Томас, политолог и бывший дипломат, заслуженный деятель Совета по международным отношениям, научный сотрудник Йельского университета, старший советник Kissinger Associates, Нью-Йорк (США), email: tgraham@cfr.org

Грэм Т. Китай – Россия – США: отношения и стратегические треугольники. – Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 62–72. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.05>

Статья поступила в редакцию: 21.08.2020. Принята к публикации: 22.09.2020

Аннотация. На геополитической сцене современности наиболее активную роль играют Китай, Россия и США. Один из ключевых вопросов заключается в том, способны ли эти державы воспроизвести американо-китайско-советский стратегический треугольник 1970-х годов, действия которого кардинально изменили мировой геополитический ландшафт. Тот треугольник возник в результате политического решения США восстановить отношения с Китаем в рамках стратегии по выходу США из войны во Вьетнаме “с честью”, ограничить растущую мощь Советского Союза и стабилизировать Восточную Азию. Искусная дипломатия Вашингтона позволила ему добиться своих целей, но треугольник сохранялся большую часть 1970-х годов, поскольку служил в том числе продвижению интересов Советского Союза и Китая. Сегодня возвращение соперничества великих держав дало почву для дискуссий о появлении нового стратегического треугольника. Однако на данный момент такого треугольника не существует, и в первую очередь потому, что США не заинтересованы в установлении рабочих отношений с Россией. Поскольку Вашингтон не рассматривает действия России как вносящие значимый вклад в угрозу, которую для США представляет Китай, он мало что предпринимает для сдерживания растущего сближения России и Китая. Именно от России будет в основном зависеть, образуется ли такой стратегический треугольник. Россия должна убедить и Вашингтон, и Пекин в том, что своими политическими решениями она способна существенно менять баланс сил между ними – как сейчас, так и в будущем. На данный момент ни в Вашингтоне, ни в Пекине не верят в то, что Россия способна на это. Прежде всего – поскольку сомневаются в способности Москвы оживить свою экономику и наработать ресурсы, необходимые для подкрепления ее великодержавных амбиций в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: США, Китай, Россия, Киссинджер, геополитика, стратегический треугольник.

Китай, Россия и США – ключевые игроки глобального геополитического театра современности. Отношения между ними и проводимая ими политика оказывают непосредственное влияние на ландшафт всего евразийского суперконтинента и являются предметом множества исследований экспертами из Китая, России и (в меньшей степени) США. На наш взгляд, в рамках этой темы наибольший интерес вызывает следующий вопрос: можно ли утверждать, что современные отношения великих держав в этом треугольнике тождественны той модели, которая в конце 1970-х годов сложилась в рамках “большого треугольника” между США, Китаем и СССР и привела к системной трансформации глобальной геополитики? Является ли современный треугольник *стратегическим*, как 40–50 лет назад?

Определимся, что именно мы понимаем под стратегическим треугольником. По своей сути это властные отношения между тремя акторами, далеко выходящие за рамки обычного типа взаимодействий. Это отношения, изменение характера которых может оказать существенное воздействие на глобальный баланс сил. Если трехсторонние отношения — обычный для мировой политики формат, то стратегические треугольники встречаются нечасто и возникают лишь при определенных условиях. А именно, по меньшей мере два из трех участников треугольника должны представлять собой примерно равных по силе доминирующих глобальных акторов, а третий — иметь такой геополитический вес, при котором стратегические решения этого актора способны повлиять на баланс сил между двумя другими. Державы “второй категории” не способны к формированию стратегических треугольников, даже если изменения в их взаимоотношениях влекут за собой значительные последствия для всех трех стран, поскольку эти взаимоотношения не влияют на глобальный баланс сил. Таким образом, биполярные и трехполюсные мировые порядки способствуют возникновению стратегических треугольников — а, возможно, выступают и необходимым для их появления условием.

Объективные условия — это лишь часть картины. Государственные деятели ведущих держав должны пользоваться возможностями трехсторонней дипломатии, чтобы продвигать или, напротив, тормозить стратегические амбиции. От них требуется готовность и способность искусно маневрировать, чтобы сместить баланс сил внутри треугольника в свою пользу. Стратегический треугольник не существует “сам по себе”, а представляет собой продукт политического выбора, который создается как часть стратегического замысла.

Это и произошло в 1970-х годах, во многом благодаря стратегическому мышлению двух государственных деятелей — президента США Ричарда Никсона и его советника по национальной безопасности Генри Киссинджера. Среди разработанных ими стратегических императивов особо выделялись три: завершение “с честью” войны во Вьетнаме, сведение к минимуму негативных последствий достижения Советским Союзом ядерного паритета с США, и стабилизация геополитической ситуации в западной части Тихого океана — в Восточной Азии. Воспользовавшись острой напряженностью, царившей в китайско-советских отношениях, США преуспели по всем трем направлениям благодаря искусной трехсторонней дипломатии. Она разыгрывалась между ключевыми геополитическими акторами: сверхдержавами СССР и США и Китаем, который хотя и намного отставал в материальном отношении, единственный из всех прочих ведущих стран располагал весом как в мировом коммунистическом движении, так и на глобальной арене, который придавал его политическому курсу способность влиять на глобальный баланс сил.

Как известно, в середине 1950-х годов отношения Москвы и Пекина стали стремительно ухудшаться, якобы по идеологическим причинам. На протяжении 1960-х годов напряженность продолжала нарастать: между двумя столицами развернулась борьба за лидерство в мировом коммунистическом движении, Китай создал собственный ядерный арсенал и выдвинул претензии на советские территории, которые Российская империя захватила через заключение неравных договоров с приходящей в упадок династией Цин в середине XIX в. Пекин был встревожен перспективой вмешательства Москвы в его внутренние дела, особенно после вторжения войск СССР в Чехословакию в 1968 г. и выдвижения “доктрины Брежнева”, согласно которой Советский

Союз имел право и даже обязанность защищать социалистические завоевания в любой стране, присоединившейся к соцлагерю. Накопившаяся напряженность выплеснулась в ходе пограничных столкновений весной и летом 1969 г., самые трагичные из которых, развернувшиеся в марте на острове Даманский на реке Уссури, привели к сотням убитых с обеих сторон.

К 1970 г. советско-китайские отношения приобрели характер, типичный для соперничества между великими державами. Применительно к целям, поставленным Никсоном и Киссинджером, важнейшее значение имел тот факт, что Китай стал рассматривать СССР как источник главной угрозы своим интересам — более серьезной, чем та, что исходила от империалистической американской державы¹. Кошмаром Китая был советско-американский стратегический кондоминиум, направленный на его сдерживание. Что примечательно, в Москве пришли к аналогичному выводу относительно Китая, хотя тот был втянут в утомительную холодную войну с США. Достижение СССР ядерного паритета значительно снизило риск войны с США, однако для фанатичных (по мнению Москвы) китайцев угроза катастрофической ядерной войны не казалась существенным сдерживающим фактором. Кроме того, СССР и США никогда не вступали в открытый вооруженный конфликт, тогда как Советский Союз лишь недавно вышел из такого конфликта с Китаем. Итак, в Москве полагали, что наибольшая угроза в ближайшей перспективе исходит именно от Пекина, а худшим сценарием было бы формирование антисоветского американо-китайского стратегического альянса.

64

Сложившаяся ситуация открывала уникальное окно возможностей для стратегического маневра США, и перед Никсоном и Киссинджером стоял лишь вопрос о том, как использовать его наилучшим образом. Для них было принципиально важно избежать обострения напряженности в отношениях СССР и Китая, что могло бы привести к крупному военному конфликту, вплоть до ядерной войны, с разрушительными последствиями не только для ее участников. Не было стратегически оправдано и заключение альянса с одной из сторон против другой. Что бы США выиграли, взяв на себя обязательство защищать Китай от нападения СССР? Аналогичным образом, зачем Вашингтону заключать союз со своим главным стратегическим конкурентом против державы, которая оттягивала на себя часть ресурсов, которые Москва могла бы использовать против США [см. Kissinger 1979: 763–770]? Политика, разработанная американскими лидерами, была более тонкой: используя страх перед потенциальным альянсом своего соперника с США, создать для каждой из стран стимул добиться лучших отношений с Соединенными Штатами.

Однако для воплощения этих планов в жизнь США было необходимо сначала установить отношения с Китаем, т.е. построить китайско-американский участок стратегического треугольника, что представляло собой нелегкую задачу. После прихода к власти в Китае в 1949 г. коммунистического

¹ См., например, отчет четырех китайских маршалов от 11 июля 1969 г., подготовленный по приказу Мао, в котором утверждалось, что “советские ревизионисты сделали Китай своим главным врагом; от них исходит более серьезная угроза нашей безопасности, нежели чем от империализма США”. Военное руководство считало полномасштабную войну маловероятной, но одновременно было убеждено в том, что США встретят советско-китайский конфликт аплодисментами, и политика Вашингтона по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой преследует именно эту цель. См. *Report by Four Chinese Marshals, Chen Yi, Ye Jianying, Xu Xiangqian, and Nie Rongzhen, to the Central Committee: “A Preliminary Evaluation of the War Situation” (excerpt), July 11, 1969.* URL: <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117146> (accessed 10.10.2020).

правительства между странами воцарилась атмосфера глубокого недоверия. Начиная с 1969 г. через посредников из Франции, Румынии и Пакистана Никсон давал Пекину понять, что готов к налаживанию отношений. Хотя вывод американских войск из Вьетнама и сокращение американского контингента в западной части Тихого океана состоялись преимущественно по внутривнутриполитическим причинам, Никсон хотел верить, что эти шаги понизят уровень американской угрозы в глазах пекинского руководства. Глава Белого дома запустил и ряд других инициатив, которые должны были дать Китаю понять, что США не считают его серьезной угрозой: так, было прекращено постоянное патрулирование Тайваньского пролива. Эти шаги достигли своей цели — активизации дипломатических отношений с Китаем, кульминацией которой стали секретный визит Киссинджера в Пекин в июле 1971 г. и визит Никсона в феврале 1972 г. Без сомнений, это был брак по расчету, который зиждился не на устойчивых ценностях и принципах, а на общей потребности геополитически сдерживать советский экспансионизм. Это стало базисом для появления стратегического треугольника.

Результаты для Вашингтона не заставили себя ждать. И Москва, и Пекин дистанцировались от Ханоя, что сыграло свою роль в заключении соглашения между США и Северным Вьетнамом в 1972 г., положившего конец американскому участию во Вьетнамской войне. Сближение с Пекином побудило Москву более активно включиться в переговоры по ограничению стратегических вооружений, что способствовало подписанию Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договора о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-1) в мае 1972 г. Кроме того, Китай согласился на размещение наблюдательных постов на севере страны для отслеживания действий советских войск в Азии.

Управление стратегическим треугольником требовало от Вашингтона искусной дипломатии. Никсону и Киссинджеру приходилось убеждать Москву и Пекин в том, что они не вступают в сговор с соперником одной из сторон, тогда как на деле стремились улучшить свои отношения с этим самым соперником. Одновременно необходимо было поддерживать у обеих сторон подозрение в том, что если какая-либо из них откажется работать с Вашингтоном, то у того всегда остается в запасе альтернатива альянса с ее соперником [ibid.: 190]. Задача американского руководства несколько облегчалась постоянными предложениями — то из Москвы, то из Пекина — о заключении того или иного рода альянса против другой стороны. В то же время ее осложняли внутренняя нестабильность в США в связи с войной во Вьетнаме и Уотергейтский скандал, который привел к отставке Никсона с президентского поста.

Решение этой задачи в целом взял на себя Киссинджер. Ведя переговоры с СССР по ОСВ-1, он снабжал китайскую сторону достаточным количеством информации, чтобы уменьшить ее беспокойство. США установили разведывательные посты в Китае, но воздерживались от дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны, которое могло бы спровоцировать Москву. Укреплению доверия между сторонами треугольника способствовало и то, что США, как при Никсоне, так и при его преемнике Джеральде Форде, отказались от каких-либо попыток подорвать советскую и китайскую системы изнутри. С американской точки зрения, трехсторонняя дипломатия была в целом успешной; при этом, пока Киссинджер курировал внешнюю политику США, она позволяла Москве и Пекину продвигать свои стратегические интересы. С наступлением периода разрядки Москва добилась

признания своих геополитических позиций в Европе и признания Америкой Советского Союза как равного, по крайней мере, в ядерной сфере. В свою очередь, Китай получил более высокую безопасность относительно СССР и отдаление США от Тайваня. Одна из ключевых причин успеха стратегического треугольника в первое время его существования была связана именно с тем, что каждая из его сторон получила собственную выгоду — даже при том, что США выиграли больше всех.

Эффективность треугольника резко упала после того, как на посту президента США Форда сменил Джимми Картер, а в январе 1977 г. советником по национальной безопасности стал Збигнев Бжезинский. Приверженность Картера вопросам защиты прав человека и сокращения ядерных арсеналов выходила далеко за рамки договоренностей Кремля с предыдущей администрацией Белого дома, что вызвало рост обеспокоенности в Москве. Стремление Бжезинского быстро улучшить отношения с Пекином и разыграть против Москвы “китайскую карту” также подорвало доверие Кремля. Администрация Картера не использовала треугольник для улучшения отношений как с Москвой, так и с Китаем; он сдвигался в сторону Китая и использовался для того, чтобы заставить Москву уступить свои позиции Вашингтону.

Это привело к краху разрядки, значительный вклад в укрепление которой внес именно стратегический треугольник Китая, СССР и США. В 1980-х годах он существенно утратил свою значимость, а в 1991 г. с распадом Советского Союза и вовсе перестал существовать как инструмент глобальной дипломатии. Ни одна из трех столиц более не нуждалась в нем. Соперничество великих держав затихло.

Возрождение соперничества великих держав после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., которое обострил кризис в Украине 2014 г., возродило и дискуссии о стратегическом (“большом”) треугольнике Китай — Россия — США и его роли в международных вопросах. Россия и Китай сблизились в стратегическом отношении, чтобы бросить вызов господству США в международной системе и затормозить их кампании против каждой из них — для России прежде всего в Европе, для Китая в Восточной Азии и за ее пределами, а также чтобы установить новый глобальный баланс сил. Существенно вырос уровень их связей в сфере торговли и безопасности. Москва и Пекин проводят совместные воздушные и морские учения в стратегических локациях как в Азии, так и в Европе. Они активно координируют позиции в международных организациях, прежде всего в Совете Безопасности ООН. Неудивительно, что среди экспертов обеих стран велик интерес к этому треугольнику.

Тем не менее мы до сих пор не наблюдаем возрождения стратегического треугольника Китай — Россия — США, и главным образом потому, что Вашингтон отказывается признавать его существование как релевантной политической сущности. Безусловно, в США существует консенсус относительно того, что и Китай, и Россия — это стратегические конкуренты. Авторы последнего обзора международных угроз, опубликованного Разведывательным сообществом США в январе 2019 г., предупреждают: “Китай и Россия сблизились сильнее, чем за весь период с середины 1950-х годов, и их отношения, скорее всего, будут укрепляться и дальше на базе совпадающих интересов и восприятия угроз, к числу которых они относят американскую политику

‘односторонности и интервенционизма’, а также продвижения западных демократических ценностей и прав человека”². Их соперничество с США, отмечают авторы, “пронизывает все сферы, включая гонку за технологическое и военное превосходство, и все более затрагивает сферу ценностей”³.

Впрочем, в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2017 г., не говорится ничего существенного о том, что китайско-российское сотрудничество представляет собой угрозу для США. Кристофер Форд, высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США, пишет о растущем стратегическом вызове со стороны Китая и России, однако рассматривает их отдельно, безотносительно того измерения, которое возникает при их взаимодействии [Ford 2020]. Администрация Трампа пока предпочитает не рассматривать китайско-российское сотрудничество как серьезную угрозу, отдавая предпочтение политике, которую можно охарактеризовать как “двойное сдерживание”. То, что такой подход привел к еще более тесным отношениям между двумя странами, судя по всему, мало беспокоит американских политиков и, за редким исключением (см., например, [Allison 2018]), американских экспертов.

На такую позицию Вашингтона влияют два фактора. Во-первых, в Белом доме, попросту говоря, не испытывают уважения к российской мощи. С момента окончания холодной войны там полагают, что Россия находится в упадке, и на эту позицию никак не повлияло ни восстановление России после 2000 г. при В. Путине, ни ее значительно более решительные действия на международной арене с 2012 г. Вашингтон видит страну со стагнирующей экономикой, отстающую в технологическом отношении, и убедил себя в том, что Россия является не более чем краткосрочным препятствием, которое исчезнет само собой. По крайней мере, в значимых для США вопросах Вашингтон считает Москву скорее помехой, нежели серьезной угрозой. Что характерно, российский вопрос стал фактором внутренней политики США — политические оппоненты Дональда Трампа разыгрывают карту его якобы тесных связей с Россией, чтобы ослабить его политические позиции, а конгрессмены наперебой предлагают новые санкции против Москвы, стремясь продемонстрировать свою жесткость, мало задумываясь о том, как эти санкции могут сказаться на реальных действиях России на мировой арене. Намного меньше внимания уделяется вопросу о том, как иметь дело с российским внешнеполитическим вызовом американским интересам как таковым — в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Во-вторых, в Белом доме сомневаются в прочности российско-китайского стратегического партнерства, даже в условиях постоянного давления США на обе страны. Там мало верят в громкие слова об их единстве, звучащие на встречах В. Путина и Си Цзиньпина, и сомневаются в значимости России для Китая. Да, торговля между странами существенно выросла — с менее чем 65 млрд долл. в 2015 г. до более чем 110 млрд долл. в 2019 г.⁴, и Китай стал крупнейшим торго-

² Coats D.R. 2019. *Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, Statement before the Senate Select Committee on Intelligence*. URL: <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf> (accessed 13.10.2020).

³ Ibid.: 4.

⁴ *Value of Russian trade in goods (export, import and trade balance) with China from 2007 to 2019*. URL: <https://www.statista.com/statistics/1003171/russia-value-of-trade-in-goods-with-china/> (accessed 13.10.2020).

вым партнером России⁵. Тем не менее важнейшим торговым партнером России и главным источником прямых иностранных инвестиций по-прежнему остается Европа, несмотря на то, что их абсолютные показатели и относительная значимость снизились после 2012 г. вследствие падения цен на нефть и санкций в связи с кризисом в Украине⁶. Кроме того, в торговом отношении Россия не так важна для Китая. Она не входит в первую десятку его торговых партнеров, а объем торговли с США больше, чем в шесть раз превосходит объем торговли с Россией⁷. Вашингтон не видит особых возможностей для гармонизации деятельности Евразийского экономического союза и инициативы “Один пояс — один путь”, о которой заявляют Москва и Пекин, поскольку позиция российской стороны является по своему духу протекционистской, а китайская инициатива являет собой амбициозный экспансионистско-интеграционный проект.

Кроме того, в Вашингтоне видели, что Китай неохотно поддерживает действия России в Европе, где Россия представляет собой наибольшую проблему. Пекин отказался поддерживать Россию и признать независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 г., равно как присоединение Крыма к России в 2014 г. По мнению американских политиков, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой скорее дискуссионную площадку, нежели инструмент принятия совместных политических решений, поскольку Китай воспрепятствовал попытке Москвы превратить ШОС в организацию, подобную НАТО.

В Вашингтоне по-прежнему убеждены, что стратегическое сближение России и Китая имеет свои четкие пределы, связанные с историческим антагонизмом, проистекающим из эксплуатации Китая Россией в XIX и XX вв., ее нежелания играть роль младшего партнера в долгосрочной перспективе, расовых предрассудках в обеих странах, а также националистического фундамента их внешних политик. Пусть даже их раздражает “глобальное господство” США и они бы желали видеть мир многополярным, в Белом доме наблюдают существенное расхождение в том, как они видят желаемый мировой порядок. Россия, судя по всему, стремится демонтировать современный порядок и заменить его концертом великих держав, опирающимся на сферы влияния. В свою очередь, Китай, который извлек из современного основанного на правилах порядка огромную выгоду, скорее заинтересован сместить баланс сил в его рамках в свою пользу, играя более значимую роль в определении самих правил — так сказать, переписав их иероглифами.

В Белом доме уверены, что США несоизмеримо важнее для реализации интересов Китая в экономике и сфере безопасности, чем Россия. Поэтому Пекин не собирается жертвовать своими непростыми отношениями с США, чтобы защитить Россию от реакции Штатов на российскую политику, которую сам зачастую считает опрометчивой и излишне агрессивной, как в случае с Грузией или Украиной. И Вашингтон пока остается при этом мнении, даже несмотря на рост токсичности конкуренции между Китаем и США вследствие пандемии COVID-19.

⁵ Russia: Exports, Imports, and Trade. URL: <https://oec.world/en/profile/country/rus/> (accessed 13.10.2020). Также см. [Nabil 2020: 21-27].

⁶ См. обзор Европейской комиссии о торговле с Россией. URL: <https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/> (accessed 13.10.2020). О прямых иностранных инвестициях ЕС в Россию см. [Domínguez-Jiménez, Poitiers 2020: 3-5]

⁷ China: Exports, Imports, and Trade. URL: <https://oec.world/en/profile/country/chn> (accessed 13.10.2020).

По сути, в Вашингтоне попросту не верят, что Россия существенно усугубляет проблему, которая исходит из самого Китая. Следовательно, усилия по дистанцированию России от Китая не оправданы, так как не предоставят Штатам какие-либо новые рычаги влияния на Пекин. Поэтому Вашингтон не считает необходимым активизировать российско-американский участок треугольника Китай – Россия – США. По сути, он не видит острой необходимости восстанавливать нормальные, рабочие дипломатические отношения с Москвой. В своей политике по сдерживанию Китая Вашингтон в первую очередь обращается к своим долгосрочным партнерам в Восточной Азии – Японии, Южной Корее, Австралии, а также к Индии – это одна из причин, по которым он продвигает Индо-Тихоокеанскую стратегию. Он также опирается на своих европейских союзников и в последние годы усиливает на них давление, подталкивая их пересмотреть и ограничить свою зависимость от китайских технологий, прежде всего в ИКТ-сфере, примером чему служит кампания против *Huawei*. В том, что касается сдерживания Китая, Россия – в лучшем случае второстепенный игрок в глазах Вашингтона.

Все это не означает, что Китай и Россия не получают некоторую стратегическую выгоду от своего союза. Безусловно, такая выгода имеет место. Однако их партнерство не приносит фундаментальных изменений в стратегический ландшафт – по крайней мере, с точки зрения Вашингтона, а возможно, и Пекина – нет доказательств, что он попытается разыграть “российскую карту” против США. Только Москва может всерьез надеяться использовать свои упрочнившиеся отношения с Китаем в свою пользу – как бы то ни было, до сих пор без особого результата. В этом контексте, по крайней мере, на данный момент, трехсторонние отношения Китая, России и США не образуют стратегический треугольник.

Как показывает наш анализ, будущее формирования стратегического треугольника зависит прежде всего от России, гордящейся своей ролью великой державы – самоуправляющейся страны, которая отвергает вмешательство извне и проводит независимую внешнюю политику для достижения своих национальных интересов. Россия ценит свою стратегическую автономию, которую при любых обстоятельствах стремится сохранить, если не усилить. Вызов для нее в ближайшие годы будет неизбежно обостряться по мере обострения конкуренции между Китаем и США, восходящей и правящей сверхдержавами. Как Россия может противостоять давлению встать на чью-то сторону и пожертвовать своей стратегической автономией?⁸ Один из очевидных ответов – сформировать позицию, которая позволит балансировать между двумя гигантами и использовать этот баланс в собственных стратегических целях, таких как создание стратегического треугольника.

Перед Россией стоит задача схожая с той, что стояла перед Соединенными Штатами 50 лет назад. Ей необходимо побудить США и Китай к улучшению отношений с ней – подогревая в обеих странах опасения, что она может объединиться с одной из них против другой. Безусловно, поскольку отношения России с Китаем уже налажены, ее главный и наиболее срочный приоритет – вызвать у Пекина опасение, что она может сблизиться с США, и что этот сдвиг

⁸ О дискуссиях по этому вопросу см. Trenin D. 2020. How Russia Can Maintain Equilibrium in the Post-Pandemic Bipolar World. — *Carnegie Moscow Center*. URL: <https://carnegie.ru/commentary/81702> (accessed 13.10.2020); см. также: [Караганов 2020].

будет иметь серьезные негативные последствия для Китая. Другими словами, Москве необходимо убедить как Вашингтон, так и Пекин в том, что ее выбор может поколебать баланс между ними. На сегодняшний день ни в одной из столиц не считают, что это возможно.

Подобный сценарий вовсе не означает автоматического разрыва России с Китаем, что было бы контрпродуктивно. В ближайшие годы России необходимы хорошие рабочие отношения с растущим Китаем, исходя из соображений ее собственной безопасности. Однако Москве необходимо избегать чрезмерной зависимости, которая бы ограничила пространство для ее стратегических маневров. Для этого ей нужны возможности, которые станут рычагами воздействия в переговорах с Пекином, как по политическим, так и по торговым вопросам, для достижения наилучших соглашений с точки зрения российских национальных интересов.

Какие действия следует предпринять Москве, чтобы занять позицию стратегического балансира? Во-первых, и это самое главное, ей необходимо продемонстрировать способность в долгосрочной перспективе генерировать ресурсы, необходимые для поддержания положения великой державы. Это включает в себя разработку и реализацию комплекса политических мер, которые позволят стране выйти из экономической стагнации и успешно конкурировать в ускоряющейся гонке технологий. Для этого потребуются как экономические, так и политические реформы, которые должны раскрыть творческий потенциал российского народа. Другой важный аспект — нормализация отношений с Западом, который остается важнейшим источником инвестиций, технологий и управленческих навыков, в которых Россия нуждается для модернизации и оживления своей экономики. Один лишь Китай неспособен предоставить все эти ингредиенты, по крайней мере, в тех объемах, которые требуются России; кроме того, то, что может предложить Китай, во многих областях по-прежнему уступает тому, что предлагает Запад. Наконец, Китай по-настоящему не заинтересован в том, чтобы помогать России развиваться до уровня, при котором угроза прекращения партнерства поставила бы под угрозу стратегические интересы Китая.

В этих условиях нормализация отношений с США должна быть одним из главных пунктов российской повестки дня. Несмотря на текущие проблемы и политические трудности, США по-прежнему имеют больше технологий, управленческих навыков и финансовых ресурсов, в которых нуждается Россия, чем Китай или любая другая западная держава. Обновление отношений также сформирует американо-российский участок будущего стратегического треугольника. Безусловно, Россия неоднократно заявляла о заинтересованности в улучшении отношений, но до сих пор демонстрировала крайне слабую гибкость в решении вопросов, которые на сегодняшний день эти отношения осложняют, — в частности, касающихся обеспокоенности США вмешательством России в американскую внутреннюю политику и кризисом вокруг Украины. Однако Вашингтон не проявил особого желания восстановить нормальные рабочие отношения, даже когда вступил во взаимодействие с Москвой по вопросам стратегической стабильности в июле 2019 г. Конгресс США по-прежнему намерен наложить на Россию новые санкции из-за ее «враждебного» поведения.

В отсутствие реальных возможностей на американском направлении, по крайней мере в настоящее время, альтернативой могло бы стать укрепление

отношений с Европой, особенно с Германией и Францией, с целью создания полюса Европа — Россия в стратегическом треугольнике с Китаем и США. Такой ход может показаться сомнительным, учитывая сохраняющиеся связи Европы с США, гораздо меньший властный потенциал ведущих европейских государств по сравнению со Штатами, а также значительную разницу в стратегических амбициях и отношении европейских государств к России. Тем не менее эта задача может быть вполне посильной, особенно если разрушающая связи США с их европейскими союзниками политика Д. Трампа продолжится, а европейцы почувствуют необходимость сформировать независимую стратегическую идентичность. Если подобные отношения увенчаются успехом, это произведет дипломатическую революцию, которая захватит внимание как Вашингтона, так и Пекина. В задачи такого альянса могло бы войти достижение паритета сил как с Китаем, так и с США. Это заложило бы основу для подлинного стратегического треугольника — не того, к которому Россия стремится сегодня, но такого, который во многих отношениях стал бы куда более перспективным для продвижения стратегических интересов.

Стратегический треугольник Китай — Россия — США должен быть “делом рук” России. Ни у Вашингтона, ни у Пекина нет веских причин стремиться к нему. Обостряющаяся конкуренция между ними будет находить все новые проявления на глобальной арене, где Россия — это лишь одна из нескольких крупных держав. Задача как Вашингтона, так и Пекина состоит в том, чтобы наладить продуктивные партнерские отношения с как можно большим числом таких держав. Предметом конкуренции является формирование пула крупных партнеров, а не партнерство с каким-то одним конкретным партнером, и преимущество в этой гонке получит держава, более привлекательная в целом ряде аспектов — политических, экономических, технологических, культурных и идейных. Чтобы убедить Вашингтон и Пекин изменить свой образ мысли, России придется продемонстрировать свое уникальное значение, убедить, что ее сила — иного порядка, нежели сила Европы, Индии или Японии. Пока что сделать этого ей не удалось. Ключевой экзистенциальный вопрос для России 2020-х годов будет связан с ее попытками продемонстрировать, что она сохраняет свою значимость как геополитический игрок высшей лиги.

(Перевод А.Л. Бардина)

71

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.05

CHINA-RUSSIA-US RELATIONS AND STRATEGIC TRIANGLES

T. Graham¹

¹Kissinger Associates, Inc. New York, USA

GRAHAM, Thomas E., political scientist and former diplomat, a distinguished fellow at the Council on Foreign Relations, a research scholar at Yale University, a senior adviser to Kissinger Associates, Inc, email: tgraham@cfr.org

Graham T. China-Russia-US Relations and Strategic Triangles. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 62–72. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.05>

Received: 21.08.2020. Accepted: 22.09.2020

Abstract. China, Russia, and the United States are the three most active geopolitical actors today. One central question is whether the three powers can replicate the American-Chinese-Soviet strategic

triangle of the 1970s that refashioned the global geopolitical landscape. That earlier triangle emerged as a consequence of a U.S. policy decision to reestablish relations with China as part of a strategic design to enable the United States to exit the war in Vietnam “with honor,” restrain the Soviet Union’s burgeoning power, and stabilize East Asia. Through deft diplomacy, Washington advanced its goals, but the triangle endured for most of the 1970s because it also advanced Soviet and Chinese interests. Today, the return of great-power competition has sparked debate about the emergence of a new strategic triangle. One does not now exist, primarily because the United States is not interested in establishing a working link with Russia. Because Washington does not believe that Russia adds much to the challenge it faces from China alone, it is unwilling to do much to disrupt growing Russian-Chinese alignment. Whether a strategic triangle comes into being depends largely on Russia. It has to convince both Washington and Beijing that its policy choices can significantly shift the balance between the two now and in the future. Neither capital believes that now, largely because they doubt Moscow’s ability to revitalize the economy to generate the resources it needs to back up its great-power ambitions in the long run.

Keywords: United States, China, Russia, Kissinger, geopolitics, strategic triangle.

References

Allison G. 2018. China and Russia: A Strategic Alliance in the Making. — *The National Interest*. URL: <https://nationalinterest.org/feature/china-and-russia-strategic-alliance-making-38727> (accessed 13.10.2020).

Domínguez-Jiménez M., Poitiers N. 2020. *FDI another day: Russian reliance on European investment*. Policy Contribution 03/2020. Bruegel. URL: https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/02/PC-03_2020_-1.pdf (accessed 13.10.2020).

Ford C.A. 2020. Competitive Strategy vis-a-vis China and Russia: A View from the “T” Suite. — *Arms Control and International Security Papers*. Vol. 1. No. 6. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/T-paper-series-6-Strategic-competition-508.pdf> (accessed 13.10.2020).

Kissinger H. 1979. *White House Years*. Boston: Little, Brown and Company.

Nabil R. 2020. Evaluating Russia’s Pivot to Asia. — *Yale Journal of International Affairs*. Vol. 15. P. 16-43.

Karaganov S. 2020. The Future of the Big Triangle. — *Russia in Global Affairs*. (In Russ.) URL: <https://globalaffairs.ru/articles/budushhee-bolshogo-treugolnika/> (accessed 13.10.2020).

Литература на русском языке

Караганов С. 2020. Будущее большого треугольника. — *Россия в глобальной политике*. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/budushhee-bolshogo-treugolnika/> (accessed 13.10.2020).

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.06](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.06)

“САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ”: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ США ПРОТИВ КОМПАНИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

И.Н. Тимофеев

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России; программный директор, Российский совет по международным делам (РСМД), Москва, email: itimofeev@russiancouncil.ru

Тимофеев И.Н. “Санкции за нарушение санкций”: принудительные меры Министерства финансов США против компаний финансового сектора. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 73–90. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.06>

Автор выражает благодарность зам. директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Д.В. Кику за комментарии и замечания к рукописи статьи.

Статья поступила в редакцию: 17.04.2020. Принята к публикации: 18.06.2020

Аннотация. В России и за рубежом накоплен большой массив литературы, посвященной политике санкций США. Многие работы выполнены в логике “государство — государство”, т.е. рассматривают ограничительные меры как инструмент влияния страны-инициатора на политический курс страны-цели. Однако власти США ведут активную политику и в отношении бизнеса, целью которой является принуждение американских и зарубежных компаний к исполнению режимов санкций США, т.е. в политике санкций присутствует и связка “государство — бизнес”. Она исследована в гораздо меньшей степени, между тем бизнес может сыграть важную роль в эффективности санкций, способствуя или препятствуя изоляции стран-целей. Для самого бизнеса режимы санкций представляют серьезный политический риск: их нарушение может привести к материальным и репутационным потерям. Особенно уязвим финансовый сектор. В работе изучается практика использования штрафных мер Министерством финансов США против финансовых компаний. Выявлены следующие закономерности: (1) финансовый сектор наиболее уязвим в силу значительного числа и широкого охвата совершаемых транзакций; часто к нарушениям ведут недостатки систем внутреннего контроля соблюдения режимов санкций; (2) большинство компаний допускают нарушения непреднамеренно; (3) банки не спешат добровольно раскрывать нарушения, но сотрудничают с властями США, совершенствуя систему отслеживания возможных нарушений. Это говорит об эффективности американских властей в принуждении международного финансового сектора к соблюдению режимов ограничений, а значит и поддержке финансовой блокады стран, находящихся под санкциями США. Выводы проверяются на основе анализа 54 случаев штрафных мер против финансовых компаний в 2009–2020 гг. Они сравниваются с закономерностями аналогичных штрафов по выборке из 215 случаев по всем секторам экономики за тот же период.

Ключевые слова: санкции, политика санкций, США, Министерство финансов США, финансовый сектор, банки, политический риск, комплаенс.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Экономические санкции становятся все более востребованным инструментом внешней политики США. В XX и в начале XXI вв. США вводили их

чаще, чем все остальные государства и международные организации вместе взятые, включая ООН [Hufbauer et al. 2009: 89]. Зачастую они используются в обход Совета Безопасности ООН, т.е. представляют собой односторонние ограничительные меры. Американская Стратегия национальной безопасности 2017 г. рассматривает санкции в качестве элемента сдерживания и ограничения потенциала соперников на международной арене¹. В качестве внешнеполитического инструмента подобные ограничения используются давно [Джазаири 2015], однако в последние два десятилетия в американской политике санкций наметился ряд важных тенденций.

Во-первых, вместо привычных для XX в. всеобъемлющих эмбарго ограничительные меры США стали носить более точечный характер [Drezner 2015]. Их целью стали конкретные лица, организации или сектора экономики. Если раньше политику санкций можно было уподобить стрельбе по площадям, то сегодня ее можно сравнить со стрельбой по целям, что необязательно гарантирует меньший ущерб. Если точечные санкции вводятся против стратегически важных для страны компаний, последствия могут быть крайне тяжелыми [Gordon 2019], оказывая негативное влияние на граждан страны [Servettaz 2014]. Политика санкций превращается в “политику списков” неблагонадежных лиц и компаний. Ее можно рассматривать как часть более широкой тенденции формирования “черных списков” в интересах безопасности по самому широкому кругу вопросов [de Goede, Sullivan 2016].

Во-вторых, усиливается роль финансовых ограничений в сравнении с торговыми. Этому способствуют глобализация финансовых рынков, значимость американского доллара как универсального платежного средства и значимая роль американских банков в мировых расчетах. Американские власти получили широкие возможности отслеживать финансовые транзакции по всему миру. После терактов 11 сентября 2001 г. государственный контроль над банковской сферой существенно усилился в интересах борьбы с международным терроризмом [Zarate 2013], однако косвенным следствием стало расширение надзорных возможностей как внутри США, так и за их пределами. Кроме того, финансовые санкции сами по себе чреваты кризисом банковской системы страны-цели, т.е. могут нанести ей серьезный ущерб [Hatipoglu, Peksen 2018].

В-третьих, США все шире используют экстерриториальные ограничения, наказывая за нарушение своих режимов санкций как американских, так и зарубежных физических и юридических лиц. Подобная практика порождает неравенство суверенитета в пользу США. Компании из ЕС, России, КНР и других стран предпочитают следовать американским санкционным нормам, хотя на политическом уровне односторонние санкции Вашингтона осуждаются их правительствами. Национальные регуляторы далеко не всегда могут защитить бизнес от действий американских властей.

Подобные тенденции трансформировали политические риски для международного бизнеса. Любая компания может попасть под ограничительные меры США за преднамеренное или случайное нарушение американских режимов санкций. Среди подобных мер — денежные штрафы, которые привязываются к объемам запрещенных сделок. В отличие от более жестких блокирующих санкций, штрафы оставляют компаниям возможность продолжать

¹ *National Security Strategy of the United States of America*. 28.12.2017. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> (accessed 10.09.2020).

свою деятельность, однако они чреваты серьезным финансовым ущербом, связанным как с выплатами штрафов, так и с издержками в ходе расследования нарушений [Guerello et al. 2019].

Финансовый сектор находится в особенно сложном положении. Недавнее исследование штрафных мер Министерства финансов США показало, что на банки приходится значительная часть выплат [Timofeev 2019]. Компании финансового сектора лидируют и по частоте попадания под штрафы в сравнении с другими отраслями. Иными словами, банки наиболее уязвимы с точки зрения последствий нарушения режимов санкций США.

Сложившаяся ситуация порождает ряд исследовательских вопросов. Почему именно компании финансового сектора лидируют по объему выплат и числу нарушений? С чем связана природа политического риска для банков: это следствие особого подхода властей США или же результат структурных особенностей финансового сектора? В чем причина нарушений банками режимов санкций США — желание получить сверхприбыль или ошибки в управлении? Наконец, каковы стратегии банков во взаимодействии с властями США — идут ли они на сотрудничество и каковы их стратегии по минимизации риска? Эти вопросы связаны и с более фундаментальной исследовательской проблемой эффективности санкций? Приводят ли санкции к изменению поведения цели? Почему они срабатывают в одних случаях и дают сбой в других?

В качестве ответа на поставленные вопросы предлагаются следующие гипотезы. (1) Финансовый сектор наиболее уязвим в силу внутренних (структурных) особенностей ведения бизнеса. Власти США применяют к ним правила, единые для всех компаний, но характер работы банков (объем сделок, сложная структура) делает эти правила для них наименее выгодными в сравнении с другими секторами. (2) Исследование 2019 г. [Timofeev 2019] показало, что в основной массе компании допускают нарушения непреднамеренно. Вероятно, эта закономерность присуща и банкам. Однако объемы выплат заставляют предполагать, что в финансовом секторе число преднамеренных нарушений и “вопиющих” (в терминологии властей США) случаев может быть больше. (3) Банки сотрудничают с властями США, совершенствуя систему отслеживания возможных нарушений. Подобное поведение в целом присуще бизнесу, который попадает под штрафы. Это говорит об эффективности американских властей в принуждении международного финансового сектора к соблюдению режимов ограничений, а значит и поддержке финансовой блокады стран, находящихся под санкциями США.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Экономические санкции представляют собой набор торговых, финансовых, лицензионных и других ограничений, которые страна-инициатор или группа таких стран использует против государства-цели или же тех или иных организаций и физических лиц. Санкции направлены на изменение “поведения” страны-цели, смену ее внешне- или внутривнутриполитического курса. В литературе обычно рассматриваются три типа задач применения санкций: принудить к определенным действиям (*coercion*), ограничить потенциалы (*constraining*) и послать политический сигнал (*signaling*) [Giumelli 2016]. Санкции отличаются от торговых войн [Pare 1997: 94-98]. В первом случае речь о достижении политических результатов за счет использования экономических

ограничений, во втором — о создании благоприятных условий для национальных производителей за счет тарифов и пошлин. В американском праве и административной практике санкции четко отделены от политики пошлин и тарифов.

В США санкции вводятся исполнительными указами президента или законами, которые принимает конгресс, а затем подписывает президент. В этих документах санкции могут прописываться в виде общих режимов (например, ограничение определенной деятельности) или же в виде ограничений против конкретных лиц или организаций, действующих независимо или от лица страны-цели. Органы исполнительной власти получают полномочия расширять эти списки и применять ограничительные меры. Такие санкции можно условно назвать “первичными”: они осуществляются непосредственно против фигурантов списков или в рамках установленного законом или указом президента режима.

“Вторичные” санкции — это ограничения против тех, кто как-либо связан с подсанкционными лицами или организациями, кто действует от их лица или в их интересах. Их можно также рассматривать как “санкции за нарушение санкций”. В ряде источников понятие “вторичных” санкций отождествляется с применением ограничений против иностранцев, т.е. с экстерриториальными санкциями (см., например, [Geranmayeh, Rapnouil 2019]). Однако “санкции за нарушение санкций” используются американскими регуляторами и против собственных граждан и организаций. Более того, изначально именно они и были ключевым объектом правовых норм. В американском административном лексиконе также используется понятие принудительных мер (*enforcement actions*), которые применяются как против американцев, так и против иностранцев. Хотя общепринятое понимание термина “вторичных” санкций пока не устоялось, представляется целесообразным использовать его именно в таком ключе, не сводя только к экстерриториальным мерам.

За исполнение режима санкций в США отвечает сразу несколько ведомств. Государственный департамент курирует визовые запреты, а также ограничения на экспорт вооружений. Министерство торговли занимается вопросами ограничений на поставки американских товаров или зарубежных товаров с американскими компонентами. Министерство юстиции ведет уголовные дела, связанные, например, с преднамеренным сговором для нарушения режима санкций. Наконец, в компетенции Министерства финансов (Казначейства) — широкий круг вопросов, связанных с введением санкций и ограничениями деятельности уже находящихся под санкциями лиц и организаций. На Министерстве финансов лежит наиболее серьезная нагрузка по контролю за исполнением ограничительных мер.

Минфин США осуществляет принудительные меры тремя основными способами. Первый — блокирование компании-нарушителя и ее внесение в так называемый список *SDN* (*Specially Designated Nationals and Blocked Persons List*). Статус *SDN* означает запрет на практически все экономические трансакции с такими лицами. Если данная мера используется в виде “вторичных” санкций, то она означает уравнивание в статусе организации или лица, которые стали *SDN* в рамках первичных санкций, и тех организаций или лиц, которые были уличены в сотрудничестве с ними. В числе недавних примеров — блокирование двух дочерних предприятий российской компании

“Роснефть” за сделки с находящимися под санкциями США венесуэльскими компаниями (февраль — март 2020 г.)². Другой пример — блокирование китайской компании *COSCO Shipping Tanker* и ряда других транспортных фирм за перевозки иранской нефти (2019 г.)³. Блокирующие санкции — чрезвычайно жесткая мера, которая чревата полной остановкой деятельности компании. С большой вероятностью ей придется свернуть международные операции из-за страха банков и контрагентов также попасть под санкции США.

Другая мера — запрет на ведение корреспондентских и сквозных счетов в банках США, т.е. фактически — “отлучение” от американской финансовой системы и запрет на долларовые платежи. Данная мера применяется редко.

Наконец, третья мера — штрафные санкции. Штрафы причиняют ущерб компании или лицу, однако позволяет им вести экономическую деятельность. Они удобны как против мелких, так и против крупных компаний. Во втором случае они позволяют избегать шоков для рынков, которые неизбежно возникают в случае блокирования крупных фирм. Штрафы отличаются от блокирующих санкций также и тем, что используются против “системных” компаний, которые обычно соблюдают законы и играют по правилам, тогда как список *SDN* более удобен для блокирования маргинальных компаний, специально обходящих санкции. В настоящей статье исследуются именно штрафные меры как форма “санкций за нарушение санкций”.

В России исследование санкций США было подстегнуто украинским кризисом и обострением отношений с Западом после 2014 г. [Афонцев 2015; Бартенев 2018], хотя анализ американской политики односторонних ограничений велся и до того (см., например, [Шакиров 2011]). В отечественных работах изучались взаимосвязь санкций и мировой экономики [Симонов 2015], санкции как инструмент внешней политики [Балуев 2014], влияние санкций на российскую экономику [Гурвич, Прилепский 2016], взаимосвязь санкций и инвестиций в российские регионы [Кузнецова 2016], адаптация к санкциям российского банковского сектора [Панова 2016], санкции и структура мирового порядка [Likhacheva 2019], теоретические школы изучения политики санкций [Ваславский, Ананьев 2018; Ананьев 2019].

Большой объем исследований накоплен за рубежом. Во многих работах вопрос исследуется в связке “государство — государство”: оценивается, как именно санкции страны-инициатора или коалиции таких стран влияют на политический курс страны-цели. На основе количественных исследований выполнена классическая монография Герри Хафбауэра и его коллег [Hufbauer et al. 2009]. Большая работа проведена Нэвином Бапатом и его командой, создавшими базу данных *TIES* (*Threat and Imposition of Economic Sanctions*), ими подготовлен ряд статей о влиянии различных факторов на эффективность санкций [Morgan et al. 2014; Vapat et al. 2013]. Интересен анализ эффективности санкций СБ ООН [Targeted Sanctions... 2016], а также взаимосвязи санкций ООН и односторонних ограничительных мер [Brzoska 2015]. Значительную работу провел Дэниел Дрезнер, начиная с ранних исследований о “парадок-

² Venezuela-related Designation. — *U.S. Department of the Treasury*. 2020. URL: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200312> (accessed 10.09.2020); Venezuela-related Designations. — *U.S. Department of Treasury*. 2020. URL: (accessed 10.09.2020).

³ Iran-related Designations. — *U.S. Department of Treasury*. 2019. URL: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20190925> (accessed 10.09.2020).

се санкций” [Drezner 1999] и заканчивая недавними оценками современных тенденций [Drezner 2015]. Отдельный вопрос — изучение ущерба от ограничительных мер для страны-цели [Neuenkirch, Neumeier 2015]. Целый ряд исследований выполнен на примере изучения отдельных стран-целей [Nephew 2018; Maloney 2015; Graaf 2013].

Число работ, изучающих санкции в ракурсе “государство — бизнес”, в политической науке значительно меньше. Кроме того, применяя аналогию из системного анализа Дэвида Истона, политологи и международники предпочитают избегать изучения “черного ящика” и чаще фокусируются на анализе “входов” и “выходов”, т.е. набора мер стран-инициаторов и результатов их применения для экономики и политики стран-целей. На задний план уходит “политическая кухня” — функционирование государственных институтов, ответственных за санкции, а также их влияние на негосударственные цели. Между тем санкции против бизнеса имеют прямое отношение к странам-целям, ведь отказ бизнеса работать со странами, которые находятся под санкциями, может нанести им существенный ущерб, а значит привести к изменению их политики.

Частично данный пробел заполняется литературой из смежных областей — юриспруденции, менеджмента, экономики и политической экономии. Во многих из них отдельно выделяется влияние санкций на финансовый сектор. С.В. Гландин провел интересные исследования правовых аспектов политики санкций США [Гландин, Кадышева, Кешнер 2018; Гландин 2018a, 2018b]. Дэвид Рестрепо Амарилес и Маттео Винклер изучили правовые и административные вопросы применения санкций США против банков, а также их шаги по минимизации риска [Restrepo Amariles, Winkler 2018]. Штеффен Хундт и Андреас Хорш провели событийный анализ санкций против банков, нарушивших режимы ограничений против Ирана. Они выявили серьезный ущерб оштрафованным банкам, но слабое влияние на поведение других финансовых компаний [Hundt, Horsch 2018]. Однако статья Стефано Кьяцца и его коллег показала, что влияние на банки, избежавшие санкций, все же существует — они меняют свою работу так же, как и оштрафованные компании [Caiazza et al. 2018]. Сходные результаты показывали более ранние разработки Джанпаоло Габби и его коллег на основе опроса представителей 84 финансовых компаний: банки, которые ведут активную международную деятельность, в большей степени склонны внедрять механизмы управления рисками, опасаясь финансовых потерь, а также ущерба репутации [Gabbi, Tanzi, Nadotti 2011], причем наличие таких механизмов снижает риски для банков [Delis, Staikouras 2011]. Сюзан Уолкер описала влияние санкций на отношение к операциям в гуманитарной сфере — банки опасаются проводить их под угрозой штрафных мер [Walker 2017].

Большую ценность представляет изучение конкретных случаев “вторичных” санкций против банков. Отдельные статьи посвящены случаям банка *Standard Chartered* [Rosenzweig 2013; O’Brian 2014], *Halkbank* [Scott 2019], *HSBC* [Hardouin 2017], *JPMorgan Chase* [Lee, Doddy 2011]. Интерес также представляют обзоры серии кейсов или их обобщения, в том числе в контексте полномочий федеральных властей и властей штатов [Scott 2020; Kline 1999], а также оценки эффективности штрафных мер [Anglin 2016]. Внимание исследователей привлекла и проблема электронного скрининга сделок на предмет

соответствия санкционному законодательству [Evans 2010; Bamberger 2010] — ошибки таких программ нередко приводят к непреднамеренным нарушениям режимов санкций.

В работах юристов, экономистов и специалистов в области менеджмента обычно делается акцент на отдельных случаях или шаблонах правоприменительной практики. За некоторыми исключениями явно недостает холистских исследований, в которых случаи объединялись бы в единые базы данных. Этот пробел вновь возвращает к методологии политической науки. В подобном ключе выполнена работа Брайана Эли и Кита Прибла, которые исследовали случаи применения штрафов Министерства финансов США против международного бизнеса [Early, Preble 2018]. В России аналогичное исследование проведено в 2019 г., хотя и с другими подходами к созданию базы данных и ее анализу [Timofeev 2019]. Однако в этих работах компании финансового сектора не выделяются в отдельную категорию, в то время как именно они подвергаются наибольшей нагрузке с точки зрения штрафов, а значит и связанный с санкциями политический риск для них наиболее выражен. Цель статьи — восполнить данный пробел в литературе.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение санкций Минфином США и его Офисом по контролю зарубежных активов (*Office of Foreign Assets Control — OFAC*) подробно регулируется инструкцией от 2009 г.⁴ В ней устанавливается несколько важных параметров. Во-первых, сумма штрафа зависит от объема сделок. Во-вторых, на нее влияет ряд отягчающих и смягчающих обстоятельств, ключевые из них: (1) добровольное или недобровольное раскрытие нарушения и (2) классификация нарушения как “вопиющего” (*egregious*) или “невопиющего” (*non-egregious*). Последнее определяется набором критериев, среди которых — преднамеренность или халатность в нарушении санкций; наличие информации о нарушениях и ущерб программе санкций США. Дополнительные обстоятельства: уровень сотрудничества с властями США, размер компании и специфика ее организации, объем транзакций, история нарушений в прошлом, наличие службы комплаенс (контроля за исполнением законодательства), меры, принятые для исправления ситуации, и др. Структура штрафа устроена так, чтобы компания отвечала пропорционально финансовому объему запрещенных операций. Компаниям выгодно сотрудничать с властями, предпринимать меры по исправлению нарушений, добровольно раскрывать нарушения и не нарушать режимы санкций в будущем. В этом случае они могут рассчитывать на существенную скидку от основной суммы штрафа (*base penalty*) и избежать максимально возможной суммы штрафа (*statutory maximum*). Одновременно с Министерством финансов расследование могут вести и другие ведомства, например, Министерство торговли или Министерство юстиции. Они могут выписывать собственные штрафы.

Результатом расследования становится заключение соглашения между Минфином и компанией-нарушителем (в редких случаях нарушителями были и физические лица), в котором прописываются суммы штрафов (максимально

⁴ Economic Sanctions Enforcement Guidelines. — *Electronic Code of Federal Regulations*. Part 501. Appendix A. 2009. URL: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ccac94aaa0387efe2a9c3fca2dc5a4ab&mc=true&node=ap31.3.501_1901.a&rgn=div9 (accessed 10.09.2020).

возможная, основная, итоговая), суть дела,отягчающие и смягчающие обстоятельства, а также принятые компанией меры по исправлению ситуации. Соглашения готовятся по инструкции 2009 г. и имеют сходную структуру. Одинаковая организация и более или менее стандартизированные исходы позволяют закодировать информацию в числовом виде и создать единую и сравнимую базу данных, единицей которой выступает отдельное соглашение. Например, факт добровольного раскрытия нарушения компанией можно закодировать в виде “1”, а его отсутствие — в виде “0”. Подобная операция дает возможность выйти на более высокий уровень получаемых сведений: из разрозненных документов они превращаются в единую базу. Само министерство делает обобщения по закрытым и текущим делам и дает на этой основе практические рекомендации о том, как избежать штрафов⁵.

Недостатком является то, что регулятор далеко не всегда отражает в соглашении полный набор обстоятельств, иногда не классифицируются. Однако даже в этом случае можно получить весьма внушительный объем фактических данных, а отсутствие классификации рассматривать как информацию.

Составленная автором “Количественная база данных принудительных мер Управления по контролю иностранных активов Министерства финансов США” (*U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control Enforcement Actions Database*) включает 72 переменные. Их можно разделить на несколько групп: (1) сведения о компании (название, страна, отрасль); (2) информация о штрафе (максимальный, основной, итоговый); (3) данные об отягчающих и смягчающих обстоятельствах; (4) информация о принятых мерах по исправлению ситуации; (5) сведения о регуляторах, принимавших участие в расследовании. Собраны данные по 215 случаям за более чем десять лет (2009-2020).

Из полученного массива выделяются компании финансового сектора, представленные банками. Лишь в редких случаях речь идет о платежных системах (*PayPal*), о брокерских сервисах (*Zulutrade*), о компаниях по обработке операций по кредитным картам (*First Data*) или кредитном союзе (*UN Federal Credit Union*). К числу финансовых компаний не относятся, например, страховые фирмы — они образуют свой кластер и должны быть предметом отдельного исследования. Далее проводится статистический анализ данных по финансовым компаниям, который сравнивается с данными по всей совокупности наблюдаемых случаев.

АНАЛИЗ

Финансовый сектор явно выделяется среди остальных отраслей по числу полученных штрафов. На него приходится 54 случая из 215 за десять лет. За финансовым сектором по числу штрафов с большим отрывом следуют компании нефтяного сервиса (17 случаев) и производственные предприятия (17). Далее — поставщики медицинского оборудования (14), страховщики (14), компании в области логистики и перевозок (12), туристические, торговые, телекоммуникационные (по 10 на каждую) компании. Остальные отрасли представлены единичными случаями (см. рис. 1).

⁵ New OFAC Guidance On Compliance Programs — *Balart Memorandum*. 2019. URL: <https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2019/new-ofac-guidance-on-compliance-programs.pdf> (accessed 10.09.2020).

Однако гораздо более важная особенность — доля выплат финансового сектора. Всего с 2009 по 2020 г. по 215 делам было выплачено 5,656 млрд долл. США. Из них на финансовые компании пришлось 5,271 млрд, а на остальные сектора — лишь 385,2 млн. Иными словами, компании финансового сектора выплатили 93,2% штрафов, хотя их численность составляет 25,2% от общей совокупности дел. Тогда как 74,8% остальных фирм заплатили лишь 6,8%. Налицо явная асимметрия не в пользу банков.

Рисунок 1 (Figure 1)

Число штрафов OFAC (2009-2020): распределение по отраслям⁶
Number of OFAC Financial Penalties: Distribution by Industry (2009-2020)



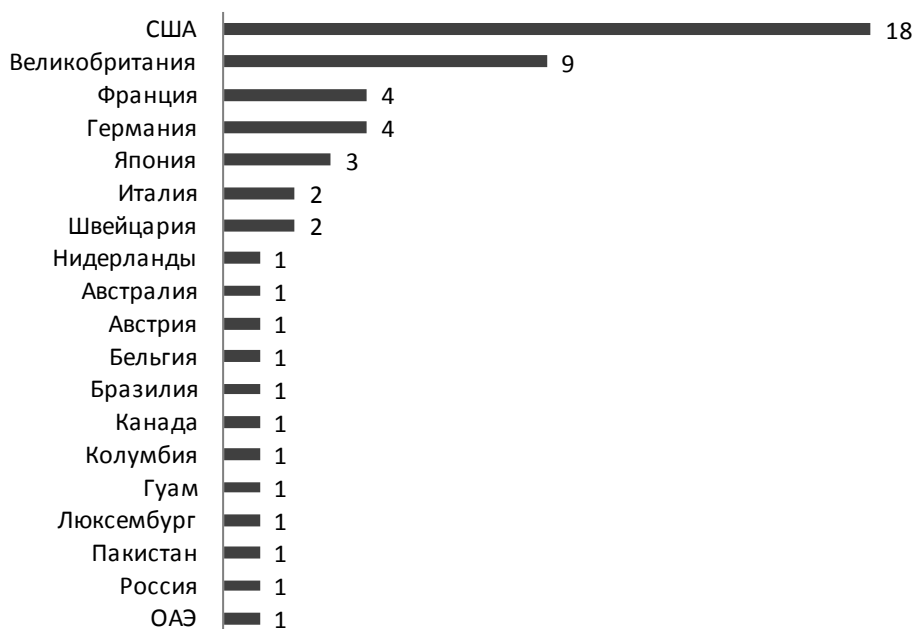
Из 54 штрафов против финансового сектора лишь 18 приходится на США (см. рис. 2), хотя в выборке для всех секторов американцы составляют большинство — 142 компании из 215. В числе оштрафованных финансовых ком-

⁶ В рис. 1 и 2 — данные автора.

паний 23 приходится на страны ЕС (включая Великобританию). Интересно, что в банковской группе тоже есть своя асимметрия. 23 банка из стран ЕС (включая на тот момент Великобританию) заплатили 4,587 млрд долл. из 5,271 (87%), тогда как все остальные — лишь 683 млн (13%). Подобный “европейский парадокс” рассмотрен в недавней работе [Тимофеев 2020] и объясняется в том числе запоздалой реакцией компаний из ЕС на законодательные требования США.

Рисунок 2 (Figure 2)

Страновая принадлежность оштрафованных финансовых компаний (2009-2020)
Number of OFAC Financial Penalties: Distribution by Country (2009-2020)



Если ранжировать компании по сумме штрафов, то на “верхние” 50% компаний приходится более 99% всех выплат. На первый квартиль (25% “лидеров”) приходится 91,4% выплат, а на первый дециль (пятерка “лидеров”) — 62,8%, т.е. значительно больше половины всех платежей по штрафам выплатили лишь пять финансовых компаний, тогда как 11 — 91,4%. Все эти компании — европейские. В целом мы имеем дело с тремя асимметриями: (1) отраслевой — большая часть выплат ложится на финансовый сектор; (2) региональной — большая часть выплат приходится на европейские банки; (3) внутриотраслевой — всего лишь четверть банков “закрывают” почти все платежи.

Одна из причин высокой уязвимости банков связана с большим числом транзакций, которые они осуществляют в своей повседневной деятельности. Об этом можно судить по числу сделок-нарушений в рамках одного расследования: у 16 компаний финансового сектора их число превышает 1 000, самый высокий показатель — 20 542 (дело *ING Bank* 2012 г.). У десяти финансовых компаний

число нарушений колеблется между 100 и 1 000. Еще у 11 — между 10 и 100. Лишь у 17 компаний менее десяти нарушений. Единственный сопоставимый по числу нарушений сектор — туристический. Например, американско-нидерландская *CWT B.V.* допустила 44 430 нарушений (дело 2014 г.). Это объясняется тем, что в качестве сделок считается, например, каждая проданная путевка, а их число может быть большим. Однако в отличие от банков сам объем сделок здесь значительно меньший, а значит меньше и сумма штрафов. В остальных секторах число случаев с сопоставимым числом нарушений меньше. Если исключить из выборки финансовый и туристический сектора, получится, что лишь у шести компаний число нарушений превышает 1 000. У 12 их число колеблется между 100 и 1 000. У 29 компаний — между 10 и 100. У 60 — до десяти нарушений. В 45 случаях из 215 число нарушений не указывается.

Еще одна особенность финансового сектора — одновременное нарушение сразу нескольких режимов санкций (24 дела из 54), причем в некоторых случаях число таких режимов велико в сравнении с другими секторами. Например, *UniCreditBank* в 2019 г. признал нарушение в течение нескольких лет сразу восьми режимов санкций США. *Credit Suisse AG* и *JPMorgan Chase* нарушили по шесть режимов (2009 и 2011 гг. соответственно). Иными словами, банкам и другим финансовым компаниям свойственно допускать большое число нарушений сразу по нескольким программам, что с учетом объемов сделок порождает и более высокие суммы штрафов.

Нарушения 18 из 54 финансовых компаний классифицированы властями США как “вопиющие” (33%), 28 — как “невопиющие” (52%). По остальным случаям (15%) классификация не дана (как правило, это означает, что нарушения не являются “вопиющими”). Однако лишь в двух из 18 “вопиющих” случаев в документах расследования фиксируется преднамеренный характер нарушений (*Willful Violation*). Этим банки отличаются от остальных секторов, где насчитывается 30 преднамеренных нарушений. Почти во всех остальных “вопиющих” случаях речь идет о нарушении по халатности (*Reckless Violation*). Сюда, как правило, относится игнорирование законодательства США, что также считается достаточно серьезным проступком и вполне может классифицироваться как “вопиющее” нарушение. Низкое число преднамеренных действий все же показывает, что банки зачастую не преследуют корыстные цели при нарушениях, тогда как в остальных секторах такое поведение более распространено, хотя тоже не доминирует. Впрочем, у таких нарушений могут быть отягчающие обстоятельства, которые и выводят их в число “вопиющих”.

У 21 финансовой компании (39%) из 54 не было адекватной службы комплаенс на момент нарушений, либо она допускала серьезные просчеты. По крайней мере, именно в этих случаях власти США учитывали состояние комплаенс как отягчающее обстоятельство. Лишь в трех случаях комплаенс был достаточным (5%) и к нарушениям привели не зависящие от данной службы факторы или же сбой были единичными. В отношении остальных компаний подобные оценки даны не были (56%). Последующее создание или улучшение службы комплаенс в ряде случаев — одно из условий заключения соглашения с властями США о закрытии дела. Здесь есть ряд стандартных операций, которые использует как финансовый сектор, так и другие компании. Наиболее распространены тренинги для сотрудников, закупка нового программного обеспечения для мониторинга нарушений санкций, подготовка пособий для

сотрудников, аудит сделок, наем новых сотрудников, увольнение ответственных за нарушения и др. 30 из 54 финансовых компаний предприняли хотя бы одну из таких мер. На деле их может быть больше, так как фиксация таких мер в документах расследования ведется сравнительно недавно.

Интересную информацию дает статистика добровольных раскрытий нарушений властям США. Лишь 21 компания (39%) из 54 раскрыла свои нарушения добровольно. Остальные 33 (61%) были “пойманы”, что привело к увеличению штрафов. Но в дальнейшем почти все компании сотрудничали с властями. 50 из 54 компаний продемонстрировали как минимум одну форму такого сотрудничества (своевременное предоставление всех запрашиваемых материалов, раскрытие всей необходимой информации, подписание толлинового соглашения и т.д.). Лишь в нескольких случаях отмечается неаккуратность или задержки во взаимодействии с властями, но и там есть элементы сотрудничества по другим направлениям. В четырех оставшихся случаях, по которым в документах информация о сотрудничестве отсутствует, оно, скорее всего, имело место. По крайней мере, в них ничего не говорится и о его отсутствии. Интересно, что среди банков почти нет “рецидивистов”. За исключением одного банка никто не допускал нарушений за пять лет до начала расследования.

Для иллюстрации приведенных данных рассмотрим несколько типичных случаев. Один из недавних прецедентов — дело *UniCredit*, которое было завершено в апреле 2019 г.⁷ Под штрафы попало сразу три отделения банка — в Мюнхене, Вене и Милане. Наиболее сильный удар пришелся по мюнхенскому *Unicredit Bank AG*, который в итоге согласился заплатить штраф в размере 553,38 млн долл. За последние десять лет он занимает четвертое место по сумме штрафа и входит в упомянутую выше пятерку банков, на которые приходится львиная доля всех выплат. По мнению властей США, банк допустил 2158 нарушений по восьми режимам санкций (против Ирана, Кубы, Сирии, Судана, Бирмы, Ливии, а также по режимам нераспространения и терроризму). Основные претензии связаны с Ираном. Одновременно с Министерством финансов в расследовании были задействованы и другие регуляторы — Министерство юстиции, Совет управляющих федеральной резервной системы, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и Нью-Йоркский офис окружного прокурора. Подобная пестрота — скорее исключение, чем правило (181 дело из 215 велось исключительно Минфином), однако в расследованиях крупных дел она встречается часто. Претензии связаны со сделками банка, которые осуществлялись с 2007 по 2011 гг. Подобные сроки давности тоже типичны, особенно для дел с большим числом нарушений крупными компаниями. В целом средний период с момента первого нарушения и до соглашения о прекращении дела, по нашим оценкам, составляет более шести лет, в данном случае он существенно выбился в сторону повышения. Согласно оценке властей США, *UniCredit AG* в ряде операций преднамеренно нарушал режим санкций США. Это следует из внутренних инструкций банка, направленных на сокрытие информации о подсанкционных сделках от американских посредников. В других же случаях банк попросту не контролировал

⁷ Enforcement Information for April 15, 2019. — U.S. Department of Treasury. 2019. URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20190415_uni_webpost.pdf (accessed 10.09.2020).

сделки, которые потенциально могли быть предметом американских санкций. Подобная ситуация не была единичной и повторялась в течение многих лет, что в глазах Минфина является отягчающим обстоятельством. К числу отягчающих обстоятельств относится и то, что нарушения банка принесли выгоду подсанкционным организациям и лицам, а также то, что банк является крупной и разветвленной структурой, вполне способной позволить себе адекватные механизмы контроля. Хотя *UniCredit AG* не раскрыл добровольно свои нарушения (они были обнаружены властями США), в дальнейшем банк активно сотрудничал с американцами и предпринял ряд мер по улучшению системы контроля сделок. Случай *UniCredit AG* – пример “идеального шторма”, в который может попасть компания, нарушившая режим санкций США. Тем не менее банку удалось минимизировать последствия. Если бы он не помогал расследованию, ему грозил штраф в 1,366 млрд долл. Скидки за сотрудничество и другие смягчающие обстоятельства – распространенная практика американского Минфина. Тем самым он стимулирует компании активнее раскрывать нарушения и не допускать их в будущем.

Есть и ряд других примеров “идеального шторма”. Среди них – хрестоматийный пример французского банка *BNP Paribas*⁸, его рекорд по сумме штрафа до сих пор не побит. Только Минфину США банк заплатил 963,619 млн долл., а общие выплаты достигли 9 млрд. Речь шла о 3 897 нарушениях по четырем режимам санкций (Иран, Судан, Куба, Бирма). Против банка сыграло сразу несколько обстоятельств: о проблемах с контролем сделок знал менеджмент, причем американцы усмотрели попытки скрыть их, нарушения были регулярными и приносили выгоду лицам и организациям из “черных списков” США, банк не раскрыл их добровольно. В целом такой набор типичен для случаев “идеального шторма”. К их числу можно отнести расследования против *Standard Chartered Bank*, *ING Bank*, *Credit Suisse AG*, *HSBC*, *Credit Agricole Corporate* и др.

Интерес представляет и другой тип случаев, когда банки допускали незначительные нарушения и за счет своевременного информирования властей США и эффективной службы комплаенс существенно минимизировали ущерб. В числе недавних примеров – расследование против американского банка *Western Union*, которое завершилось в июне 2019 г.⁹ Банк провел 4 977 транзакций с компанией из списка *SDN*. Сделки с ней велись не напрямую, а от лица другого банка-агента в Гамбии. В итоге сам *Western Union* вовремя не заметил нарушений, хотя должен был их контролировать. Когда они все же были выявлены, банк добровольно заявил о них в Минфин США и оказал полное содействие в расследовании. Интересно, что службу комплаенс банка власти США оценили как эффективную, а ее сбой посчитали единичным случаем. В итоге был назначен штраф 401,6 тыс. долл., хотя его максимальный размер мог составить более 1,2 млрд.

Американские принудительные меры применялись и к российскому банку. В 2014 г. штраф согласился выплатить “Банк Москвы” за 69 нарушений ре-

⁸ Enforcement Information for June 30, 2014. — U.S. Department of Treasury. 2014. URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20140630_bnp.pdf (accessed 10.09.2020).

⁹ Enforcement Information for June 7, 2019. — U.S. Department of Treasury. 2019. https://home.treasury.gov/system/files/126/20190607_western_union.pdf (accessed 10.09.2020).

жима санкций США по программе нераспространения¹⁰. Еще в 2008-2009 г. российский банк провел серию операций с иранским *Bank Iran Melli*, который фигурировал в списке *SDN* с 2007 г. Операции проводились при посредничестве американских банков, что давало властям США повод предъявить претензии россиянам. Сам банк добровольно не заявил о нарушениях, однако это было связано с отсутствием информации о совершенных нарушениях, а не со злым умыслом. По крайней мере, нарушения были классифицированы как “невопиущие”. Главные претензии в адрес банка были стандартными: отсутствие должного контроля сделок, халатность и выгода, которую получила организация из списка *SDN*. Впрочем, банк активно сотрудничал в расследовании и предпринял целый ряд мер по исправлению ситуации. В итоге сумма штрафа составила 9,49 млн долл., хотя ее базовый размер (без скидок) равнялся 14 млн., а максимальный размер мог значительно превышать и базовую, и итоговую выплату.

Крупные российские банки стараются соблюдать режимы санкций США. То же касается и китайских банков. Складывается парадоксальная ситуация: Россия и КНР рассматриваются американцами как стратегические угрозы, но их бизнес, особенно ориентированный на международную деятельность, аккуратно соблюдает американские законы. Российские и китайские банки оказывались в списке *SDN*, но речь шла об относительно мелких банках, которые целенаправленно работали на санкционных направлениях. Крупные банки уклоняются от таких рисков. В перспективе ближайших десяти лет число и объемы штрафов против европейских банков также могут существенно сократиться. Громкие расследования и большие штрафы, по всей видимости, заставляют адаптироваться к риску санкций как тех, кто уже попадал под расследования американцев, так и тех, кто пока избежал этой участи. Это говорит о том, что в данном сегменте санкции США эффективны: они заставляют компании менять свое поведение, уклоняясь от взаимодействия с подсанкционными лицами и компаниями. А значит — способствуют их дальнейшей изоляции.

Выводы

Финансовый сектор наиболее уязвим к рискам, связанным с режимами санкций США. Для крупных банков, ведущих активную международную деятельность, это обычно непреднамеренные нарушения американских санкций против третьих стран. Подобные нарушения могут привести к штрафам и как следствие — к серьезным финансовым потерям. Финансовые компании лидируют как по числу нарушений, так и по доле выплат. Объяснить такое “лидерство” можно спецификой деятельности банков — большим числом проводимых операций и сложностью их контроля. Вместе с тем анализ показал, что во многих случаях службы комплаенс банков, ответственные за соблюдение законодательства, оказались не готовы к работе с американскими требованиями: они часто не замечали нарушений, в иных ситуациях менеджмент предпочитал скрывать их. Чаще в нарушениях банков нет злого умысла и наблюдаются недостатки контроля. Наиболее распространенная стратегия поведения фи-

¹⁰ U.S. Department of Treasury. 2014. Enforcement Information for January 27, 2014. https://home.treasury.gov/system/files/126/20140127_moscow.pdf (accessed 10.09.2020).

нансовых компаний — сотрудничество с властями США, а в числе ключевых мер — совершенствование инструментов контроля. Наши данные не дают представления о том, какой эффект штрафы оказали на другие банки. По всей видимости, они вынуждают их быть более осторожными. Банки учатся на ошибках тех, против кого ранее велись расследования, однако меру такого эффекта еще предстоит выявить. Пока же очевидно, что финансовые компании не стремятся повторно нарушать режимы санкций США, что характерно и для компаний из иных секторов.

Данные говорят о высокой эффективности штрафных мер США. Они заставляют компании менять свое поведение, дистанцироваться от тех, кто находится под санкциями, и способствовать их изоляции. Банки здесь играют ключевую роль, так как отсутствие доступа к финансовым услугам может причинять ущерб любому сектору экономики страны-цели, т.е. носить универсальный характер. Отношения в связке “государство — бизнес” коренным образом отличаются от отношений “государство — государство”. Бизнес более лоялен к требованиям США, причем речь идет как о компаниях из стран-союзников США, так и о тех, кого США считают конкурентами или противниками. Среди них — Китай и Россия. Даже в ситуации, когда отношения на политическом уровне могут быть напряженными, бизнес старается следовать американским законам.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.06](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.06)

“SANCTIONS FOR SANCTIONS VIOLATION”: U.S. DEPARTMENT OF TREASURY ENFORCEMENT ACTIONS AGAINST FINANCIAL SECTOR

87

I.N. Timofeev¹

¹*Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia*

TIMOFEEV, Ivan Nikolayevich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor of the Department of Political Theory, MGIMO-University; Program Director, Russian International Affairs Council (RIAC), email: itimofeev@russiancouncil.ru

Timofeev I.N. “Sanctions for Sanctions Violation”: U.S. Department of Treasury Enforcement Actions against Financial Sector. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 73-90. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.06>

The author is sincerely grateful to Dmitry V. Kiku — Deputy Director of the Department for External Restrictions Control of the Russian Ministry of Finance — for his comments on the draft of the article.

Received: 17.04.2020. Accepted: 18.06.2020

Abstract. Both Russian and foreign researchers have done much to study U.S. sanctions policy. Many focus on “initiator-target” relations, i.e. on state vs. state dyads. However, the U.S. government runs a proactive policy to enforce compliance from both business at home and abroad with the U.S. sanctions regimes. Literature often omits this state vs. business relationship, although business behavior may be crucial to promote or block the isolation of target-states. For business itself, sanctions pose a considerable political risk, fraught with material and reputational losses; the financial sector is under special risk. The article studies the U.S. Department of Treasury’s enforcement actions against financial companies. It raises the following questions: Why is the financial sector the most vulnerable to enforcement? What is the nature of risk for these companies — is it a result of the “special approach” of the government, or a consequence of structural features of the financial sector itself? Why do financial companies violate sanctions regimes? What are the strategies these companies have to deal with the U.S. government and to manage the risk? The research tests three hypotheses. (1) The financial sector suffers due to structural reasons; (2) Companies violate sanctions regimes due to reckless, rather than willful behavior; (3) They prefer to cooperate with the government and improve compliance rather than further conceal violations and repeat them. This rather

shows how efficient the U.S. enforcement actions are at changing the behavior of business in financial sector. Testing these assumptions implies analysing 54 cases of enforcement actions against financial companies in 2009-2020, in comparison with a wider sample of 215 cases of other sectors of economy.

Keywords: sanctions, financial sector, banks, U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, enforcement, political risk.

References

- Ananyev B. 2019. Sanctions in IR: Understanding, Defining, Studying. — *International Organisations Research Journal*. Vol. 14. No. 3. P. 136-150. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-03-07>
- Anglin V. 2016. Why Smart Sanctions Need a Smarter Enforcement Mechanism: Evaluating Recent Settlements Imposed on Sanction-Skirting Banks. — *Georgetown Law Journal*. Vol. 104. No. 3. P. 693-724.
- Bamberger K. 2010. Technologies and Compliance: Risk and Regulation in a Digital Age. — *Texas Law Review*. Vol. 88. No. 4. P. 669-739.
- Bapat N.A., Heinrich T., Kobayashi Y., Morgan T. 2013. Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data. — *International Interactions*. Vol. 39. No. 1. P. 79-98. <https://doi.org/10.1080/03050629.2013.751298>
- Brzoska M. 2015. International Sanctions Before and Beyond UN Sanctions. — *International Affairs*. Vol. 91. No. 6. P. 1339-1349. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12449>
- Caiazza S., Cotugno M., Fiordelisi F., Stefanelli V. 2018. The Spillover Effect of Enforcement Actions on Bank Risk-Taking. — *Journal of Banking and Finance*. Vol. 91. P. 146-159. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.04.008>
- Delis M., Staikouras P. 2011. Supervisory Effectiveness and Bank Risk. — *Review of Finance*. Vol. 15. No. 3. P. 511-543. <https://doi.org/10.1093/rof/rfq035>
- Drezner D. 1999. *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511549366>
- Drezner D. 2015. Targeted Sanctions in a World of Global Finance. — *International Interactions*. Vol. 41. No. 4. P. 755-764. <https://doi.org/10.1080/03050629.2015.1041297>
- Early B., Preble K. 2018. Enforcing Economic Sanctions: Analyzing How OFAC Punishes Violators of U.S. Sanctions. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3306653>
- Evans J. 2010. Sanctions Screening: The Quest for Efficiency and Effectiveness. — *Journal of Operational Risk*. Vol. 5. No. 3. P. 29-36. <https://doi.org/10.21314/JOP.2010.080>
- Gabbi G., Tanzi P.M., Nadotti L. 2011. Firms Size and Compliance Costs Asymmetries in the Investment Services. — *Journal of Financial Regulation and Compliance*. Vol. 19. No. 1. P. 58-74. <https://doi.org/10.1108/13581981111106176>
- Geranmayeh E., Rapnouil M.L. 2019. Meeting the Challenge of Secondary Sanctions. — *European Council on Foreign Relations Policy Brief*. No. 289. URL: https://www.ecfr.eu/publications/summary/meeting_the_challenge_of_secondary_sanctions (accessed 20.09.2020).
- Giumelli F. 2016. The Purposes of Targeted Sanctions. — *Targeted Sanctions. The Impacts and Effectiveness of United Nations Action*. Ed. by T. Beirsteker, S. Eckert, M. Tourihno. New York: Cambridge University Press. P. 38-59. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316460290.003>
- Goede M. de, Sullivan G. 2016. The Politics of Security Risks. — *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 34. No. 1. P. 67-88. <https://doi.org/10.1177/0263775815599309>
- Gordon J. 2019. The Not So Targeted Instrument of Asset Freezes. — *Ethics and International Affairs*. Vol. 33. No. 3. P. 303-314. <https://doi.org/10.1017/S0892679419000315>
- Graaf T. van de. 2013. The "Oil Weapon" Reversed? Sanctions Against Iran and U.S.-EU Structural Power. — *Middle East Policy*. Vol. 20. No. 3. P. 145-163. <https://doi.org/10.1111/mepo.12040>
- Guerello C., Murè P., Roivo N., Spallone M. 2019. On the Informative Content of Sanctions. — *The North American Journal of Economics and Finance*. Vol. 48. P. 591-612. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.07.013>
- Hardouin P. 2017. Too Big to Fail, Too Big to Jail: Restoring Liability a Lesson from HSBC Case. — *Journal of Financial Crime*. Vol. 24. No. 4. P. 513-519. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2016-0061>
- Hatipoglu E., Peksen D. 2018. Economic Sanctions and Banking Crises in Target Economies. — *Defense and Peace Economics*. Vol. 29. No. 2. P. 171-189. <https://doi.org/10.1080/10242694.2016.1245811>
- Hufbauer G., Shott J., Elliott K., Oegg B. 2009. *Economic Sanctions Reconsidered*. Third Edition. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
- Hundt S., Horsch A. 2018. The Effects of Sanctions on the Lending Policy and the Value on International Banks: The Case of Iran. — *Review of Middle East Economics and Finance*. Vol. 14. No. 3. P. 1-13. <https://doi.org/10.1515/rmef-2018-0010>

- Kline J. 1999. Continuing Controversies Over State and Local Foreign Policy Sanctions in the United States. — *The Journal of Federalism*. Vol. 29. No. 2. P. 111-134.
- Lee J., Duddy J. 2011. Office of Foreign Assets Control Compliance: Recent Developments. — *Banking Law Journal*. Vol. 128. No. 10. P. 954-959.
- Likhacheva A. 2019. Unilateral Sanctions in a Multipolar World. Challenges and Opportunities for Russia's Strategy. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 17. No. 3. P. 109-131. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-3-109-131>
- Maloney S. 2015. Sanctions and the Iranian Nuclear Deal: Silver Bullet or Blunt Object? — *Social Research*. Vol. 82. No. 4. P. 887-911.
- Morgan T., Bapat N., Kobayashi Y. 2014. Threat of Imposition of Sanctions: Updating the TIES Dataset. — *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 31. No. 5. P. 541-558.
- Nephew R. 2018. *The Art of Sanctions. A View from the Field*. New York: Columbia University Press.
- Neuenkirch M., Neumeier F. 2015. The Impact of UN and US Economic Sanctions on GDP Growth. — *European Journal of Political Economy*. Vol. 40. Part A. P. 110-125. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.09.001>
- O'Brien J. 2014. Disputatious Allies or Political Rivals? Intergovernmental Relations in Financial Regulation in the Aftermath of the Standard Chartered Settlement. — *Law and Financial Markets Review*. Vol. 8. No. 1. P. 13-19. <https://doi.org/10.5235/17521440.8.1.13>
- Pape R.A. 1997. Why Economic Sanctions Do Not Work? — *International Security*. Vol. 22. No. 2. P. 90-136.
- Restrepo Amariles D., Winkler M. 2018. U.S. Economic Sanctions and the Corporate Compliance of Foreign Banks. — *International Lawyer*. Vol. 51. No. 3. P. 497-535.
- Rosenzweig K. 2013. Regulation of Foreign Banks Operating in the United States: A State Regulator's Controversial Pursuit of a London-Based Bank. — *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*. Vol. 18. No. 4. P. 1021-1048. URL: <https://ir.lawnet.fordham.edu/jcfl/vol18/iss4/6> (accessed 20.09.2020).
- Scott A.B. 2020. OFAC Sanctions Compliance: Insights from Recent Enforcement Actions. — *Journal of Financial Compliance*. Vol. 3. No. 3. P. 247-254.
- Scott B.F. 2019. Halkbank and OFAC: A Sanctions Evasion Case Study. — *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 22. No. 4. P. 734-743. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2018-0074>
- Servettaz E. 2014. A Sanctions Primer. — *World Affairs*. Vol. 177. No. 2. P. 82-89.
- Targeted Sanctions. The Impacts and Effectiveness of United Nations Action*. 2016. Ed. by T. Beirsteker S. Eckert, M. Tourinho. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316460290>
- Timofeev I. 2019. Rethinking Sanctions Efficiency. Evidence from 205 Cases of the U.S. Government Enforcement Actions against Business. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 17. No. 3. P. 86-108. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-3-86-108>
- Walker S. 2017. The Foreign Policy Tool of Sanctions, Conflict and Ensuring Continued Access to Finance. *Journal of Financial Crime*. Vol. 24. No. 3. P. 480-490. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0035>
- Zarate J. 2013. *Treasury Wars. The Unleashing of a New Era of Financial Warfare*. New York: Public Affairs.
- Afontsev S. 2015. Crisis Management under Economic Sanctions: Mission Impossible? — *Voprosy Ekonomiki*. No. 4. P. 20-36. (In Russ.) <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-4-20-36>
- Bluev D. 2014. Economic Sanctions as a Foreign Policy Tool. — *International Trends*. Vol. 12. No. 3. P. 23-33. (In Russ.) URL: <http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/534/Bluev-38.pdf> (accessed 20.09.2020).
- Bartenev V.I. 2018. Aid Prohibition as a Tool of the U.S. Foreign Policy: De Jure and De Facto. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 6. P. 110-140. (In Russ.) <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-6-63-110-140>
- Glandin S.V. 2018. Revealing Russia Related Sanctions Regimes Violations: The Role of Internet. — *Moscow State University Bulletin. Series 11. Law*. No. 6. P. 96-112. (In Russ.)
- Glandin S.V. 2018. The Extraterritorial Effect of American Sanctions. — *Mezhdunarodnoe pravosudie*. No. 2. P. 105-122. (In Russ.) <https://doi.org/10.21128/2226-2059-2018-2-105-122>
- Glandin S.V., Kadyшева O.V., Keshner M.V. 2018. Western Sanctions and Russian Business: Compliance in the Era of New Challenges (a review of the round table). — *Electronic Supplement to Russian Juridical Journal*. No. 3. P. 149-152. (In Russ.) URL: <http://electronic.ruzh.org/?q=en/system/files/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD.pdf> (accessed 20.09.2020).
- Gurvich E., Prilepskiy I. 2016. The Impact of Financial Sanctions on the Russian Economy. — *Voprosy Ekonomiki*. No. 1. P. 5-35. (In Russ.) <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2016-1-5-35>
- Jazairi I. 2015. Doklad Spetsial'nogo dokladchika po voprosu o negativnom vozdeistvii odnostoronnikh prinuditel'nykh mer na osushchestvlenie prav cheloveka [Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights]. — *Sovet po pravam cheloveka*.

Tridtsataya sessiya [United Nations General Assembly Human Rights Council. Thirty Session]. P. 1-24. (In Russ.) URL: <https://www.refworld.org.ru/pdfid/565ff2fe4.pdf> (accessed 20.09.2020).

Kuznetsova O. 2016. Foreign Direct Investments in Russian Provinces Under Economic Sanctions. — *International Trends*. Vol. 14. No. 3. P. 132-142. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/IT.2016.14.3.46.9>

Panova G.S. 2016. Banks and Banking Business in Russia in the Face of International Sanctions. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 1. P. 154-168. (In Russ.) URL: <https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/download/496/496> (accessed 20.09.2020).

Shakirov A.R. 2011. U.S. Economic Sanctions: Current State of Affairs and Prospects for the Future. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 1. P. 190-200. (In Russ.)

Simonov V. 2015. Anti-Russian Sanctions and the Systemic Crisis of the World Economy. — *Voprosy Ekonomiki*. No. 2. P. 49-68. (In Russ.) <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-2-49-68>

Timofeev I. 2020. European Paradox: U.S. Sanctions against European Business. — *Contemporary Europe*. No. 2. P. 45-55. (In Russ.)

Vaslavskiy Y.I., Ananyev B.I. 2018. Mezhdunarodnye ekonomicheskie sanktsii: teoreticheskii rakurs [International Economic Sanctions: Theoretical View]. — *Politika razvitiya, gosudarstvo i mirovoi porядok. Materialy VIII Vserossiiskogo kongressa politologov* [Development Issues, State and the International Order. Papers of the VIII All-Russia Congress of Political Science]. Ed. by O.V. Gaman-Golutvina, L.V. Smorgunov, L.N. Timofeeva. Moscow: Aspect Press. P. 104-105. (In Russ.)

Литература на русском языке

Ананьев Б.И. 2019. Санкции в теории международных отношений: методологические противоречия и проблемы интерпретации. — *Вестник международных организаций*. Т. 14. № 3. С. 136-150. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-03-07>

Афонцев С.А. 2015. Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? — *Вопросы экономики*. № 4. С. 20-36. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-4-20-36>

Балуев Д.Г. 2014. Эволюция экономических санкций как инструмента внешней политики. — *Международные процессы*. Т. 12. № 3. С. 23-33. URL: <http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/534/Baluev-38.pdf> (accessed 20.09.2020).

Бартенев В.И. 2018. Блокирование помощи как элемент внешнеполитического инструментария США: de jure и de facto. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 6. С. 110-140. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-6-63-110-140>

Ваславский Я.И., Ананьев Б.И. 2018. Международные экономические санкции: теоретический ракурс. — *Политика развития, государство и мировой порядок*. Материалы VIII Всероссийского конгресса политологов. Под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунуова, Л.Н. Тимофеевой. М.: Аспект-Пресс. С. 104-105.

Гландин С.В. 2018a. Роль интернета в отслеживании нарушителей режима санкций США в отношении России. — *Вестник Московского университета. Серия 11. Право*. № 6. С. 96-112.

Гландин С.В. 2018b. Экстерриториальность американских санкций в действии. — *Международное правосудие*. № 2. С. 105-122. <https://doi.org/10.21128/2226-2059-2018-2-105-122>

Гландин С.В., Кадышева О.В., Кешнер М.В. 2018. Западные санкции и российский бизнес: комплаенс в эпоху новых вызовов (обзор круглого стола). — *Электронное приложение к Российскому юридическому журналу*. № 3. С. 149-152.

Гурвич Е.Т., Прилепский И.В. 2016. Влияние финансовых санкций на российскую экономику. — *Вопросы экономики*. № 1. С. 5-35. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2016-1-5-35>

Джазаири И. 2015. Доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. — *Совет по правам человека*. Тридцатая сессия. С. 1-24. URL: <https://www.refworld.org.ru/pdfid/565ff2fe4.pdf> (accessed 20.09.2020).

Кузнецова О.В. 2016. Прямые иностранные инвестиции в российских регионах в условиях санкций. — *Международные процессы*. № 3. С. 132-142. <https://doi.org/10.17994/IT.2016.14.3.46.9>

Панова Г.С. 2016. Банки в условиях международных санкций: стратегия и тактика. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 1. С. 154-168. URL: <https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/download/496/496> (accessed 20.09.2020).

Симонов В.В. 2015. Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики. — *Вопросы экономики*. № 2. С. 49-68. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2015-2-49-68>

Тимофеев И.Н. 2020. "Европейский парадокс": политика санкций США в отношении бизнеса из стран ЕС. — *Современная Европа*. № 2. С. 45-55. <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope220204555>

Шакиров А.Р. 2011. Состояние и перспективы развития системы экономических санкций США. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 1. С. 190-200.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.07](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.07)

ПАНДЕМИЯ COVID-19: ВЫЗОВЫ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МИРА – ВОЗМОЖНА ЛИ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ГЛОБОЛОКАЛЬНАЯ БИОПОЛИТИКА?

С.А. Кравченко

КРАВЧЕНКО Сергей Александрович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии, МГИМО МИД России; главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Москва, email: sociol7@yandex.ru

Кравченко С.А. Пандемия COVID-19: вызовы здоровью населения мира – возможна ли гуманистическая глоболокальная биополитика? – Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 91-102. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.07>

Статья поступила в редакцию: 07.04.2020. Принята к публикации: 05.06.2020

Аннотация. В статье рассматриваются воздействия пандемии COVID-19 на здоровье населения мира в контексте кризиса национально-центричной биополитики, основанной на либеральных принципах формальной рациональности, прагматизма и меркантилизма. В условиях становления сложного, нелинейно развивающегося социума эти принципы оказываются нефункциональными, поскольку воспроизводят ущербные подходы к медицинскому страхованию и лечению пациентов, не отвечают реалиям взаимозависимого развития стран. Рассматривается нарастание противоречий биополитики: свойственные ей прагматические ценности оказались неспособны эффективно противостоять пандемии, что рельефно проявилось на практике. Анализируются возможности формирования иного тренда развития биополитики. Выявлено формирование двух противоборствующих подходов к реформированию существующих биополитических институтов. Первый – создание своего рода космополитической биополитики, предполагающей, что ее функциональность должна распространяться как на глобальные, так и национально-локальные реалии, основываться на новейших достижениях биоэтики и социальной эпидемиологии, принципах субстантивной рациональности и гуманизма, адекватных сложному и нелинейному развитию мира. И второй – движение по пути совершенствования национально ориентированной биополитики на базе “универсальных” принципов формальной рациональности и прагматизма. Этот второй подход, по мнению автора, является тупиковым, ибо не устраняет конфронтационное разделение мира на “Мы” и “Другие”, не нацелен на преодоление рисков, обусловленных неравенствами в международном разделении труда. Обосновывается вывод о том, что исход этого противоборства зависит как от объективных факторов нелинейного развития социоприродных реалий, предполагающих нормативную турбулентность, естественность разрывов, возможность точек бифуркации, так и, в значительной степени, от субъективного фактора – рефлексивности научных и политических акторов. Кризис нынешней биополитики, углубившийся под влиянием COVID-19, неоднозначные результаты в преодолении вызовов пандемии дают основание полагать, что в посткоронавирусном мире биополитика не будет западоцентричной.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, глобализация, глокализация, биополитика, биоэтика, здоровье, цифровизация, нелинейность, рефлексия, ценности, гуманизм.

На протяжении всей истории человеческой цивилизации проблема здоровья человека и отношения к нему испытывала постоянное влияние процессов рационализации общественной жизни, развития социальности и цивилизованности. Правители и политические элиты всегда стремились “упорядочить” это знание, направляя проблематику здоровья населения в русло своих интересов. На этапе зарождения капитализма начала формироваться *биополитика*, основанная на базовых ценностях либерализма. Ее историческое развитие проходило в контексте усложняющихся *противоречий*, проявлявшихся в периодически возникающих кризисах, что трансформировало отношения между властвующими и управляемыми. Выделим семь из них, которые представляются наиболее значимыми.

1. Периодически происходившие эпидемии порождали “разрывы” в знании о болезнях, которые деформировали типичное поведение людей, побуждая власть в русле биополитики пересматривать “старые” представления о “нормальности” здоровья и создавать его новые трактовки. Соответственно, совершенствовались надзорные технологии, дисциплинирующие “больных” граждан, что позволяло урегулировать противоречие.

2. Индустриализация и урбанизация, сопровождаемые качественным развитием научного знания, совершенствованием диагностики болезней, привели к новому противоречию между, с одной стороны, всплеском социальной девиации, ростом случаев выявления медицинских патологий, включая увеличение в популяции доли носителей инфекций, и с другой — потребностью распространения биополитики на все большее число людей. В ответ власть способствовала формированию “культуры опасности”, проявлявшейся в стимулировании интереса к своему здоровью, питанию, гигиене. На основе этой культуры власть воплощала в жизнь две значимые для себя цели: 1) воздействовать на тело больного, “ненормального” индивида, побуждая его к самодисциплине и к возвращению в “норму”; 2) организовать *тотальный контроль* за “социальным телом” *всего* населения. В результате биополитика усложнилась, обретя новые качества: медицинский надзор расширился, стал распространяться на “тело, обладающее хорошим здоровьем”; ее функциональность стала обеспечиваться за счет “неявных сил власти, власти невидимой, то есть тех видов власти, которые связаны с институтами знания и здравоохранения” [Фуко 2002: 162, 172].

3. Биополитика способствовала развитию *социального страхования, общественного здравоохранения*, что улучшило здоровье населения в целом, увеличило среднюю продолжительность жизни. Вместе с тем, как отмечает Дж. Ритцер, под влиянием укоренения практик формальной рационализации, прагматизма, меркантилизма зарождаются “создающие прибыль медицинские организации”, что знаменует исторический транзит от искусства врачевания к *эффективной и прагматичной* науке, предполагающей весьма строгий протокол лечения, контроль индивида от его рождения до смерти. И главное: “как в случае со всеми рациональными системами, медицина перешла от человеческих к нечеловеческим технологиям”, что для врача “влекло серию дегуманизирующих последствий”, включая “контроль со стороны менеджеров и бюрократов, не являющихся медиками”; а для пациентов это означало “утрату личностных отношений” с со всем лечебным персоналом [Ritzer 2013: 79, 106, 139-140]. Формализованные медицинские знания и практики предопределили “социальную смерть” земского доктора и семейного врача. При этом со-

циальное неравенство увеличивалось и усложнялось, обретая новые формы: утверждалось деление людей по критерию “нормальные” и “ненормальные”; среди имущих и статусных слоев распространение получает “демонстративное потребление” [Веблен 1984] и соответствующее ему *демонстративное лечение*, ставшее индикатором принадлежности к социальной избранности.

4. В середине прошлого века появились новые вызовы для биополитики, выразившиеся в противоречии между жесткими формами медицинского надзора за больными и демократическим требованием превращения людей из объектов управления в *субъекты*, предрасположенные к самоуправлению, самоорганизации и даже к *самолечению*. Сегодня в контексте требований соблюдения прав человека еще более обострилась дискуссия, является ли “пациент механическим телом или личностью” [Marcus 2008: 49], что нашло отражение в подходах медицинских и политических элит к вызовам COVID-19.

5. К концу XX в. стало очевидным, что прагматически ориентированное финансирование социального здравоохранения не справлялось с увеличением и усложнением рисков, в результате чего биополитика вновь оказалась в кризисе. Выявились противоречия между декларированием права человека на жизнь, охрану здоровья и реальным доступом *масс населения* к квалифицированному лечению. З. Бауман отмечает, что страхование жизни и здоровья, функциональность которого обеспечивалась “от имени социально (‘благоденственного’) государства” деградирует, замещается “политической формулой ‘государства личной безопасности’” [Bauman 2006: 13, 15].

6. У институтов биополитики, функционирующих на основе принципов формальной рациональности и прагматизма, рельефно выявились *побочные эффекты*, воспроизводящие “иррациональную рациональность” в виде подавления субъективности, умаления значимости жизненных миров людей. Урегулирование этого противоречия М. Фуко видел в переходе к *госвернментальной* (неологизм, состоящий из двух слов: управление и ментальность) *рациональности*, позволяющей властным структурам управлять творческими, социально активными людьми с учетом их саморефлексии и саморационализации: речь идет об “управлении индивидами посредством их собственной истины” [The Foucault Effect... 1991]. В ходе дальнейших исследований *госвернментальности* были обоснованы идеи, которые в условиях борьбы с COVID-19 актуализировались. Так, по Н. Джексону и П. Картеру — *госвернментальность* означает, что людям следует добровольно делегировать свою автономию, проявлять ответственность в соблюдении правил, подчиняясь в своем поведении моральной силе, являющейся внешним фактором по отношению к ним [Jackson, Carter 1998]. К. Майес выдвинул концепцию “биополитики жизненного стиля”, предполагающую “обеспечение индивидуального благополучия тем, кто сам заботится о себе” [Mayes 2016: 10]. А. Росси прослеживает генеалогию *госвернментальности* в контексте проблемных отношений между субъектом и нормой, действием и свободой [Rossi 2015]. Из выводов, сделанных в этих исследованиях, следует, что ныне как структуры биополитики, так и люди должны нести *совместную ответственность* за свое и общественное здоровье.

7. Наконец, самое главное противоречие — между национально-центричной функциональностью биополитики и объективной потребностью глобального противодействия вызовам инфекций, распространяющейся в контексте “пространств близости” и во “вневременном времени” [Castells 2010: xxxi, xl].

Развитие культурных, учебных, трудовых контактов, мирового туризма способствует приходу “чужаков к нашим дверям” [Bauman 2016], несущих не только “маргинальное” отношение к здоровью, сложившимся практикам лечения, но и, порой, новые болезни. Кроме того, возникают *сложные биосоциальные мобильности*, проявляющиеся в том, как отмечает Дж. Урри, что вирусы передаются не только от человека к человеку, из страны в страну, но распространяются на *все живое*, существующее на разных континентах. Это ведет к “нормальным авариям, которых всегда следует ожидать, и они происходят в случае с животными, вирусами, людьми... Европейский союз склонился к политике, свободной от вакцинирования, и это принесло значительные дивиденды, но это также увеличило вероятность того, что однажды барьеры разрушатся, и тогда вирус распространится по европейскому пространству” [Urry 2008: 58, 59]. “Нормальными авариями”, заметим, Ч. Перроу называет несчастные случаи и катастрофы, вызванные не грубыми просчетами человека, а его естественным взаимодействием со сложными техническими, эко- и биосистемами, их гибридами, которые периодически дают “нормальные” сбои даже при наилучшем менеджменте и полном внимании к безопасности [Perrow 1999]. В силу своей природы сложные мобильности, с которыми человечеству предстоит существовать, несут новые вызовы здоровью населения мира.

Если ранее возникавшие противоречия биополитики регулировались на локальном уровне, то нынешние не разрешимы в национальном контексте и усилиями отдельных государств, ибо обусловлены факторами *нелинейного развития* мира — ускоряется и усложняется развитие живой и неживой природы, а также социума [Пригожин, Стенгерс 2001]. С разными скоростями трансформируются реалии, одновременно находящиеся в глобальном и локальном контекстах: глокализация определяется как “преломление глобализации через локальное” [Roudemetof 2016: 79]. Представляется, это в полной мере относится к современной биополитике, которая продолжает развиваться в национальной “колее”, проявляя *формально-прагматичную рефлексивность* на национальном уровне. Чтобы адекватно функционировать в усложняющихся и нелинейно развивающихся реалиях, необходимо перейти к *пространственно-масштабной* и, главное, *ценностной* рефлексивности. Еще М. Хоркхаймер отмечал, что критическая теория должна быть “саморефлексивной”, способной к эмансипации, нацеленной не только “на критику сознательных защитников статус-кво, но и против уводящих в сторону, конформистских или утопических тенденций внутри собственного хозяйствования” [Horkheimer 1992: 248]. На ограниченность *локальной* рефлексивности указал и Э. Гидденс: ее функциональности “относятся к инспектированию активности населения как субъекта”, оставляя в стороне глобальные проблемы — ошибки в конструировании современного мира, человеческий фактор, непредвиденные последствия, рефлексивность знания, и потому в сложившихся условиях “мы никогда не будем в состоянии чувствовать полную безопасность” [Giddens 1990: 58, 139].

Уязвимость данного типа рефлексивности также обусловлена тем или иным детерминизмом. Так, П. Бурдьё ратовал за “рефлексивную социологию”, учитывающую неравномерное распределение ресурсов в пространстве и времени, характер габитуса социальных акторов и особенности социальных полей. Ее комплексный инструментарий весьма эффективен — позволяет “очистить

работу от социальных детерминистов” [An Invitation... 1992: 211], выявить “вкусовые различия” в самых разных сферах жизнедеятельности, включая медицину: например, предрасположенность либо к доктороцентричным консультациям, либо к практикам, акцентирующим значимость интересов пациентов [Bourdieu 1984]. Безусловно, в последние десятилетия социо-природные реалии усложнились, в связи с чем еще более актуализировалась потребность в “переконструировании рефлексивности” [Koerner, Russel 2016]. На наш взгляд, наиболее успешным в этом плане был У. Бек, предложивший концепцию “*рефлексивной неосведомленности*”, квинтэссенция которой в том, что “разные типы эмерджентной технологии содержат не только узнаваемые риски, но также риски, которые мы пока не знаем” [Beck 2016: 104]. Полагаем, с позиций данного типа рефлексивности необходимо подходить к выработке валидной стратегии развития биополитики, к пониманию сложной природы COVID-19, характера его нынешних и отложенных последствий, которые могут нелинейно проявить себя в будущем.

В различных странах рефлексия — как институтов здравоохранения, так и самих заболевших — по поводу пандемии была разной, соответственно, с преимущественно положительными или отрицательными последствиями, что в значительной степени обуславливалось особенностями культуры, национально-религиозных традиций, этическими и политическими предпочтениями. Приведем лишь несколько примеров. В Китае, где были официально зарегистрированы первые зараженные COVID-19, сказались факторы поэтапной “госвернментализации” населения, предполагающей сочетание государственного контроля и саморегулирования граждан [Greenhalgh, Winkler 2005], а также исторически сформировавшееся видение государства и политической власти как, по оценке Ф. Фукуямы, “некой семьи семей, объединяющей всех китайцев в единую социальную общность” [Fukuyama 1995], что способствовало достаточно быстрому преодолению эпидемии. Особенности культуры Японии (самодисциплина, сохранение значительной социальной дистанции во время приветствия, протирка рук горячим полотенцем перед едой и т.п.) минимизировали масштабы распространения вируса. В ФРГ, где традиционно политическая борьба преимущественно велась вокруг проблематики благополучия и здоровья рядового немца, должное внимание уделялось социальному страхованию, на медицину и экологию выделялось достаточное финансирование. В результате летальных исходов в ФРГ, при сопоставимом числе заболевших коронавирусом с Италией и Испанией, было в разы меньше. При этом на территории бывшей ГДР, где проводилась политика прививок всех граждан против туберкулеза, существенно меньше регистрировалось случаев инфицирования, чем в целом по стране. Факторы культуры и особенности национальной ментальности проявились и в практиках солидарности с народами стран, пострадавших от COVID-19. Ее первыми предоставили Россия, Китай, Куба. На наш взгляд, глубинная причина этому — доминирующие у населения и политических элит этих стран *коллективистские* ценности и соответствующее понимание благополучия и справедливости; предпочтение отдавалось интересам *общества* и тем самым — реализации прав человека в их общественном прочтении. В США, Великобритании, Швеции, где возникли существенные, хотя и по-разному выраженные проблемы борьбы с пандемией, напротив, приоритет на начальных стадиях пандемии отдавался правам и свободам отдельных индивидов.

Вызванная COVID-19 травма биологической субстанции *ограниченного количества* индивидуумов фактически повлияла на *все сообщества мира*, выявила *взаимообусловленность* функционирования экономической, политической, медицинской, эпидемиологической и других сфер. Дисфункции развивались скоротечно, лавинообразно и при этом, подчеркнем, многое латентное стало явным. Так, рельефно обозначились *разрывы* в международном разделении труда с неприятными побочными эффектами для *всех* стран. В государствах Глобального Севера, “ядра” Мир-системы, доминируют научные комплексы типа “Силиконовой долины”, брендовое университетское образование, высокотехнологичное здравоохранение. На Глобальном Юге — по-прежнему функционирует во многом традиционное производство, позволяющее населению “золотого миллиарда” демонстрировать “успехи” потребительства, использовать дешевую рабочую силу народов “периферии” и “полупериферии”, извлекать огромную прибыль, на основе которой создавался образ стран “первого” мира [Валлерстайн 2001]. Вместе с тем международному разделению труда сопутствует и *глобальное распределение рисков*. В частности, экономические и политические структуры стран Юга, третьего мира, проводили “рационализацию” — размещение у себя рискогенных био- и медицинских лабораторий, осуществление утилизации е-мусора, производство генно-модифицированных культур. В эти страны было выведено и производство вспомогательного медицинского оборудования, фармакологической продукции, средств защиты от инфекций и т.п., что в условиях пандемии обернулось бумерангом: из-за COVID-19 Север на какое-то время оказался в *экзистенциональной зависимости* от Юга — в США и странах Европы выявилась катастрофическая нехватка масок, перчаток, халатов, дезинфицирующих растворов. Между государствами, имеющими союзнические отношения, возникли немыслимые инциденты противоборства за медицинские маски, что демонстрирует кризис линейных представлений о мировом доминировании Запада и актуализирует требование равноправного партнерства цивилизаций и культур.

Неравенство в международном разделении труда способствует образованию “*новых анклавов*”, в которых живут люди, “*потерявшие* свои места на земле” [Bauman 2006: 45]. Пандемия масштабно обостряет процесс анклализации: закрываются границы и проводятся национальные мобилизации; возникают нового типа “*заборные сообщества*” (*gated communities*) [Bauman 2011: 65] для элиты, проводящей “домашнюю изоляцию” на виллах или яхтах. При этом океанские лайнеры, на борту которых оказались как очевидно больные, так и здоровые пассажиры, стояли неделями в портах на карантине или бороздили воды морей в поисках места, куда бы власти той или иной страны разрешили причалить. На этом фоне непрекращающиеся вооруженные конфликты способствуют образованию анклавных безгосударственных территорий, что ведет к массовому производству латентно инфицированных людей. Мировое сообщество на эти вызовы реагирует неоднозначно. Прослеживаются две полярные позиции: с одной стороны, в русле конфронтации назначаются “*виновные*” среди “*других*”, а с другой, — осознание неделимости сложных рисков стимулирует появление новых практик сотрудничества.

Особо отметим дегуманистический эффект от *страхов*, возникших вокруг COVID-19, у которых весьма сложная природа. Есть объективные основания для тревог, обусловленные *реальными опасностями* пандемии для жизни и здоровья населения планеты. Вместе с тем страхи *искусственно инсценируются* фейками

и перформансами (показ в прямом эфире умирания людей, складирования гробов), что производит фобии, драматизирует сознание людей. З. Бауман обосновал эффект “текучего зла”, суть которого в анонимном и постоянном производстве страха и неопределенности [Bauman, Donskis 2016: 6-7]. В этом смысле перманентное обновление социально сконструированных страхов пандемии, смакование людских трагедий, реальных и вымышленных неудач в борьбе с вирусом является выражением подобного рода зла, что порой используется в *прагматических целях* политической борьбы. В результате размываются различия между рисками пандемии и их культурным восприятием. По существу, формируется новый культурно обусловленный синдром “экранной” филии к страхам, которые обретают *качество вируса*, травмирующего общественное сознание.

В этих условиях, на наш взгляд, особую актуальность приобретают гуманистические идеи П. Сорокина о том, что “наше ‘лекарство’ требует полного изменения современной ментальности, коренного преобразования нашей системы ценностей и полнейшего изменения нашего поведения по отношению к другим людям, культурным ценностям и реальному миру в целом” [Сорокин 2009: 331]. По его мнению, квинтэссенция этого лекарства — производство Добра, которое резко отстает от создания шедевров Красоты и деятельности человека в области Истины, развития научного знания, которое к тому же меркантильно используется. Отрадно, что среди современных ученых осознание востребованности гуманизации современного мира получает все большее распространение, хотя видения этого процесса весьма разнятся: М. Мэсон ратует за “этику вне границ” [Mason 2005], У. Бек — за “межграницное сотрудничество” [Beck 2016: 43], У.Х. Вандербург — за то, чтобы развитие наук, искусственного интеллекта и цифровизации соответствовало “человеческому духу” [Vanderburg 2016], Р. Брайдотти усматривает ростки нового гуманизма в “постантрополоцентрических технологиях” [Braidotti 2013: 127], З. Бауман выступает за то, чтобы “люди, населяющие Землю, взяли за руки”, в противном случае их ждут “общие могилы” [Bauman 2017: 167].

Дисперсия мнений относительно гуманизма и этики сказывается и на разработках перспективных подходов к созданию наднациональных институтов биополитики, принципов их функционирования. Выделим шесть из них, которые представляются наиболее значимыми для понимания *реальных возможностей* перехода к глоболокальной биополитике гуманистической направленности. 1) Опережающее развитие биоэтики, вступающее в противоречие с конфронтационной политикой [The Care of Life... 2015]. 2) Неприемлемость для стран незападного мира глобально распространяющихся новых биотехнологий, имеющих дело с проблемами генной модификации человека, нетипичными практиками рождения детей, выходящими за пределы традиционной биоэтики [Beyond Bioethics... 2018]. 3) Апробация в развивающихся странах новых средств борьбы с инфекционными заболеваниями, что делает их население более уязвимым [Have 2016]. 4) “Биполярная структура универсализма и партикуляризма является не только абстрактным философским постулатом, а имеет непосредственное воплощение в современной европейской политике” [Europe Beyond... 2014: 2]. 5) Практики изоляции инфекционных больных, получившие распространение в Великобритании в конце XIX в., еще тогда подвергались критике за то, что “политическая тактика превалировала над медицинской, а индивид утрачивал свой социальный статус, превращаясь в ‘человека без места’” [Newsom Kerr 2018: 31, 83]. Этот опыт отложился в социальной памяти. Ныне

с новой силой возродились дебаты относительно понимания взаимоотношений между здоровьем человека, его гражданством и современным управлением, реализующиеся в *политически мотивированных* подходах к вызовам пандемии и, порой, отодвигающие мнения медицинских специалистов на второй план. Это побуждает выделить еще один пункт: 6) ученых, составляющих особую группу и выступающих за гуманизацию существующей биополитики, а также за распространение ее функциональности на весь мир.

Так, Скотт Манн, критикуя неолиберальные идеи, акцентирует значимость корпоративной власти, востребованность устойчивого развития здоровья всего населения мира [Mann 2010]. Риски глобальной катастрофы, считает Касс Санстейн, создают предпосылки для нового типа гуманистического мышления о ценности жизни, способного преодолеть как доминирование затратных соображений в государственном регулировании, так и авторитарные аспекты глобализации [Sunstein 2014]. В исследовании, проведенном командой международных экспертов, делается вывод о том, что право человека на справедливый доступ к квалифицированному лечению выходит за пределы национальных границ [Global Bioethics... 2014].

В этом многообразии мнений можно выделить два полюса констатаций: 1) *объективной потребности* космополитизации биополитики на приемлемых, по крайней мере, для большинства политических акторов принципах гуманизма, адекватных сложному и нелинейному развитию мира; 2) наличия столь же *объективных факторов* “колеи” — что предполагает упрощенное, линейное разделение мира на “Мы” и “Другие” и, как следствие, конфронтационную политику, доминирование национально-центричного подхода к глобальным вызовам, сохранение сложившихся неравенств в международном разделении труда, обострение междисциплинарного противоборства. Какой полюс в научном и политическом плане возьмет верх, зависит в значительной степени от *субъективного фактора* — людей как сознательных акторов. Сегодня гуманистический полюс только зарождается, он слабо проявлен в плане практического влияния на мировую политику. Однако, на наш взгляд, есть основания для оптимистических оценок его перспектив, учитывая сложившийся в научном сообществе консенсус относительного национально-центричных институтов биополитики исторически изживших себя.

Первый практический шаг на пути движения к гуманистической глобальной биополитике, полагаем, связан с возможностью перехода к *новому тренду развития знания*, основанному на синтезе *всех* социальных, естественных и гуманитарных наук [Кравченко 2011: 11-18]. В этой междисциплинарной интеграции ныне нелинейно возросла значимость *социальной эпидемиологии*, ее переориентация на исследования этнокультурных факторов, экономических неравенств, стилей жизни разных групп людей, особенностей их сознания, влияющих на выработку биоэтики и, соответственно, политики борьбы с вирусными инфекциями [Rethinking Social Epidemiology... 2012; Social Epidemiology 2014]. Особое внимание при этом уделяется “*степени распространения* заболеваний среди различных групп населения” [Krickeberg, Pham, Pham 2019: 2]. В контексте дисперсии позитивного и негативного опыта борьбы с COVID-19 в разных странах и культурах представляет особый интерес исследование Л.В. Адамса и Дж.Р. Буттерли, обобщающих и анализирующих социальное влияние прошлых и нынешних эпидемиологических заболеваний в странах Севера и Юга [Adams, Butterly 2015]. В исследовании Дж. Чина и А. Гиллиса разоблачаются инсценированные в политических интересах мифы об инфекциях и их по-

следствиях [Chin 2018]. Особо подчеркнем, предметная сфера социальной эпидемиологии имеет *внутренний гуманистический стержень*: ее нацеленность на актуальные экзистенциальные проблемы стимулирует осознание единства биосоциального мира и универсальной значимости жизни и здоровья для народов всех стран. На ее основе формируется ценностное знание, побуждающее элиты к проведению гуманистически ориентированной политики.

Сегодня определенные политические усилия предприняты по *самым разным направлениям* сотрудничества в сфере здравоохранения. Так, В. Путиным была выдвинута идея создания, по крайней мере, на время пандемии, гуманитарных “зеленых коридоров”, представленная в Совет Безопасности ООН. Однако в силу приверженности стратегии “политического прагматизма” и конфронтации с Россией, представители ряда стран ее отклонили. Тем не менее, инициатива была реализована на *локальных уровнях*: российская медицинская помощь была направлена в Италию, Сербию, а также в США. Еще недавно “цифровой надзор” выражался в “посягательстве на неприкосновенность частной жизни со стороны крупных компаний” [Mosco 2017: 161]. Теперь же, как, например, в России, Китае и других странах, технологические возможности цифровизации используются для диагностики инфицированных людей. Банковские карты позволяют определить, совершили ли их владельцы покупки в местах опасных с эпидемиологической точки зрения. С помощью геолокации телефона и использования промокодов автоматически определяется, кто, где и когда контактировал с носителями вируса — информация передается в структуры здравоохранения для борьбы с распространением инфекции, а также надзорным органам, обеспечивающим режим домашней изоляции или карантина. В Японии, как считает профессор университета Сока Дзюндзо Иида, пандемический кризис стал «катализатором цифровизации Японии» [Iida 2020: 8], что привело к резкому улучшению эпидемиологической ситуации.

Представляется, такой “цифровой надзор”, ориентированный на цели здравоохранения, может стать частью технологий глоболокальной биополитики. Более того, он позволяет в контексте идей говернментальности формировать саморефлексию и самодисциплину, в частности, предполагающие добровольное делегирование людьми своих полномочий медицинским структурам. Системы дистанционной диагностики и лечения, основанные на цифровизации, задействование инструментария “умного” дома для уборки помещений и их дезинфекции, роботизация ухода за больными людьми, доказали свою эффективность. На путях движения к глоболокальной биополитике указанные практики могут быть расширены и усовершенствованы в интересах гуманитарного сотрудничества.

Особо отметим, что становлению глоболокальной биополитики может способствовать обоснованная У. Беком *метаморфизация мира* как тенденция его нелинейного развития: “теория метаморфозы выходит за рамки теории общества мирового риска: речь идет не о негативных побочных эффектах хорошего, а о позитивных побочных эффектах плохого” [Beck 2016: 4]. Однако заметим, что процесс метаморфизации плохого в нечто хорошее предполагает лишь *потенциальную возможность* — многое зависит от самих людей [Кравченко 2017]. Речь, в частности, идет о том, что достижения генной инженерии, секретные наработки в изучении вирусов, ныне воспроизводящие явные и латентные риски, благодаря совместным усилиям ученых и политических элит, в принципе, могут претерпеть метаморфозу в биоцифровые реалии, функциональность которых служила бы интересам жизни и здоровья всех людей планеты. Результаты

кросс-культурного исследования, проведенного М. Кастельсом, свидетельствуют о том, что зарождается “другая экономика”: “ряд экономических практик появились по всей Европе и в США; они включают в себя альтернативные ценности, приоритет ценности жизни над ценностью денег, эффективного сотрудничества над ожесточенным соревнованием, социальной ответственности корпораций и заслуживающего доверия инициатив правительства над кратковременными финансовыми стратегиями” [Castells et al. 2017: 1].

Аналогично, возможна и “другая политика”, основанная на субстантивной рациональности, ориентированная на социальную медицину, реализацию права человека на здоровую жизнь. Так, в период эпидемии власти Норвегии и ряда других стран предприняли усилия по сглаживанию социального неравенства относительно *доступа* к лечению; получили развитие гражданские инициативы взаимопомощи. Представители ряда мировых медиа выступили против инсценирования страхов последствий пандемии. Возникли новые образовательные и развлекательные программы для тех, кто, проявляя самодисциплину, выполняет требования медиков “сидеть дома”. Все это является пока необходимыми предпосылками того, чтобы на базе социальной ориентированной экономики и политики была создана эффективно функционирующая глоболокальная биополитика с гуманистической направленностью. Однако учтем, что возможная материализация этих предпосылок будет происходить в условиях нелинейного развития, предполагающего сложную “внешне-внутреннюю” причинность институциональных изменений и усложняющуюся рефлексивность научных и политических акторов. Во всяком случае, неоднозначные ответы на вызовы пандемии дают основание утверждать, что в посткоронавирусном мире характер биополитики не будет западоцентричным.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.07](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.07)

COVID-19 PANDEMIC: CHALLENGES TO GLOBAL HEALTH – IS HUMANIST GLOBOLOCAL BIOPOLITICS POSSIBLE?

S.A. Kravchenko^{1, 2}

¹Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

²Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

KRAVCHENKO, Sergei Alexandrovich, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Sociological Department, MGIMO University; Principle Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences, Moscow, email: sociol7@yandex.ru

Kravchenko S.A. COVID-19 Pandemic: Challenges to Global Health – is Humanist Globolocal Biopolitics Possible? – Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 91-102. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.07>

Received: 07.04.2020. Accepted: 05.06.2020

Abstract. The article deals with the impact the COVID-19 pandemic has had on the health of the world's population, looked at through the context of the crisis in biopolitics. Biopolitics is based on liberal principles of formal rationalization, pragmatism, and mercantilism, which have – under the conditions of complex, non-linear, developing societies – proven to be dysfunctional; these reproduce ineffective approaches to medical insurance and to the treatment of patients whose situations do not correspond to the realities of interdependent development today. Specific contradictions of biopolitics, determined by its pragmatic values, are revealed; these now have become especially evident in their inability to effectively counteract the pandemic. In connection with this, possibilities of transitioning from biopolitics to another developmental trend are analyzed. It is shown that two opposing approaches to reforming existing biopolitical institutions have been formed: 1) the creation of a form of cosmopolitan biopolitics, assuming that its functionality

should extend to both global and national situations, be based on the latest achievements of bioethics and social epidemiology, and take into account principles of substantive rationality and humanism, which are adequate to the complexities and non-linear progression of international development; 2) the movement towards improving nationally-oriented biopolitics, based on the “universal” principles of formal rationality and pragmatism, which, in the author’s opinion, is a dead end, as it does not eliminate the confrontational division of the world into “Us” and “Others”, nor does it address the risks posed by inequalities in the international division of labour. It is substantiated that the outcome of this confrontation depends on the objective factors of the nonlinear development of social and natural realities, which imply normative turbulence, natural discontinuities, and the possibility of bifurcation points, but to a large extent also imply a subjective factor of the reflexivity of scientific and political actors. In conclusion, the crisis of the current state of biopolitics, which has deepened under the influence of COVID-19, and the ambiguous results in overcoming the challenges of the pandemic, suggest that in the post-coronavirus world, biopolitics will not be western-centric.

Keywords: COVID-19 pandemics, health, biopolitics, bioethics, non-linearity, globalization, glocalization, digitalization, reflexion, humanism.

References

- Adams L.V., Buttery J.R. 2015. *Diseases of Poverty: Epidemiology, Infectious Diseases, and Modern Plagues*. Dartmouth: Dartmouth College Press. 232 p.
- An Invitation to Reflexive Sociology. 1992. Ed. by P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant. Chicago: University of Chicago Press. 348 p.
- Bauman Z. 2006. *Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty*. Cambridge: Polity Press. 128 p.
- Bauman Z. 2011. *Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age*. Cambridge: Polity Press. 224 p.
- Bauman Z. 2016. *Strangers at Our Door*. Cambridge: Polity Press. 120 p.
- Bauman Z. 2017. *Retrotopia*. Cambridge: Polity Press. 179 p.
- Bauman Z., Donskis L. 2016. *Liquid Evil*. Cambridge: Polity Press. 192 p.
- Beck U. 2016. *The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World*. Cambridge: Polity Press. 240 p.
- Beyond Bioethics: Toward a New Biopolitics. 2018. Ed. by O.K. Obasogie, M. Darnovsky. Berkeley, CA: University of California Press. 552 p.
- Bourdieu P. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 613 p.
- Braidotti R. 2013. *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press. 180 p.
- Castells M. 2010. *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Volume I: *The Rise of the Network Society*. Oxford: Wiley-Blackwell. 597 p.
- Castells M., Banat-Weiser S., Hlebig S., Kallis G. et al. 2017. *Another Economy is Possible: Culture and Economy in a Time of Crisis*. Cambridge: Polity Press. 224 p.
- Chin J. 2018. *The AIDS Pandemic: The Collision of Epidemiology with Political Correctness*. CRC Press; Taylor & Francis Group. 248 p.
- Europe Beyond Universalism and Particularism. 2014. Ed. by S. Lindberg, S. Prozorov, M. Ojakangas. London: Palgrave Macmillan. 194 p. <http://dx.doi.org/10.1057/9781137361820>
- Fukuyama F. 1995. Confucianism and Democracy. — *Journal of Democracy*. Vol. 6. No. 2. P. 20-33.
- Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press. 188 p.
- Global Bioethics and Human Rights: Contemporary Issues. 2014. Ed. by W. Teays, J.-S. Gordon, A.D. Renteln. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 456 p.
- Greenhalgh S., Winkler E.A. 2005. *Governing China’s Population: From Leninist to Neoliberal Biopolitics*. Stanford, CA: Stanford University Press. 412 p.
- Have H. ten. 2016. *Vulnerability: Challenging Bioethics*. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 264 p.
- Horkheimer M. 1992. Selections from “Traditional and Critical Theory”. — *Critical Theory: The Essential Readings*. Ed. by J. Simon-Ingram. St. Paul, MN: Paragon. P. 239-254.
- Iida J. (2020). Digital transformation vs COVID-19: The case of Japan. — *Digital Law Journal*. Vol. 1. No. 2. P. 8-16. <https://doi.org/10.38044/2686-9136-2020-1-2-8-16>
- Jackson N., Carter P. 1998. Labour as Dressage. — *Foucault, Management, and Organization Theory: From Panoptic on to Technologies of Self*. Ed. by A. McKinley, K. Starkey. London: Sage. P. 49-64. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446221686.n4>
- Koerner S., Russel I. 2016. *Unquiet Pasts: Risk Society, Lived Cultural Heritage, Re-designing Reflexivity*. London: Routledge. 442 p.

- Krickeberg K., Pham V.T., Pham T.M.H. 2019. *Epidemiology: Key to Public Health*. Cham: Springer International Publishing. 264 p. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-16368-6>
- Mann S. 2010. *Bioethics in Perspective: Corporate Power, Public Health and Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press. 287 p.
- Marcum J.A. 2008. *An Introductory Philosophy of Medicine. Humanizing Modern Medicine*. Heidelberg: Springer Netherlands. 376 p. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6797-6>
- Mason M. 2005. *The New Accountability: Environmental Responsibility Across Borders*. London: Earthscan. 205 p.
- Mayes C. 2016. *The Biopolitics of Lifestyle: Foucault, Ethics and Healthy Choices*. London; New York: Routledge. 156 p.
- Mosco V. 2017. *Becoming Digital. Toward a Post-Internet Society*. London: Emerald Publishing Limited, Bingley. 248 p.
- Newsom Kerr M.L. 2018. *Contagion, Isolation and Biopolitics in Victorian London*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 370 p. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-65768-4>
- Perrow Ch. 1999. *Normal Accidents: Living with High Risk Technologies*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 464 p.
- Rethinking Social Epidemiology. Towards a Science of Change*. 2012. Ed. by P. O'Campo, J.R. Dunn. Heidelberg: Springer Netherlands. 350 p.
- Ritzer G. 2013. *The McDonaldization of Society*. London; Thousand Oaks, CA: Sage. 237 p.
- Rossi A. 2015. *The Labour of Subjectivity: Foucault on Biopolitics, Economy, Critique*. London; Lanham, MD: Rowman & Littlefield International. 208 p. <https://doi.org/10.1111/bjir.12240>
- Roudometof V. 2016. *Glocalization. A Critical Introduction*. London; New York: Routledge. 188 p.
- Social Epidemiology*. 2014. Ed. by L.F. Berkman, I. Kawachi, M. Glymour. Oxford: Oxford University Press. 640 p.
- Sunstein C.R. 2014. *Valuing Life: Humanizing the Regulatory State*. Chicago: Chicago University Press. 240 p.
- The Care of Life: Transdisciplinary Perspectives in Bioethics and Biopolitics*. 2015. Ed. by M. de Beistegui, G. Bianco, M. Gracieuse. London; New York: Rowman & Littlefield International. 332 p.
- The Foucault Effect. Studies in Governmentality*. 1991. Ed. by G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. Chicago: The University of Chicago Press. 318 p.
- Urry J. 2008. *Mobilities*. Cambridge: Polity Press. 336 p.
- Vanderburg W.H. 2016. *Our Battle for the Human Spirit: Scientific Knowing, Technical Doing, and Daily*. Toronto: University of Toronto Press. 436 p.

- Foucault M. 2002. Dits et écrits. Articles, politiques conférences, interviews, 1970-1984. (Russ. ed.: Foucault M. *Intellektualy i vlast': Izbrannyye politicheskie stat'i, vystupleniya i interv'y*. Moscow: Praxis. 384 p.)
- Kravchenko S.A. 2011. Sociology on the Move to Interaction of Theoretical and Methodological Approaches. — *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 10. P. 11-18 (In Russ.)
- Kravchenko S.A. 2017. Metamorphoses: Essence, Increasingly Complex Types, Place in Sociology of Knowledge. — *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 1. P. 3-14. (In Russ.)
- Prigogine I., Stengers I. 2001. Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature. (Russ. ed.: Prigogine I., Stengers I. *Poryadok iz khaosa. Novyi dialog cheloveka s prirodoy*. Moscow: Editorial URSS. 240 p.)
- Sorokin P. 2009. The Crisis of our Age: The Social and Cultural Outlook. (Russ. ed.: Sorokin P. *Krizis nashego vremeni*. Moscow: ISPI RAN. 388 p.)
- Veblen T. 1984. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. (Russ. ed.: Veblen T. *Teoriya prazdnogo klassa*. Moscow: Progress. 368 p.)
- Wallerstein I. 2001. *Analiz mirovykh sistem i situatsiya v sovremennom mire [The Modern World-Systems Analysis and a Clear Outline of the Modern World-System]*. St. Petersburg: Universitetskaya kniga. 416 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Валлерстайн И. 2001. *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире*. СПб.: Университетская книга. 416 с.
- Веблен Т. 1984. *Теория праздного класса*. М.: Прогресс. 368 с.
- Кравченко С.А. 2011. Социология в движении к взаимодействию теоретико-методологических подходов. — *Социологические исследования*. № 1. С. 11-18.
- Кравченко С.А. 2017. Метаморфозы: сущность, усложняющиеся типы, место в социологическом знании. — *Социологические исследования*. № 10. С. 3-14. <https://doi.org/10.7868/S0132162517100014>
- Пригожин И., Стенгерс И. 2001. *Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой*. М.: Эдиториал УРСС. 240 с.
- Сорокин П. 2009. *Кризис нашего времени: социальный и культурный обзор*. М.: ИСПИ РАН. 388 с.
- Фуко М. 2002. *Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью*. М.: Праксис. 384 с.

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.08

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ: ПОЛИТИКО-ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Р.В. Петухов

ПЕТУХОВ Роман Владимирович, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Москва, email: petukhovrv@yandex.ru

Петухов Р.В. Запрос на перемены: политико-ценностное измерение. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 103–118. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.08>

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект “Социальная трансформация российского общества: акторы запроса на перемены” № 19 011 00277.

Статья поступила в редакцию: 21.04.2020. Принята к публикации: 17.07.2020

Аннотация. Потрясения начала 2020 г. выявили многие противоречия, накопившиеся в российском обществе за последние годы. Одной из линий, по которым проходит размежевание в обществе, является разное отношение представителей различных социальных групп к многолетнему курсу действующей власти на поддержание стабильности, понимаемой как сохранение существующей политико-экономической системы и действующих в ней правил игры. Согласно данным мониторинговых исследований Института социологии Федерального научно-исследовательского центра РАН, российское общество разделилось на две примерно равные части, одна из которых желает перемен, считая, что без глубоких экономических и социальных реформ страна будет стагнировать, а другая хочет сохранения стабильности, полагая, что не следует спешить с преобразованиями. Причины формирования и содержание общественного запроса на перемены уже анализировались рабочей группой исследовательского проекта “Социальная трансформация российского общества: акторы запроса на перемены”, поэтому автор настоящей статьи фокусируется на выявлении причин, влияющих на субъективный выбор в пользу перемен или стабильности. Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что в основе соответствующего выбора лежат не столько социальные, сколько политические различия между сторонниками перемен и стабильности, которые проявляются прежде всего в осознании многими россиянами иллюзорности границы между частным и публичным в условиях современной России. В статье с опорой на данные опросов общественного мнения иллюстрируется связь между увеличением числа “самодостаточных россиян”, стремящихся к активной самореализации и не рассчитывающих на помощь государства, и формированием запроса на перемены. Исследование показало, что сочетание этой установки с перспективным видением будущего становится ключевым фактором возникновения желания перемен. Игнорирование властями обращенного к ним запроса на перемены формирует особую идентичность, способную трансформировать чувство resentimenta в коллективное действие по отстаиванию своего видения будущего.

Ключевые слова: запрос на перемены, стабильность, социальные изменения, демократия, гражданское участие, политическая и социальная активность, самодостаточность, образ будущего.

Начало третьего десятилетия XXI в. становится временем осознания значительной частью российского общества исчерпанности “общественного договора”, заключенного с действующей властью в начале 2000-х годов. Это соглашение предполагало в качестве основного пункта обмен экономической и политической стабильности на монопольное право управления властями

страной и распоряжения ее ресурсами [Холодковский 2009: 13]. Его неоднократно оспаривали отдельные социальные группы (прежде всего, городской средний класс), но оно неизменно подтверждалось лояльным голосованием основной массы избирателей. Экономический кризис и внешнеполитическая напряженность, начавшиеся в 2014 г., запустили процесс переосмысления обществом достигнутых ранее “договоренностей”.

Серьезные потрясения первой половины 2020 г. имеют все шансы стать катализатором и интенсификатором окончательной “денонсации” заключенного 20 лет назад “общественного договора”. Нежданная конституционная реформа, волатильность цен на нефть и колебания привязанного к ним курса рубля, пандемия коронавируса COVID-19 вызывают противоречивую реакцию в обществе и демонстрируют отсутствие в нем единого духа по целому ряду ключевых политических вопросов.

Исходя из данных “Левада-Центра”, доля согласных с утверждением, что “дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении”, сократилась с 64% опрошенных в июне 2015 г. до 43% в июне 2020 г. Доля полагающих, что “страна движется по неправильному пути”, за тот же период выросла с 22% до 41%¹. Общественная напряженность, отраженная в результатах этих и других исследований, позволяет с большой степенью уверенности предположить, что отношение к действующей власти будет зависеть от результатов, которых она сможет добиться в борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями². Негативизм по отношению к действиям властей может быть нивелирован их удачными решениями, которые позволят удержать ситуацию с эпидемией COVID-19 под контролем. Если же этого добиться не получится, то, несмотря на общественную поддержку В. Путина, мобилизованную в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, число сомневающихся в правильности проводимой им политики будет быстро увеличиваться, тем более что у многих граждан, помимо пандемии коронавируса, накопилось немало претензий к курсу на сохранение в неизменном виде политико-экономической системы, сформировавшейся в совершенно иной политической и социально-экономической реальности. Задолго до начала пандемии политика “стабильности”, выражающаяся в уклонении от объективно назревших институциональных реформ и сохранении устаревших правил игры, вошла в противоречие с резко ставшим актуальным общественным запросом на перемены. Исследования Института социологии ФНИСЦ РАН³ показывают,

¹ Подробнее см.: Оценка текущего положения дел в стране. — *Левада-Центр*. URL: <https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/> (accessed 06.10.2020).

² Например, см.: Независимая исследовательская группа Белановского. Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г. URL: <http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITICHESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBSHHESTVE-V-2020-g.pdf> (accessed 03.07.2020).

³ Эмпирическую базу настоящей работы составляет массив данных девяти волн Мониторингового исследования “Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах”, проведенного Институтом социологии Федерального научно-исследовательского центра РАН в 2014–2018 гг. Каждая из девяти волн предполагала всероссийский опрос общественного мнения (N = 4000), репрезентирующий население страны по региону проживания, а внутри него — по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения. Также в работе использованы данные всероссийского опроса общественного мнения, проведенного в июне 2019 г. Институтом социологии ФНИСЦ РАН в сотрудничестве с Ассоциацией российских банков по общероссийской выборке (N = 2000), репрезентировавшей население страны по региону проживания, а внутри него — по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения.

что если весной 2016 г. 70% опрошенных ориентировались на стабильность и не стремились к переменам, то к лету 2019 г. доля респондентов, придерживающихся этой точки зрения, сократилась до 43%. В то же время доля сторонников перемен и реформ, наоборот, возросла с 29 до 57%.

Анализу причин актуализации данного запроса и его ключевых содержательных аспектов посвящен ряд недавних публикаций [Петухов 2018; Петухов, Петухов 2019; Волков, Колесников 2019; Зарубина, Носкова 2019]. В рамках исследовательского проекта “Социальная трансформация российского общества: акторы запроса на перемены”, в рабочую группу которого входит автор настоящей статьи, общественный запрос на перемены рассматривается как исходящее от общества в целом или от какой-либо его части сообщение о необходимости активизации экономических, социальных и политических преобразований, адресованное действующей власти и/или другой части общества [Петухов 2018: 40]. В отличие от перестроечных времен, нынешний запрос не радикален и не направлен на ломку привычных устоев жизни общества. Перемены, которых желает значительная часть российского общества, хотя и альтернативны стабильности, но онтологически ее не отрицают, так как в качестве конечной цели имеют сохранение существующего социального, а отчасти и политического устройства страны [Петухов, Петухов 2019: 120-121]. Такие изменения П. Штомпка относит к типу трансмутационных социальных процессов, предполагающих “модификацию, реформацию или пересмотр существующих социальных установок” в целях сохранения существующего общественного устройства за счет его адаптации к меняющимся внешним условиям [Штомпка 1996: 37-39].

Достигнув определенной степени ясности относительно социально-экономического и политического контекста формирования запроса на перемены и заключенного в нем содержания, обратимся к вопросу о том, что влияет на субъективный выбор россиян в пользу перемен или стабильности. Иначе говоря, почему одна часть общества желает перемен, а другая хочет сохранить стабильность, и что за этим стоит.

Одной из первых этим вопросом задалась Н.В. Латова, которая на тех же данных и в рамках того же проекта, что и автор настоящей статьи, исследовала социально-психологический контекст формирования запроса на перемены [Латова 2019]. Проведенный ею анализ социально-демографических (тип поселения, возраст и материальное положение) и социально-психологических характеристик сторонников перемен и приверженцев стабильности позволил прийти к выводу об отсутствии между ними ярко выраженных различий по соответствующим показателям. Исключением является группа опрошенных, определяющих свое материальное положение как “плохое”, среди которых заметно больше респондентов, считающих перемены необходимыми, чем тех, кто выступает за сохранение стабильности [там же: 123]. В целом же Н.В. Латова отмечает, что “сторонники” перемен, во-первых, критичнее настроены к прошлому, настоящему и будущему страны, во-вторых, чаще испытывают неудовлетворенность своим социальным положением в вертикальной структуре общества и, в-третьих, сталкиваются с большими трудностями при реализации своих жизненных планов, чем приверженцы стабильности [там же: 126-130]. По нашему мнению, это может свидетельствовать о том, что выбор в пользу перемен или стабильности не связан определяющим образом с имеющимися в обществе социальными различиями и структурными

особенностями. Перемены, которых желает значительная часть российского общества, носят внутрисистемный характер и нацелены на изменение политики действующей власти. Можно предположить, что решающее влияние на выбор в пользу перемен или стабильности оказывает политико-идеологическая ориентация сторонников той или иной парадигмы развития страны.

Эта гипотеза лежит в основе исследования социально-политических характеристик сторонников перемен, проведенного Ю.В. Латовым [Латов 2019]. Идеологические предпочтения им выявлялись посредством анализа распределения ответов на вопрос о том, какие идеи и лозунги в большей степени соответствуют представлениям респондентов о желаемом будущем России. При этом он исходил из того, что предложенные для выбора варианты ответов связаны с одной из традиционных политических идеологий — либеральной, социалистической, консервативной, националистической или державнической [там же: 18]. Определив таким образом идеологическую ориентацию респондентов, Ю.В. Латов смог проанализировать степень ее влияния на выбор в пользу перемен или стабильности. В результате им был сделан следующий вывод: *“В современной России существует главный вектор желания перемен, который связан с либеральной идеологией, объединяющей вокруг себя также сторонников социалистической и (в меньшей степени) ‘державнической’ идеологий”* [там же: 22].

Не оспаривая сделанные Ю.В. Латовым выводы, считаем слишком сильным допущением его базовую гипотезу, предполагающую, что в условиях постмодерного общества традиционные политические идеологии (такие как консерватизм, либерализм, социализм, анархизм и др.) способны объединять значительное количество людей если не для коллективного действия, то хотя бы для выражения достаточно однородного мнения.

Джордж Гэллуп в своей классической книге “Пульс демократии”, опубликованной в 1940 г., еще мог утверждать, что политические партии и политические связи являются одной из сил “соединяющей гетерогенности общества” [Гэллуп, Рэй 2017: 72]. Однако сразу после завершения Второй мировой войны наступила эпоха “конца идеологии”, когда осмысление западной политической мыслью травмирующего опыта фашизма и сталинизма привело к критике традиционных политических идеологий как изначально закрытых, догматичных и негибких [Eagleton 2014: xii]. Как пишет американский социолог Даниэл Белл в книге “Конец идеологии”, первое издание которой вышло в 1960 г., *“в последнее десятилетие мы стали свидетелями исчерпания идеологий XIX века, особенно марксизма, как интеллектуальных систем, которые могли бы претендовать на истину своих взглядов на мир”* [Bell 1960: 16]. Критическое отношение к традиционным идеологиям переросло в 1970-х годах в пессимизм по поводу демократии, точнее ее западного или либерального варианта [Мюллер 2014: 332–333]. “Конец идеологии” был отложен с приходом в 1980-х годах к власти в Великобритании и США “новых правых”, действовавших в русле неолиберальной идеологии, но уже в этот период в большинстве европейских стран обозначился тренд на снижение явки на выборах и распространение разрозненного (переменного) голосовая [Майр 2019: 45–53], за которыми стоят падение лояльности политическим партиям и общая отчужденность простых людей от политики [Бек 2000: 287–288; Кастельс 2016: 318; Майр 2019: 61 и др.].

В 1990-х годах на фоне краха советской системы и развала биполярного мироустройства на смену традиционным партиям постепенно стали прихо-

дить общественные движения, не имеющие четких идеологических оснований и реагирующие на актуальные социальные проблемы [Штомпка 1996: 339] все более и более узких общественных групп [Фукуяма 2019: 156-157]. В результате, как доказывает Питер Майр, влияние на выбор избирателей стали оказывать не политические или идеологические воззрения, а краткосрочные соображения и желания, приводящие к стихийному и даже произвольному голосованию [Майр 2019: 66]. С конца 1990-х годов политическая система испытывает влияние глобализации, в условиях которой, по мнению Мануэля Кастельса, рождается новая “сетевая” геометрия власти. В информационную эпоху политические институты становятся не столько местами власти, сколько “агентствами по заключению сделок”, а сама политика все больше походит на театр: в ней доминируют манипулирование символами в средствах массовой информации, стратегические игры и персонализированное лидерство, пришедшие на смену классовым объединениям, идеологической мобилизации и партийному контролю, характерным для индустриальной эры [Кастельс 2000: 501-502].

Изменение отношения к политическим партиям наглядно демонстрируют данные шестой волны Международного исследования ценностей (*World Values Survey*)⁴, проводившейся в 2010-2012 гг. Из них следует, что подавляющее большинство респондентов, принявших участие в исследовании во всех включенных в выборку странах, не состояли в политической партии (85%). Среди же “партийных” опрошенных 9,5% оценивали свое участие как неактивное и лишь 4% называли себя активными членами партии.

В современном российском обществе также наблюдаются деидеологизация и упадок массовых политических партий. Согласно данным той же шестой волны Международного исследования ценностей, 97% процентов опрошенных россиян не являются членами политических партий, а из тех, кто все-таки состоит в партии (2%), только 0,5% называют себя их активными участниками. Исходя из данных всероссийского опроса, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в июне 2019 г., приверженцами тех или иных идейно-политических течений считали себя около трети россиян. Сторонниками таких течений, как коммунизм, обновленный социализм, рыночный либерализм, русский национализм, назвали себя 11%, 7%, 6% и 5% респондентов соответственно. Не являются сторонниками какой бы то ни было идеологии 42% опрошенных, еще 17% “стоят за сочетание различных идей, избегая крайних и радикальных”, а 12% затрудняются с ответом.

Деполитизации, понимаемой как “отторжение ‘политики’ как сферы навязываемых пустых идеологий и циничных действий, прикрываемых лицемерной риторикой” [Политика аполитичных... 2014: 19], уделялось и уделяется большое внимание как в отечественной [Прозоров 2012; Бикбов 2012; Политика аполитичных... 2014; Петухов 2014; Вахштайн, Вайзер 2016 и др.], так и в зарубежной литературе [Robertson 2010; Greene 2013; Clément 2015 и др.]. Одним из основных проявлений этого феномена становится отказ от членства в каких бы то ни было политических партиях и других видах формализованного коллективного политического участия. О. Журавлев, исследуя

⁴ *World Values Survey: Round Six – Country-Pooled Datafile Version*. Ed. by R. Inglehart, C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin, B. Puranen et al. 2014. Madrid: JD Systems. Institute. URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp> (accessed 18.09.2020).

феномен постсоветской деполитизации, предлагает использовать понятие “коллективной атомизации”, сутью которой является замыкание в тесных неформальных связях и противопоставление “универсалистским идентичностям и идеологиям” культа частной жизни и потребления [Политика аполитичных... 2014: 28-29].

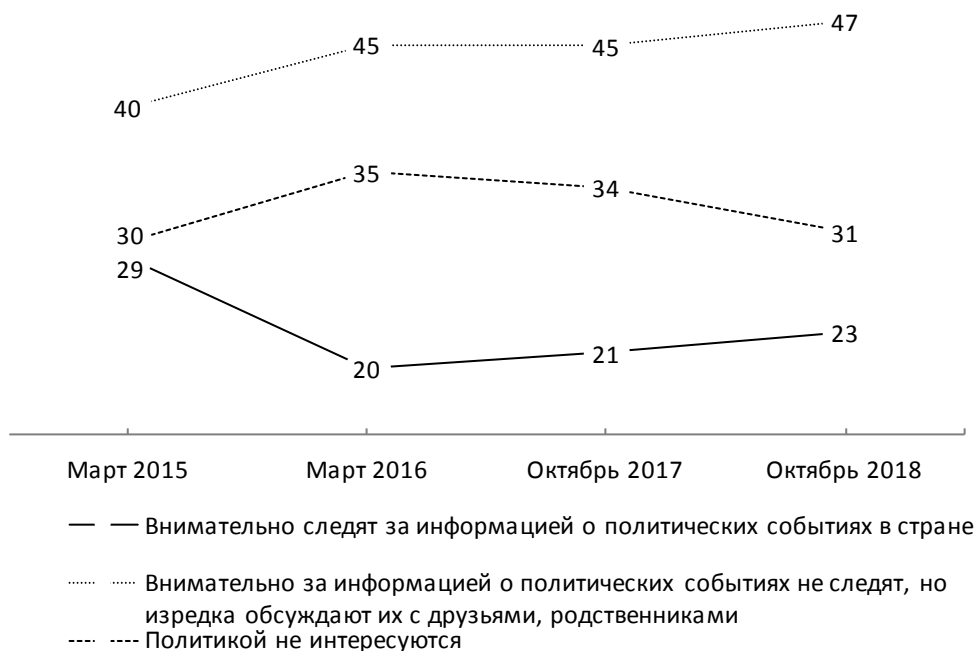
Тем не менее россияне, по крайней мере их значительная часть, все постсоветские годы продолжали ходить на выборы разного уровня, следить за политикой через массмедиа и общаться на политические темы с близкими и друзьями. Например, исходя из данных мониторингового исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, стабильно не интересовались политикой порядка трети респондентов, в то время как большинство опрошенных все-таки следило за политическими событиями с той или иной интенсивностью (см. рис. 1). Количество респондентов, постоянно интересующихся политикой, не опускалось ниже отметки в 20 п.п., а доля следящих за ней в “фоновом режиме” заметно выросла в течение рассматриваемого периода.

Рисунок 1 (Figure 1)

Динамика изменения уровня внимания к информации о политических событиях в стране, 2015-2018 гг., %

Dynamics of Changes in the Level of Attention towards Information about Political Events in the State, 2015-2018, %

108



Увеличение доли респондентов, не фокусирующихся на политической повестке дня, но сохраняющих ее в поле своего зрения, с большой долей вероятности связано с нарастанием в стране общей напряженности, вызванной последствиями экономического кризиса и сложной международной обстановкой. По всей видимости, не менее важен рост российской аудитории

интернета⁵ как инструмента, позволяющего постоянно находиться в курсе событий, происходящих в стране и мире.

Кризис партийной системы и отчуждение простых людей от публичной политики не равнозначны деполитизации общества. Тем не менее ослабление связей между политическими ассоциациями и индивидами неизбежно ведет к снижению уровня идеологической индоктринированности последних. Нюансы политических программ постепенно становятся различимы только для тех, кто профессионально занимается политикой (прежде всего, партийной бюрократии и экспертов-политологов). Еще недавно сложно устроенный спектр политических идеологий постепенно сводится в представлениях обывателей к довольно условному противопоставлению “правых” и “левых” политических сил.

На фоне общей редукции восприятия политического устройства общества сложно ожидать, что главным мотивом выбора в пользу перемен и стабильности станет приверженность той или иной традиционной политической идеологии. Подавляющее большинство российских граждан или никогда не имели, или давно потеряли устойчивую связь с какими-либо политическими партиями, что сводит к минимуму не только вероятность безошибочного определения принадлежности коллективных политических субъектов к той или иной идеологии, но и способность разобратся в том, кто из них сегодня поддерживает перемены, а кто, наоборот, сопротивляется им. И все же политический характер рассматриваемого запроса представляется нам очевидным, а следовательно, должны быть иные политические факторы, оказывающие влияние на этот выбор.

На протяжении всех 2000-х и начала 2010-х годов отношения между властью и обществом строились на негласном соглашении о минимизации вмешательства в дела друг друга. Примат частной жизни, пришедшей на смену советскому формальному коллективизму, свел до минимума интерес российского общества к политике. В значительной степени это было связано с благоприятной экономической конъюнктурой, что позволило многим россиянам, доходы которых в этот момент заметно выросли, заняться благоустройством собственной жизни, а властям — на фоне массовой деполитизации — фактически монополизировать публичную политику.

Начиная с 2014 г. ситуация в стране стала меняться. В результате экономического и внешнеполитического кризисов у государства довольно быстро закончились ресурсы для поддержания ранее достигнутого уровня жизни, что помимо всего прочего привело к росту фискальной нагрузки на граждан. Но проблема была не столько в непопулярных экономических мерах (налоговые изменения, повышение пенсионного возраста, меры по выводу из налоговой “тени” самозанятых и т.п.), сколько в том, что решения и действия властей стали влиять на их повседневную жизнь. Например, “контрсанкции”, принятые в ответ на санкционные меры западных стран, введенные после присоединения Крыма к Российской Федерации, самым непосредственным образом повлияли на потребительские привычки многих россиян. Примерно в это же время власти предприняли ряд шагов по некоторому ограничению гражданских прав и свобод как политического (свободы распространения информации в интернете, права на митинги, шествия, демонстрации и т.п.),

⁵ Аудитория Рунета выросла на 7% за три года. — *Media Scope*. 17.04.2019. URL: <https://mediascope.net/news/1035826/> (accessed 15.09.2020).

так и неполитического (ограничение интернет-торговли, требования к организациям ИТ-сферы и др.) характера. Такого рода интервенции публичной политики в частную жизнь показали иллюзорность автономии частного от публичного, и именно с этого момента опросы общественного мнения стали фиксировать формирование запроса на перемены.

Политический характер⁶ запроса на перемены проявляется прежде всего в осознании невозможности изоляции частной жизни от политических решений действующей власти. Однако этот тезис неизбежно вызывает вопрос о том, почему у одной части общества переосмысление связи частного и публичного рождает желание перемен, а для другой в цене по-прежнему стабильность. Представляется, что настолько разная реакция объясняется появлением в современной России достаточно широкой прослойки самостоятельных, или, по выражению М.К. Горшкова и Н.Н. Седовой, “самодостаточных россиян”, “*принимающих ответственность за происходящее в жизни, уверенных в способности обеспечить себя и свою семью и не нуждающихся в поддержке государства*” [Горшков, Седова 2015: 6], а также наличием не менее многочисленных групп и слоев, ориентированных на государственную поддержку и пассивную адаптацию к окружающей действительности. Что касается “самодостаточных россиян”, то эта довольно многочисленная часть общества не гомогенна по своей внутренней структуре и включает представителей разных социальных страт и групп. Их отличительными чертами являются высокий уровень жизненных притязаний и стремление активно себя реализовывать, не рассчитывая на “патронаж” государства. При этом до последнего времени ориентированная на самодостаточность часть российского общества в своей массе оставалась вполне лояльной действующей власти [Петухов, Петухов 2019: 130].

“Самодостаточность” не равнозначна стремлению “выйти” из государства и отказу от предоставляемых им благ и услуг. Скорее, наоборот, это следствие неспособности современного российского государства предоставить необходимый объем “общественных благ” всем его гражданам. В качестве примера можно привести практику перехода на платную частную медицину, получившую широкое распространение, как минимум, в средних слоях российского общества ввиду деградации формально бесплатного государственного здравоохранения [Грот, Сажина, Шишкин 2018]. “Самодостаточность” не является какой-то особой антиэтатистской политико-идеологической установкой, просто для значительной части общества действующая власть перестала быть непререкаемым авторитетом, а государственные интересы перестали быть приоритетными по отношению к интересам отдельных граждан. Например, по данным опроса, проведенного в рамках Мониторингового исследования Института социологии ФНИСЦ РАН осенью 2018 г., только 27% респондентов с высшим образованием, специалистов в разных сферах и областях жизни (медицина, образование, культура, управление, медиа и т.д.), согласились с тем, что “интересы государства должны преобладать над правами отдельного человека”, при 40% не согласившихся и 33% затруднившихся ответить в этой группе. Среди студентов разрыв между соответствующими группами еще больше — 18% за

⁶ “Политика” при этом понимается в значении, близком к англоязычному термину *policy*, который В.Я. Гельман предлагает определять как механизм управления государством и способ разработки и реализации политического курса в различных сферах, различая его с термином *politics*, понимаемым как борьба за завоевание и удержание политической власти [Гельман 2019: 9].

преобладание интересов государства над правами отдельного человека, против этого — 43%. Именно для этих людей автономия частной сферы от публичной политики является настолько значимой ценностью, что ее нарушение может заставить переоценить ситуацию в стране и пробудить желание перемен.

Чтобы эмпирически подтвердить степень заинтересованности самодостаточной части российского общества в переменах, обратимся к результатам опроса, проведенного в рамках Мониторингового исследования Института социологии ФНИСЦ РАН в октябре 2018 г., данные которого позволяют выделить группы респондентов с самодостаточными и патерналистскими (несамодостаточными) установками, а затем проверить распределение в этих группах сторонников перемен и приверженцев стабильности.

Выделение указанных групп базируется на различиях в последовательном выборе респондентами из четырех пар ценностных суждений, каждая из которых представляет собой дилемму, одна часть которой соответствует “самодостаточной” установке, а вторая — “патерналистской” (см. табл. 1). Группа “самодостаточных” конструировалась из опрошенных, выбравших хотя бы три из четырех суждений из левой колонки, а группа “патерналистов” — также хотя бы три, но из правой. Также была выделена промежуточная группа, к которой были отнесены те, кто выбирал суждения как из “самодостаточного”, так и из “патерналистского” набора. В результате “самодостаточная” часть опрошенных, выделенная по указанным выше основаниям, составила 49%, “патерналистски” ориентированная — 24% и еще 27% респондентов оказались в “промежуточной” группе.

Таблица 1 (Table 1)

**Пары ценностных суждений, использованные для выделения
“самодостаточной”, “патерналистской”, “промежуточной” групп**
*Pairs of Value Judgments Used to Distinguish
“Self-Sufficient”, “Paternalistic”, and “Intermediate” Groups*

Установка на самодостаточность	Установка на патернализм
Первая пара суждений	
Смогу сам обеспечить себя и свою семью и не нуждаюсь в поддержке со стороны государства	Без поддержки со стороны государства мне и моей семье не выжить
Вторая пара суждений	
Главное – это инициатива, предприимчивость, поиск нового в работе и жизни, даже если оказываешься в меньшинстве	Главное – это уважение сложившихся обычаев, традиций
Третья пара суждений	
Нужно активно бороться за свои интересы и права	Нужно уметь приспосабливаться к реальности, а не тратить силы на борьбу с ней
Четвертая пара суждений	
Личные интересы – это главное для человека	Людям следует ограничивать свои личные интересы во имя интересов страны и общества

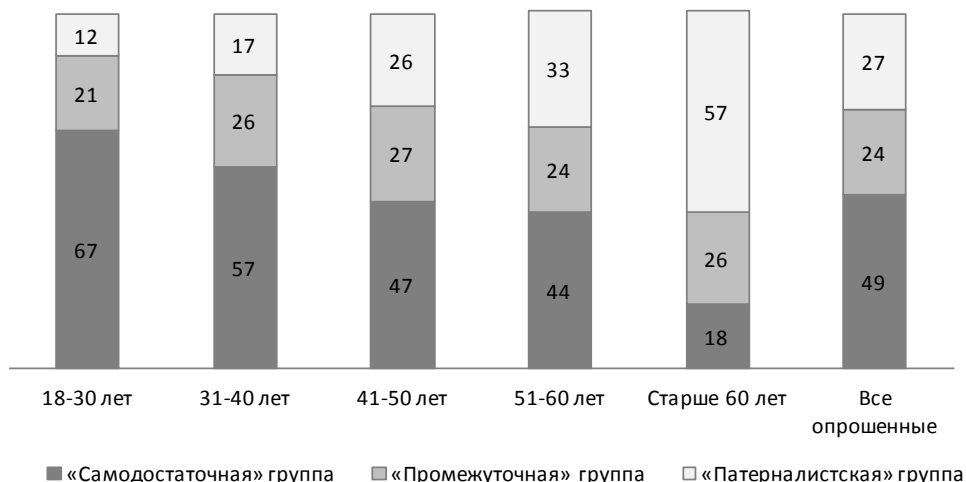
Анализ показал, что в современной России “самодостаточное” мировосприятие характерно прежде всего для молодых, хорошо обеспеченных и образованных людей. Так, в самых молодых возрастных когортах (18-30-летних

и 31–40-летних) на 18 и 8 п.п. соответственно больше “самодостаточно” ориентированных респондентов, чем в целом по выборке (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Представители “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” групп
в разных возрастных когортах, 2018 г., %

*Prevalence of the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups
Among Different Age Cohorts, 2018, %*



Тем не менее имеющиеся данные не позволяют говорить, что между самодостаточной и патерналистски ориентированной частью общества пролегла ценностная пропасть. По ряду актуальных политических позиций есть определенные различия, но не слишком значительные. Например, отношение к властям. В целом представители обеих частей общества — лояльные граждане. Как в “патерналистской”, так и в “самодостаточной” группах свыше 60% полагают, что “при всех недостатках нынешняя власть в России заслуживает поддержки” (что, собственно, и было продемонстрировано в ходе голосования по поправкам в Конституцию).

Единодушие также наблюдается и в вопросе о перспективности пути, по которому развивается современная Россия: 57% в обеих группах полагают, что в будущем страну ждут положительные результаты. Представляется, что схожесть оценок в исследуемых группах может быть объяснена тем, что для многих людей психологически сложно признать бесперспективность пути развития, выбранного в начале 2000-х годов. Однако данные о динамике изменения оценок россиянами перспективности или тупиковости курса, по которому развивается страна, говорят о существенном сокращении доли оптимистов. Их доля за период с октября 2014 г. по октябрь 2018 г. сократилась на 20 п.п. (с 75% до 55%), а доля пессимистов, напротив, выросла с 25% до 43% (см. рис. 3).

Что же касается заметных расхождений во мнениях между исследуемыми группами, то они выявились в выборе приоритетных направлений развития страны. Из табл. 2 видно, что в “самодостаточной” группе заметно больше сторонников модернизационного пути развития и курса на европейскую интеграцию, чем в двух других группах. И, напротив, приверженцев возвращения к традиционному укладу жизни и евразийского вектора цивилизационного развития больше

в патерналистской и в промежуточной группах. Несколько менее статистически значимы различия в выборе между достижением великодержавного статуса, перспективе которого немного больше симпатизируют в “патерналистской” группе, и обеспечением благосостояния граждан, необходимость которого чаще поддерживается респондентами с “самодостаточным” мировоззрением.

Рисунок 3 (Figure 3)

Динамика суждений россиян о приоритетных направлениях развития России, 2014-2018, %
Dynamics of the Citizens' Judgments about the Priority Directions of Russia's Development, 2014-2018, %



Проведенные нами сравнения условно “самодостаточной” и “патерналистской” групп, а также выводы, сформулированные другими авторами, исследующими феномен самодостаточности [Седова 2019; Мареева 2015], позволяют сделать вывод, что это мировоззрение присуще представителям модернизированной части российского общества, ориентированной на общемировые стандарты жизни и заинтересованной в интеграции страны в западный мир. Важной отличительной чертой “самодостаточных” россиян является перспективность мышления. Они мыслят в категориях развития, чаще воспринимая будущее как время возможностей, чем источник угроз и неопределенности. Среди “самодостаточных” заметно больше тех, у кого мысли о будущем вызывают чувство уверенности в том, что все будет хорошо, чем в целом по выборке, и значительно больше, чем у опрошенных из “патерналистской” группы (см. табл. 3).

Перспективное видение будущего отличает самодостаточную часть общества от его патерналистской части, которая стремится свести риски к минимуму и зафиксировать сегодняшнее положение дел. Представляется, что именно перспективное мышление, а точнее увеличение числа людей, смотрящих в будущее не только со страхом, но и с надеждой, стало одним из тех механизмов, которые запустили процесс формирования запроса на перемены.

Это предположение в целом подтверждается данными исследований. Как показано в табл. 4, среди сторонников перемен заметно больше, чем в среднем по выборке, респондентов с “самодостаточным” мировоззрением (58% против 49%) и, напротив, заметно меньше представителей “патерналистской” группы (19% против 27%). Для приверженцев стабильности характерно прямо противоположное распределение: среди них заметно меньше, чем в среднем по выборке, опрошенных, отнесенных к “самодостаточной” группе, и больше — “патерналистов” (39% против 49% и 36% против 27%, соответственно).

Таблица 2 (Table 2)

Распределение выбора между приоритетными направлениями развития России в “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” группах, 2018 г., %⁷
The Choice's Distribution of the priority directions of the Russia's Development among the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups, 2018, %

Цели, к которым должна стремиться Россия в XXI в.	“Самодостаточная” группа	“Промежуточная” группа	“Патерналистская” группа	Все опрошенные
Необходимо возвращение к национальным традициям, моральным ценностям, проверенным временем	41	60	70	54
Необходимо движение вперед, к современной экономике и образу жизни, без оглядки на традиции прошлого	59	40	30	46
При всех своих недостатках нынешняя власть в России заслуживает поддержки	60	61	66	62
Нынешняя власть должна быть заменена	40	39	34	38
Россия – часть Европы. В XXI в. она будет теснее всего связана именно с этим регионом мира	56	46	37	48
Россия не является в полной мере европейской страной. Это особая евразийская цивилизация, и в будущем центр ее политики будет смещаться на Восток	44	54	63	52
Россия должна быть великой державой, с мощными вооруженными силами	46	49	52	49
Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а возрождение великой державы с военной мощью сегодня менее важно	54	51	48	51
Путь, по которому идет современная Россия, даст в перспективе положительный результат	57	51	57	55
Путь, по которому идет современная Россия, ведет страну в тупик	43	49	43	45

Безусловно, нельзя обойти вниманием тот факт, что немалое число представителей “самодостаточного” мировоззрения ориентируются на стабильность, а не на перемены (39%). Это, как представляется, не опровергает общий вывод о том, что именно указанная часть общества выступает драйвером формирования запроса на перемены. “Самодостаточная” часть общества – это не социальный монолит, а совокупность представителей разных групп и слоев, объединяет которых установка на независимость от государства, инициативность и нацеленность на обеспечение собственного интереса. Эта позиция характерна как для молодых поколений россиян, так и для людей среднего и даже старшего возраста, многие из которых являются бенефициарами “сытых 2000-х” и в силу обретенного тогда материального благополучия и статуса продолжают сохранять ориентацию на стабильность и опасаться каких-либо перемен. Молодежь и городской средний класс, ценности и образ жизни которых ориентированы на “западные” потребительские стандарты, в значительно большей степени, чем другие социальные страты и группы, склонны испытывать дискомфорт и опасения от вторжения публичной политики в их частную жизнь.

⁷ Здесь и далее заливкой выделены значения, превышающие общее по выборке более чем на величину статистической погрешности в 2–3%.

Таблица 3 (Table 3)

Реакция на размышления о своем будущем
в “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” группах респондентов, 2018 г., %
The Reaction on the Reflection about the Future
among the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups, 2018, %

Какие чувства испытывают россияне, думая о своем будущем	“Самодостаточная” группа	“Промежуточная” группа	“Патерналистская” группа	Все опрошенные
Беспокойство	25	29	31	28
Надежда	21	21	23	22
Отчаяние	2	3	5	3
Вера в то, что все будет хорошо	38	31	27	33
Страх	4	6	4	4
Ярость	0	1	1	0
Спокойствие	6	5	6	6
Затруднились ответить	4	5	3	4

Таблица 4 (Table 4)

Распределение представителей “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” групп среди сторонников перемен и приверженцев стабильности, 2018, %
The Proportion of the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups Among the Citizens, Who Support the Changes or Stability, 2018, %

Отношение к переменам “самодостаточных”, “патерналистски ориентированных” и “промежуточных” групп респондентов	Да, страна нуждается в существенных переменах, нужны новые реформы в экономической и политической жизни страны	Нет, страна нуждается в стабильности, это важнее, чем перемены	Все опрошенные
“Самодостаточная” группа	58	39	49
“Промежуточная” группа	23	25	24
“Патерналистская” группа	19	36	27

Таким образом, размежевание общества на “партию перемен” и “партию стабильности” является одним из аспектов более фундаментального разделения общества на две примерно сопоставимые части, одна из которых обращена в будущее, отличается высоким уровнем жизненных притязаний и привыкла опираться на собственные силы, в то время как вторая живет сегодняшним днем (а нередко и вчерашним), реализует адаптивную стратегию выживания и сильно зависима от государственной поддержки. В течение долгого времени эта патерналистски ориентированная часть российского общества была преобладающей с точки зрения как количества, так и потенциального влияния на действия властей. Но “самодостаточная” часть общества в последние годы заметно выросла и стала претендовать не только на то, чтобы ее интересы и мнение учитывались политической элитой, но и на непосредственное участие в управлении страной. Вероятно, что актуализация запроса на перемены — одно из проявлений этого во многом еще латентного процесса.

Важно подчеркнуть, что “граница” между “самодостаточной” частью общества и той, которая в качестве жизненной стратегии выбирает пассивное приспособление к окружающей ее реальности, так же как и “граница” между

сторонниками перемен и приверженцами стабильности, весьма условна. У каждого человека свои резоны и обстоятельства, обуславливающие то или иное отношение к собственной жизни и к тому, что происходит в стране в целом. Среди “самодостаточных” людей немало и тех, кто не заинтересован ни в каких переменах, так как его вполне устраивает нынешнее положение дел. И это нормально, поскольку в обществе должны присутствовать как активно ориентированные группы, так и те, кто склонен к более спокойной модели самореализации.

Представляется, что распространение в российском обществе, с одной стороны, установки на самодостаточность, а с другой — перспективного видения будущего стало движущей силой формирования запроса на перемены. Этот запрос пока имеет форму политического высказывания, адресатом которого является действующая власть. Это высказывание не имеет традиционной политико-идеологической “окраски” и, по всей видимости, близко к тому, что Фукуяма называет политикой ресентимента [Фукуяма 2019: 30–33]. В ее основе лежит особая идентичность, сформированная вокруг эмоциональной реакции части общества на вторжение публичной политики в ранее автономную частную жизнь индивидов. Носители этой идентичности ощущают недопредставленность своих интересов в решениях и действиях властей, а также разочарование от обманутых надежд. Чем дольше эта ситуация будет продолжаться, тем больше вероятность трансформации чувства ресентимента в коллективные действия по отстаиванию своего видения будущего.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.08](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.08)

THE REQUEST FOR CHANGE: POLITICAL AND VALUE DIMENSION

R.V. Petukhov¹

¹*Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

PETUKHOV, Roman Vladimirovich, Cand. Sci. (Law), Senior Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, email: petuhovrv@yandex.ru

Petukhov R.V. The Request for Change: Political and Value Dimension. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 103–118. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.08>

This article was prepared with the support of the Russian Federal Property Fund, the project “Social Transformation of Russian Society: Actors of the Request for Change” No. 19 011 00277.

Received: 21.04.2020. Accepted: 17.07.2020

Abstract. The social perturbations during the first half of 2020s demonstrated the contradictions that were accumulating in Russian society over recent years. One aspect of social disengagement is the peculiar attitude of different social groups and strata towards the long-term course of the contemporary government about maintaining stability; this term is understood as the pathway that preserves the existing political and economic system and “the rules of the game”. Sociological data from monitoring studies by the Institute of Sociology of the FCTAS (RAS) demonstrates that Russian society is divided into approximately two equal parts: one wishes for change, and believes that the shortage of serious economic and social reforms will cause the state to stagnate; the other wants to maintain stability and believes that transformations should not be rushed, having no information about the results thereof. The reasons why public demands for change have formed have already been analyzed by the working group of the research project “Social Transformation of Russian Society: the Actors of the Request for Change,”. Therefore, the author of this article focuses on the identification of the factors that influence subjective choice in favor of change or stability. The analysis demonstrates that such a choice is determined by political, not by social, differences between the supporters of either changes or of stability. These manifest, predominantly, when many Russians are aware that the border between private and public in modern Russia is illusory. The author, applying the sociological data, demonstrates the correlation between the increase of the number of “self-sufficient Russians” and the formation of a request for change. The combination of this attitude with a prospective vision of the future becomes a key factor that forces the desire

for change. The social request for changes, which is not accepted by the authorities, forms a special identity that can transform the sense of resentment into a collective action to uphold one's vision of the future.

Keywords: request for change, social stability, social change, democracy, civic participation, political and social activity, self-sufficient, perspective thinking.

References

- Bell D. 1960. *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. New York: Free Press.
- Clément K. 2015. *Unlikely Mobilisations: How Ordinary Russian People Become Involved in Collective Action*. — *European Journal of Cultural and Political Sociology*. Vol. 2. No. 3-4. P. 211-240. <https://doi.org/10.1080/23254823.2016.1148621>
- Eagleton T. 2014. *Ideology*. London; New York: Routledge; Taylor and Francis.
- Greene S.A. 2013. Beyond Bolotnaia: Bridging Old and New in Russia's Election Protest Movement. — *Problems of Post-Communism*. Vol. 60. No. 2. P. 40-52. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216600204>
- Robertson G. 2010. *The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in Post-Communist Russia*. Cambridge University Press.
- Beck U. 2000. Risk Society: Towards a New Modernity. (Russ. ed.: Beck U. *Obshestvo riska. Na puti k drugomu modernu*. Moscow: Progress-Tradiciya. 384 p.)
- Bikbov A. 2012. The Methodology of Studying "Spontaneous" Street Activism (Russian Protests and Street Camps, December 2011 – July 2012). — *Laboratorium: Russian Review of Social Research*. Vol. 4. No. 2. P. 130-163. (In Russ.)
- Castells M. 2000. The Information Age: Economy, Society and Culture. (Russ. ed.: Castells M. *Informacionnaya epoha: ekonomika, obshchestvo i kultura*. Moscow: The Higher School of Economics Publishing House).
- Castells M. 2016. Communication Power. (Russ. ed.: Castells M. 2016. *Vlast kommunikacii*. Moscow: The Higher School of Economics Publishing House).
- Fukuyama F. 2019. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. (Russ. ed.: Fukuyama F. *Identichnost': Stremlenie k priznaniyu i politika nepriyatiya*. Moscow: Alpina Publ.).
- Gallup G., Rae S.F. 2017. The Pulse of Democracy: The Public Opinion Poll and How it Works. (Russ. ed.: Gallup G., Rae S.F. *Puls demokrati. Kak rabotayut oprosy obshchestvennogo mneniya*. Moscow: VCIOM).
- Gelman V.Y. 2019. "Nedostojnoe pravlenie": politika v sovremennoj Rossii ["Bad Governance": Politics in Contemporary Russia]. St. Petersburg: EUSP Press. (In Russ.)
- Gorshkov M.K., Sedova N.N. 2015. "Self-sufficient" Russians and their life priorities. *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 12. P. 4-16. (In Russ.)
- Grot A.V., Sazhina S.V., Shishkin S.V. 2018. Medical Care Seeking in the Public and Private Health Sectors (According to Sociological Surveys). — *Social Aspects of Population Health*. No. 5. (In Russ.) <https://doi.org/10.21045/2071-5021-2018-63-5-1>
- Kholodkovskii K.G. 2009. To the Question of the Political System of Modern Russia. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 7-22. (In Russ.)
- Latov Yu.V. 2019. Ideological Vectors and Scalars of Action for Proponents of Change. — *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 12. P. 15-28. (In Russ.) <https://doi.org/10.31857/S013216250007738-4>
- Latova N.V. 2019. The Actors of the Request for Institutional Changes in Modern Russia (the Sociopsychological Context). — *Journal of Institutional Studies*. Vol. 11. No. 3. P. 119-134. (In Russ.) <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2019.11.3.119-134>
- Mair P. 2019. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. (Russ. ed.: Mair P. *Upravlyaya pustotoj: razmyvanie zapadnoj demokratii*. Moscow: Gaidar Institute Press).
- Mareeva S.V. 2015. Values in Modern Russian Society. — *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 50-65. (In Russ.) <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.4.03>
- Muller J.-W. Contesting Democracy. (Russ. ed.: Muller J.-W. *Spory o demokratii: Politicheskie idei v Evrope XX veka*. Moscow: Gaidar Institute Press).
- Petuhov V.V. 2014. Pokolenie "nulevyh": ideologicheskie ustanovki i politicheskoe uchastie v Rossii [2000s Generation: Ideological Attitudes and Political Participation in Russia]. — *Rossiya i Kitaj: molodezh' XXI veka [Russia and China: Youth of the XXI Century]*. Ed. by M.K. Gorshkov, Li CHunlin', Z.T. Golenkova, P.M. Kozyreva. Moscow: Novyy khronograf. P. 239-259. (In Russ.)
- Petuhov V.V. 2018. Dynamics of the Social Attitudes of the Russia's Citizens and Making of a Public Demand for Change. — *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 11. P. 40-53. (In Russ.)
- Petuhov V.V., Petuhov R.V. 2019. Request for Change: Factors and Causes of its Actualization, Key Components, and Potential Carriers. — *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 119-133. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps.2019.05.09>
- Politika apolitichnyh: social'nye dvizheniya v Rossii 2011-2013 gg.* [Politics of the Apolitical: Social Movements in Russia 2011-2013]. 2014. Ed. by S.V. Erpyleva, A.V. Magun. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)
- Prozorov S. 2012. The Second End of the Story: The Politics of Inaction from Perestroika to Putin. — *Neprikosnovennyj Zapas*. No. 2. (In Russ.) URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyj_zapas/82_nz_2_2012/article/18687/ (accessed 25.01.2020).
- Sedova N.N. 2019. Activism in the Worldview of Russians. — *Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika* Vol. 7. No. 4. P. 9-25. (In Russ.) <https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6796>

- Sztompka P. 1996. The Sociology of Social Change. (Russ. ed.: Sztompka P. *Sotsiologiya sotsial'nykh izmenenii*. Moscow: Aspect Press).
- Vakhshayn V., Vaizer T. 2016. Communities and Communication: The Transformation of the Social Formation of Solidarity Mechanisms. Moscow: RANEP. (In Russ.) URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2807018#references-widget (accessed 02.02.2020).
- Volkov D., Kolesnikov A. 2019. *My zhдем peremen — 2. Pochemu i kak formiruetsya spros na radikal'nye izmeneniya* [We are Waiting for Changes — 2. Why and How the Demand for Radical Change is Generated]. Moscow: Carnegie Endowment for International Peace. (In Russ.)
- Zarubina N.N., Noskova A.V. 2019. *Images of Russia: Reflecting on the Eras of Change*. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 173–183. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.13>

Литература на русском языке

- Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция.
- Бикбов А. 2012. Методология исследования “Внезапного” уличного активизма (российские митинги и уличные лагеря, декабрь 2011–июнь 2012). — *Laboratorium: Журнал социальных исследований*. Т. 4. № 2. С. 130–163.
- Вахштайн В.С., Вайзер Т.В. 2016. *Сообщества и коммуникация: трансформация социальных механизмов формирования солидарности*. М.: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2807018#references-widget (accessed 19.09.2020).
- Волков Д., Колесников А. 2019. *Мы ждем перемен — 2. Почему и как формируется спрос на радикальные изменения*. М.: Фонд Карнеги за Международный Мир.
- Гельман В.Я. 2019. *“Недостойное правление”: политика в современной России*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Горшков М.К., Седова Н.Н. 2015. “Самодостаточные” россияне и их жизненные приоритеты. — *Социологические исследования*. № 12. С. 4–16.
- Грот А.В., Сажина С.В., Шишкин С.В. 2018. Обращаемость за медицинской помощью в государственный и частный секторы здравоохранения (по данным социологических исследований). — *Социальные аспекты здоровья населения*. № 5. <https://doi.org/10.21045/2071-5021-2018-63-5-1>
- Гэллах Дж., Рэй С.Ф. 2017. *Пульс демократии. Как работают опросы общественного мнения*. М.: ВЦИОМ.
- Зарубина Н.Н., Носкова А.В. 2019. Образы России: размышляя об эпохах перемен. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 173–183. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.13>
- Кастельс М. 2000. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М.: ГУ ВШЭ.
- Кастельс М. 2016. *Власть коммуникаций*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Латов Ю.В. 2019. Идеологические векторы и скаляры действий сторонников перемен. — *Социологические исследования*. № 12. С. 15–28. <https://doi.org/10.31857/S013216250007738-4>
- Латова Н.В. 2019. Акторы запроса на институциональные перемены в современной России (социально-психологический контекст). — *Journal of Institutional Studies*. Т. 11. № 3. С. 119–134. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2019.11.3.119-134>
- Майр П. 2019. *Управляя пустотой: размывание западной демократией*. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Мареева С.В. 2015. Ценностная палитра современного российского общества. — *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. № 4. С. 50–65. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.4.03>
- Мюллер Я.-В. 2014. *Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века*. М.: Изд. Института Гайдара.
- Петухов В.В. 2014. Поколение “нулевых”: идеологические установки и политическое участие в России. — *Россия и Китай: молодежь XXI века*. Отв. ред. М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. М.: Новый хронограф. С. 239–259.
- Петухов В.В. 2018. Динамика социальных настроений россиян и формирование запроса на перемены. — *Социологические исследования*. № 11. С. 40–53.
- Петухов В.В., Петухов Р.В. 2019. Запрос на перемены: причины актуализации, ключевые слагаемые и потенциальные носители. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 119–133. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.09>
- Политика аполитичных: социальные движения в России 2011–2013 гг.* 2014. Под ред. С.В. Ерпылевой, А.В. Магуна. М.: Новое литературное обозрение.
- Прозоров С. 2012. *Второй конец истории: политика бездействия от Перестройки до Путина — Неприкосновенный запас*. № 2 (82). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/82_nz_2_2012/article/18687/ (accessed 25.01.2020).
- Седова Н.Н. 2019. Самодостаточность и активизм в мировоззренческих установках россиян. — *Социологическая наука и социальная практика*. Т. 7. № 4. С. 9–25. <https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6796>
- Фукуяма Ф. 2019. *Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия*. М.: Альпина Паблишер.
- Холодковский К.Г. 2009. К вопросу о политической системе современной России. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 7–22. URL: <https://www.poliistudies.ru/article/4102> (accessed 20.09.2020).
- Штомпка П. 1996. *Социология социальных изменений*. М.: Аспект Пресс.

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.09

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭЛИТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (на примере муниципалитетов Пермского края)

С.Н. Шкель

ШКЕЛЬ Станислав Николаевич, доктор политических наук, профессор департамента политологии и международных отношений, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Санкт-Петербург, email: stas-polit@yandex.ru

Шкель С.Н. Политические установки муниципальных элит в современной России (на примере муниципалитетов Пермского края). — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 119–134. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.09>

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 18-411-590012 “Политико-институциональные характеристики муниципалитетов и качество распределения публичных благ на местном уровне: опыт Пермского края”. Автор благодарит за поддержку Программу развития партнерских кафедр Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Статья поступила в редакцию: 12.10.2019. Принята к публикации: 08.06.2020

Аннотация. В статье изучаются политические установки локальных политических элит. Автор использует данные полуформализованных интервью с муниципальными депутатами и главами администраций городов и районов Пермского края, чтобы выявить факторы, определяющие разные позиции политиков по вопросу отмены прямых выборов мэров и муниципальных глав. Результаты анализа показали, что успешный опыт электоральной борьбы не влияет на политические установки и не является достаточным основанием для формирования демократических ценностей. Расчет данных методом точного критерия Фишера показал статистически значимую взаимосвязь между политическим статусом (инсайдера или аутсайдера) и политическими установками локальных элит. Содержательный анализ собранных интервью позволил систематизировать ключевые аргументы легитимации демократических и недемократических порядков.

Ключевые слова: выборы, политические элиты, локальная политика, демократические практики, авторитарные практики, муниципалитеты, российская политика, Пермский край.

ВВЕДЕНИЕ

Демократия или “экспертократия” — что лучше для эффективного управления? Со времен Платона и Аристотеля этот вопрос остается дискуссионным и вызывает споры среди как политиков, так и ученых¹. Между тем устойчивость

¹ Хотя сегодня термин “экспертократия” получает все более широкое распространение в смысле особого типа управления, основанного на медийной инфраструктуре и превращении информации в капитал [Акшерев 2009], в данной статье я использую этот термин скорее следуя политологической (а не социологической) научной традиции. Экспертократия в данном случае понимается как набор особых правил селекции политических элит, которые позволяют занимать властные позиции и принимать управленческие решения наиболее компетентным (образованным, опытным) лицам без каких-либо ограничений со стороны демократического большинства. Хотя ни Платон, ни Аристотель не используют дословно данный термин, критика Афинской демократии как “власти черни” в трудах Аристотеля, равно как и идеал государственного устройства Платона в виде аристократической республики во главе с просвещенными философами, явно указывают на симпатии античных мыслителей к экспертократии. Более подробный обзор дискуссии в рамках развития политической мысли между сторонниками демократии и защитниками “власти попечителей” (экспертократии) представлен в работе Р. Даля “Демократия и ее критики” [Dahl 1989].

политического порядка во многом зависит от того, насколько он легитимен в глазах элиты и широких слоев населения. В политической науке распространен тезис, согласно которому демократизация есть результат консенсуса политических элит относительно демократических правил и процедур [Burton, Higley 2001; Brown 2001]. В авторитарных режимах работа институтов в не меньшей степени зависит от их принятия со стороны членов “выигрышной коалиции” (*the winning coalition*) [Bueno De Mesquita et al. 2003: 51]. Глобальный процесс “третьей волны демократизации” [Huntington 1991] предоставил обширный эмпирический материал для тестирования теорий о роли политических ценностей элит и масс в консолидации демократии. В то же время до сих пор мы крайне мало знаем о влиянии этого фактора на противоположный тренд в виде движения от демократии к новым формам автократии. Когда демократические практики девальвируются и мнение большинства народа перестает напрямую влиять на власть, новые “правила игры” требуют поддержки со стороны ключевых сегментов элит. Почему элиты соглашаются на демонтаж демократии или, напротив, оппозируют автократическим тенденциям? Этот исследовательский вопрос настоящей статьи важен для понимания причин эрозии демократии и успешной инсталляции альтернативных ей управленческих практик.

Вопросы классификации политических режимов и выделения конкретных критериев, позволяющих отделить демократию от авторитаризма, в политической науке остаются крайне дискуссионными [Collier, Levitsky 1997; Munck, Verkuilen 2002; Electoral Authoritarianism 2006; Levitsky, Way 2010]. Основная линия дебатов связана с вопросом о роли народа и меры его реального участия в государственном управлении, которые в достаточной степени позволяли бы определить политический режим как демократический без всяких оговорок. Не углубляясь в детали указанной дискуссии, отмечу, что среди большинства ученых, несмотря на разность их методологических подходов к сущности и природе демократии, есть консенсус относительно того, что ядром любой модели демократии являются всенародные выборы [Alvarez et al. 1996]. И хотя наличие выборов еще не говорит о наличии демократии, без них народ не может выполнять свои представительские или любые иные политические функции, что позволяет любой политический режим в отсутствии всенародных выборов причислять к разряду авторитарных [Howard, Roessler 2006]. Следовательно, вне зависимости от оценок конкретного политического режима, любая отмена уже существующих демократических выборов может быть рассмотрена как авторитарная тенденция.

Опыт России в этом смысле познавателен, поскольку демонстрирует отказ от прямых выборов губернаторов (в 2004 г.) и муниципальных глав (2015–2016 гг.). С 2012 г. прямые выборы глав регионов хоть и с существенным ограничением в виде “муниципального фильтра” были возвращены. Но на локальном уровне наблюдается противоположный тренд. С 2015 г. российские губернаторы получили возможность отменять прямые выборы глав муниципалитетов, чем стали активно пользоваться. В результате если к 2012 г. более половины мэров российских городов избирались на прямых выборах [Buckley et al. 2014], то к 2018 г. таковых осталось лишь 11%².

² Мониторинг развития системы местного самоуправления (2018–2019 гг.). — *Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации*. URL: <https://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya> (accessed 07.03.2020).

В статье на основе опроса политических элит семи муниципалитетов Пермского края я анализирую их отношение к отмене прямых выборов и предлагаю объяснение существующих вариаций в оценке этих политических реформ со стороны различных сегментов локальных элит.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК РОССИЙСКИХ ЭЛИТ

Анализ политических установок элит в недемократических режимах сопряжен с рядом трудностей, связанных с закрытостью представителей власти. Вместе с тем, после либерализации российского политического режима в начале 1990-х годов ученые все чаще стали использовать опросы элит для изучения их ценностей и установок [Gel'man, Tarusina 2000; Rivera, Zimmerman 2019]. Появились исследования, рассматривающие трансформационные процессы в элитных кругах [Ершова 1994; Крыштановская 2005], степень приверженности элит демократическим ценностям [Головачев, Косова 1995; Российская элита... 1995; Steen 2002], соотношение элитарных установок с массовыми политическими ценностями [Reisinger et al. 1996; Miller, Hesli, Reisinger 1997; Kullberg, Zimmerman 1999]. Исследовательский проект *"Survey of Russian Elites"* можно выделить как наиболее масштабный, в рамках которого были проведены семь волн опросов в период с 1993 по 2018 гг. [Zimmerman, Rivera, Kalinin 2019]. Данные этого проекта, отражающие установки российских элит относительно важнейших направлений внешней и внутренней политики, составляют ключевую эмпирическую базу для анализа вопросов о взаимосвязи между ценностными предпочтениями и политическими решениями в России [Zimmerman 2002].

Наряду с политическими ценностями федеральной элиты ученые не менее плодотворно изучают установки представителей региональных элит [Чирикова, Лапина 1999; Тарусина 2002; Сафронов 2008]. Работы А. Чириковой с точки зрения темы настоящего исследования представляют особый интерес, поскольку фокусируются на восприятии элитами процесса централизации, связанного с отменой прямых выборов губернаторов в 2004 г. Автор показала, что со временем региональные элиты становятся менее критичными к практикам централизации, адаптируясь к новой политической реальности [Чирикова 2008].

В отличие от федеральной и региональной элиты управленцы муниципального звена более доступны и открыты для общения. Поэтому исследователи локальной политики часто используют опросные методики [Чирикова, Ледяев, Сельцер 2014; Пустовойт 2019; Шкель 2018]. При этом большинство работ направлены на изучение проблемных ситуаций и выявление специфики политического контекста конкретных территорий. Проблематика причин дифференциации политических установок среди разных сегментов элит остается без должного внимания.

В мировой политической науке этот вопрос находится в центре научной дискуссии, в рамках которой можно выделить два базовых объяснения причин дифференциации политических установок среди элит: социальное и политическое [Buckley, Tucker 2019]. Первое указывает на то, что выбор идеологии или ценностей может быть обусловлен такими социальными характеристиками индивида, как образование, сфера профессиональной деятельности, политический опыт и тому подобное. Политическое объяснение заключается в том, что члены политической элиты, в отличие от простых граждан, встроены в иерархию властных отношений. Их инкорпорация во властные сети

и институты влияет на политические предпочтения, которые в этой ситуации формируются на прагматичной основе. Это означает, что представители элиты будут поддерживать тот политический порядок, который приносит им выгоду. В условиях доминирования авторитарных практик лояльность по отношению к решениям вышестоящих уровней власти необходима для сохранения властной позиции, поскольку власть имеет разнообразные возможности влиять на политические установки политиков, встроенных во властную вертикаль. Сопротивление авторитарным тенденциям в такой ситуации скорее можно ожидать только со стороны контрэлиты (оппозиции) или политиков, чьи позиции находятся вне рамок “выигрышной коалиции” (аутсайдеров).

Представляется, что изложенные два объяснения не исключают друг друга и могут быть интегрированы в единую аналитическую рамку.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА И ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резонным видится предположение, что представители элиты, инкорпорированные во властную вертикаль (инсайдеры), прагматично будут поддерживать реформы, ведущие к отказу от прямых выборов. Элиты за рамками выигрышной коалиции (аутсайдеры), напротив, будут демонстрировать демократические установки и настаивать на возврате прямых выборов, поскольку именно этот механизм предоставляет им больше возможностей для политической борьбы и повышает вероятность занятия (сохранения) властных позиций.

Говоря о локальном уровне власти, к инсайдерам можно отнести муниципальных глав, которые успешно прошли процедуру конкурса и заняли должность по новым правилам. К этой же группе элит целесообразно относить депутатов, лояльных действующему главе и включенных в состав выигрышной коалиции на уровне муниципалитета. Напротив, под аутсайдерами будут пониматься оппозиционные кандидаты на пост мэра, а также депутаты, находящиеся вне рамок команды действующего главы и составляющие ему оппозицию.

Вышеизложенное позволяет сформулировать первую гипотезу исследования:

H1: статус инсайдера склоняет представителей элит к установкам авторитарного типа, а статус аутсайдера — к демократическим.

С другой стороны, предыдущий политический опыт также имеет значение. Можно предположить, что успешный опыт участия в избирательной кампании будет рациональным основанием поддерживать прямые выборы. Возврат к прямым выборам для элиты, способной на них побеждать, будет рассматриваться как более надежный способ удержания власти, чем иные политические практики, на которые сам претендент повлиять не способен. Напротив, неудачный опыт избирательной борьбы или отсутствие такого опыта, скорее всего, усилит установки недемократического характера, поскольку в этом случае возврат к прямым выборам не сулит кандидатам никаких выгод.

Следовательно, вторую гипотезу исследования я формулирую следующим образом:

H2: наличие успешного опыта избирательной борьбы склоняет представителей элит к демократическим установкам, в то время как отсутствие такого опыта располагает к установкам авторитарного типа.

Согласно логике двух сформулированных гипотез, можно предположить, что наличие успешного опыта избирательной борьбы в сочетании со статусом аутсайдера с высокой вероятностью приводит к поддержке демократических ценностей, в то время как отсутствие успешного опыта избирательной борьбы в сочетании

со статусом инсайдера — к установкам недемократического типа. Сложность возникает при сочетании разнонаправленных факторов. При сочетании успешного опыта избирательной борьбы со статусом инсайдера вероятно ожидать установки как демократического, так и авторитарного типа. Равным образом ситуация при отсутствии успешного опыта избирательной борьбы в сочетании со статусом аутсайдера делает возможный выбор труднопредсказуемым.

Распределение этих двух факторов представлено в табл. 1. Верхняя левая и нижняя правая ячейки, отражающие противоположные условия, являются неопределенными с точки зрения теоретических ожиданий. Одна из задач настоящего исследования — с помощью эмпирических данных прояснить, какой из двух противоположных факторов доминирует, наполнить эти ячейки содержанием.

Таблица 1 (Table 1)

**Влияние факторов успешного электорального опыта и политического статуса
на политические установки элит**
*The Influence of Factors of Successful Electoral Experience and Political Status
on the Political Attitudes of Elites*

		Успешный опыт участия в выборах	
		Есть	Нет
Статус	Инсайдер	?	Недемократические
	Аутсайдер	Демократические	?

ДАННЫЕ И МЕТОД

Городские округа и районы Пермского края представляют собой идеальные случаи для исследования вопроса о восприятии локальными элитами институциональных новаций в виде отмены прямых выборов муниципальных глав. До 2015 г. все главы муниципалитетов этого региона избирались путем прямых выборов. Последние пять лет функционирования новой модели — достаточный срок для того, чтобы у местных элит сформировалась оценка произошедших новаций. Таким образом, элиты указанного региона можно считать релевантными объектами для изучения аргументации разных точек зрения по поводу отмены прямых выборов, а также тестирования вышеизложенных гипотез о факторах, обуславливающих выбор элитами той или иной позиции.

Задачи исследования требуют применения качественных методов, способных отразить восприятие произошедших перемен участниками политических процессов на локальном уровне, поэтому был выбран метод полуструктурированного интервью.

В выборку случаев попали шесть городских округов Пермского края (Березники, Губаха, Кунгур, Кудымкар, Лысьва, Соликамск) и один муниципальный район (Большесосновский). Выборка основывается на технике максимальных различий для учета важных для исследования вариаций. Среди муниципалитетов, попавших в поле анализа, в двух (Губаха и Березники) депутаты полностью инкорпорированы во властную коалицию мэра и не составляют ему оппозиции. Кудымкар и Лысьва также тяготеют к этому типу: большинство депутатов ассамблеи этих городов поддерживают главу, но с единичными исключениями. Большесосновский район представляет собой диаметрально противоположный случай: большинство депутатов находятся в долгосрочном конфликте с муниципальной главой. Наконец, ситуации

в Соликамске и Кунгуре можно отнести к промежуточным вариантам, в которых депутатский корпус имеет биполярную структуру: лишь около половины депутатов поддерживают мэра. Так что выборка случаев включает в себя почти весь спектр вариаций и возможность градации депутатов по статусу инсайдеров и аутсайдеров.

Сбор данных методом полужформализованного интервью осуществлялся в период с августа 2018 г. по сентябрь 2019 г. Всего было опрошено 56 респондентов. Поскольку автора интересовал вопрос восприятия политических реформ именно представителями элиты, в поле анализа были включены только респонденты, имеющие статус депутата ($n = 27$), а также нынешние или бывшие главы муниципалитета ($n = 9$). Представители экспертного сообщества (политологи, политтехнологи, политические журналисты) были исключены из анализа. В целом включенная в анализ выборка составила 36 респондентов.

Гайд интервью состоял из трех блоков. Первый включал вопросы, направленные на выявление новаций, произошедших в управлении муниципалитетом после отмены прямых выборов главы. Вопросы второго блока предлагали респондентам оценить (положительно или отрицательно) факт отмены прямых выборов муниципальных глав. Хотя в отдельных случаях респонденты высказывали двойственные позиции, в целом даже они при некоторых оговорках в итоге давали достаточно четкие оценки. Исходя из ответов на эти вопросы, респонденты были разделены по критерию поддержки или непринятия авторитарных практик. Третий блок вопросов предлагал респондентам привести аргументы в защиту той или иной процедуры избрания муниципального главы на должность. Эти ответы служили основой для содержательной реконструкции логики респондентов по легитимации тех или иных политических институтов. Респонденты отбирались с помощью квот для включения в выборку как представителей законодательной, так и исполнительной власти. Средняя продолжительность интервью составила 50 минут.

Процедура анализа включала в себя два этапа. На первом этапе были расшифрованы интервью, а также кодифицированы и классифицированы варианты ответов и объяснений респондентов. Этот этап ставил своей целью общий мониторинг и поисковый анализ. На втором этапе данные анализировались посредством интеграции их в аналитическую рамку с целью выявления конкретных каузальных механизмов.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Даже при наличии общего успешного опыта участия в избирательной кампании депутаты придерживаются различных позиций по отношению к муниципальному главе (как лояльных, так и оппозиционных). Этим они и интересны для анализа и проверки выдвинутых гипотез. Интервью с ими позволяет прояснить, является ли политический статус (инсайдера или аутсайдера) искомой переменной, связанной с другой переменной — той или иной политической установкой респондентов. В выборку включены также данные по двум действующим и семи бывшим муниципальным главам. Только один из них не имел успешного опыта избирательной борьбы, получив свой пост через избрание из состава депутатского корпуса. Данные по распределению респондентов согласно их статусу и политическим установкам позволили создать таблицу сопряженности (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Распределение респондентов согласно их политическим установкам и статусу
Distribution of Respondents According to Their Political Attitudes and Status

		Установки	
		Недемократические	Демократические
Статус	Инсайдер	14	0
	Аутсайдер	2	20

В силу ограниченности выборки представленные ниже выводы следует понимать лишь как предварительные результаты, требующие дальнейшей проверки на более широком массиве данных. Тем не менее статистический анализ таблицы сопряженности методом точного критерия Фишера позволяет определить наличие или отсутствия взаимосвязи между двумя номинальными переменными даже при ограниченной выборке. Расчет этого критерия с помощью статистического пакета *R* показал, что расстояние между реальным и ожидаемым распределением довольно велико и составляет 15,15 при p -значении = 3,161e-08. Это означает, что нулевая гипотеза об отсутствии взаимосвязи между статусом и установками может быть отвергнута.

Таким образом, статус элит и их политические установки взаимосвязаны (что не исключает важности других возможных факторов). Можно заключить, что инкорпорированные во властную коалицию респонденты поддерживают сохранение статус-кво и находят преимущества в новой, “конкурсной” модели избрания главы. Оппозиционные элиты (аутсайдеры), напротив, выступают за возврат к прямым выборам и находят много недостатков в действующей модели.

Заполним все ячейки исходной таблицы с противоречивыми факторами. Согласно результатам анализа данных, наличие успешного опыта избирательной борьбы не является приоритетным фактором для элит при выборе той или иной политической позиции. Скорее политические установки имеют взаимосвязь со статусом политика. Статус инсайдера статистически значимо взаимосвязан с установками недемократического типа, а статус аутсайдера — с демократическими установками элит (см. табл. 3).

125

Таблица 3 (Table 3)

Влияние факторов успешного электорального опыта и политического статуса на политические установки элит

The Influence of Factors of Successful Electoral Experience and Political Status on the Political Attitudes of Elites

		Успешный опыт участия в выборах	
		Есть	Нет
Статус	Инсайдер	Недемократические	Недемократические
	Аутсайдер	Демократические	Демократические

Как объясняют и доказывают свою точку зрения локальные элиты? В следующих двух разделах представлен более содержательный анализ данных, раскрывающий аргументацию местных политиков в пользу тех или иных политических практик.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ

Один из ключевых аргументов сторонников возврата к прямым выборам — апелляция к народу, права которого оказались ущемленными. Как заявляют

депутаты, опыт общения с населением говорит о том, что большинство явно негативно оценивает отмену прямых выборов муниципальных глав. Так, один из них отмечает: “Если говорить о минусах, то жители города не удовлетворены как раз этой системой, тем, что они не могут повлиять на выборы. Каждый хотел бы сам поучаствовать, повлиять на эту ситуацию каким-либо образом, выбрать того, кого ему хочется, проголосовать за того, за кого ему хотелось бы из представленных кандидатов” (Р. № 30, 23.11.2018, г. Соликамск).

Другой депутат отмечает, что для населения модель прямых выборов всегда была и будет приоритетной: “Прямые выборы для населения изначально крайне важны. Схема выборов для них на первом месте. Они готовы смириться с другой схемой, только если в конкретном случае по истечении немалого времени им докажут другое, что другая система лучше, а это сложно” (Р. № 5, 28.09.2018, г. Губаха).

Второй линией аргументации сторонников возврата к демократическим процедурам выступает тезис о прямых выборах как важном атрибуте, позитивно влияющем на эффективность управления. Например, один из респондентов так характеризует роль прямых выборов: “Надо прочувствовать, что такое выборы, избирательная кампания, что такое, глядя людям в лицо, что-то говорить и обещать. Это серьезная штука, серьезная мотивация. Этой ответственностью, когда выбирают, он перекрывает свои возможные недостатки, желанием помочь людям и подобные вещи. Он землю готов грызть, чтобы что-то здесь сделать” (Р. № 5, 28.09.2018, г. Губаха).

Еще чаще среди критиков отмены прямых выборов звучит аргумент, согласно которому новая модель ориентирует муниципального главу на указания сверху, выполнение поручений, выгодных региональной власти, но не местным жителям: “Начали выбирать депутаты главу. Ну, мы же понимаем, что политическая партия, правящая партия подготовила кандидатуру, привела, и она вызывала полностью весь состав депутатов и туда, и сюда, и она поработала со всеми, чтобы не было срыва, чтобы ее ставленник обязательно прошел. Вот это самое страшное. Это не выборы, я не считаю это выборами, это просто назначение” (Р. № 24, 26.10.2018, г. Лысьва).

Другими словами, “конкурсная” модель делает зависимым муниципального главу от вышестоящего уровня власти, но существенно сокращает его подотчетность гражданам. Бывший муниципальный глава так объясняет эти причинно-следственные связи: “С точки зрения вертикали власти очень выгодно, чтобы глава был избран через комиссию, там можно регулировать: свой — не свой, понимает — не понимает, и в любую секунду этого товарища можно поджечь, ужать, снять, убрать — это вполне реально. То есть вот такая управляемость, вертикальная управляемость, она, конечно, существует, но есть одно очень важное *но* — тогда глава не обязан перед своими жителями, он им ничем не обязан, не они его избирали, не они ему давали кредит доверия” (Р. № 11, 15.08.2018, г. Пермь).

Депутаты отмечают также важность прямых выборов как процедуры, позволяющей будущему главе лучше понять приоритеты граждан, что позитивно влияет на последующее управление с точки зрения учета интересов населения: “Совсем другое, когда есть встреча с людьми. Я кандидат в главы, я встречаюсь. Каждый вопрос, он же записывается, все это превращается в наказы избирателей, каким-то образом группируется. По крайней мере, есть понимание, что для народа важнее. Ну, скажем, дороги, освещение, тротуары там или тепло. Уже понимаешь, и уже можешь каким-то образом расставить приоритеты, что на первом месте, что на втором... Тогда глава ближе к народу” (Р. № 13, 20.09.2018, г. Кунгур).

Критики отмены прямых выборов муниципальных глав также указывают в качестве аргумента, что именно небольшой размер городов и поселений обеспечивает вполне осознанный и свободный выбор граждан, поскольку в маленьких поселениях все знают друг друга и могут оценить профессиональные и этические качества кандидатов: “При прямых выборах избирали только из тех, кто жил в районе. Сторонних кандидатов не было. И если избирается местный житель, он не то что подчиняется народу, но чувствует ответственность” (Р. № 42, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

Этот же фактор близости глав муниципалитетов к народу обеспечивает непосредственный общественный контроль действий администрации, сокращая для последней возможности злоупотреблений: “Наш пример говорит о том, что в маленьких поселениях все друг друга видят и знают. И когда при новом приезже главе начинаются пьянки, гулянки, постоянные релаксации... Извините, но это общество тоже не воспринимает никак. И если бы это делал глава, который выбран на месте, ему бы просто сосед мог морду набить. Ну, действительно, было бы какое-то общественное порицание. Местный никогда бы не сделал это на территории” (Р. № 44, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

Респонденты указывают, что отмена прямых выборов усложнила управление для самих глав, которые теперь занимают свои посты в отсутствии кредита доверия со стороны населения: “При выборах кандидатами шли известные в районе люди, которые так или иначе имели авторитет у жителей. Без авторитета выиграть выборы было нельзя. И поэтому когда человек становился главой, к нему было уважение. Может быть, некоторые его не любили, но к нему было уважение. Сейчас же люди, которые приезжают и становятся главами, к ним ни уважения нет, ни страха перед ними нет, ничего нет” (Р. № 44, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

127

Это порождает проблему отчужденности между властью и гражданами, что не содействует эффективности управления. Недоверие может пройти только по прошествии нескольких лет, и только при условии эффективной работы администрации. Но первые годы при отсутствии прямых выборов главы вынуждены работать под давлением общественной критики. Как указывает бывший депутат городской ассамблеи, “Людей нельзя лишать прав. Это кажется, что это мелочь. Но это не мелочь. То, что он (глава. — *Прим. авт.*) пришел не через выборы — это у населения вызывает очень большой негатив. К нему плохо относятся именно поэтому, а не потому, что он что-то не так сделал” (Р. № 24, 26.10.2018, г. Лысьва).

Наконец, респонденты, отстаивающие возврат к прямым выборам, часто указывают на то, что новая модель избрания главы на должность менее прозрачная, честная и справедливая. Обращается внимание на то, что хотя качество выборов всегда было далеко от идеала, повлиять на 15-20 депутатов намного проще, чем на всех избирателей города или района. Довольно типичны следующие высказывания: “Я выступаю за сохранение прямых выборов, потому что 15 депутатами манипулировать проще, чем избирателями. Даже если 50% придут на выборы” (Р. № 36, 30.11.2018, г. Кудымкар); “В любом случае навязать волю всем жителям района очень сложно. 16 депутатов ‘сломать’ проще. Их проще уговорить, ‘уболтать’, купить — не важно, как” (Р. № 42, 20.09.2019, п. Большая Соснова).

Демократические установки депутатов в риторике легитимизируются следующими аргументами:

1. Новая модель фактически лишила права голоса большинство, что вызывает недовольство у народа.

2. Отмена прямых выборов привела к снижению эффективности управления муниципалитетами, поскольку новые главы не имеют кредита доверия со стороны населения.

3. Новые правила существенно ограничили демократическую подотчетность главы муниципалитета, переориентировав его на запросы вышестоящего уровня власти в ущерб интересам граждан.

4. Небольшой размер муниципалитетов делает модель прямых выборов глав наиболее целесообразной, поскольку близость власти к народу позволяет осуществлять демократический выбор и контроль с наибольшей эффективностью.

5. Новые правила на практике менее прозрачны, что ведет к снижению легитимности глав и провоцирует конфликты.

АВТОРИТАРНАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ

Локальные элиты, так или иначе встроенные во властную вертикаль, как правило, высказывают удовлетворение существующей моделью наделения полномочиями муниципальных глав и оценивают ее как хорошо зарекомендовавшую себя на практике. Главные аргументы, легитимирующие на локальном уровне новации недемократического типа, сводятся к следующему.

Респонденты отмечают, что, вопреки мнению о недовольстве народа в связи с отменой прямых выборов, население в целом восприняло ее спокойно. Данный вопрос не является приоритетным для граждан, которые в большей мере озабочены проблемой эффективности управления, а не правилами избрания главы: “Для людей, живущих на той или иной территории, не важно, как был избран глава, по большому счету. Они его, как говорится в одной самой знаменитой книге, оценивают по делам их” (Р. № 10, 26.09.2018, г. Пермь).

Действительно, в период принятия этого решения в муниципалитетах не наблюдалось каких-то протестных акций. Журналисты городских изданий вспоминают, что несколько раз писали об этом решении, но существенного критического отклика от читателей не получили (Р. № 26, 23.11.2018, г. Соликамск). С другой стороны, отсутствие прямых протестов еще не доказывает одобрение народом отмены прямых выборов. Напротив, социологические данные показывают, что в целом россияне негативно оценивают реформу³.

Большинство депутатов подтверждают этот факт, указывая, что в беседах граждане проявляют недовольство отменой прямых выборов. Поэтому депутатам приходится объяснять такой шаг властей и доказывать преимущества новой модели избрания муниципальной главы: “Мы когда общались с жителями, многие говорят: ‘а почему нас сейчас убрали от этого, из этой системы, и мы сейчас не выбираем?’ И в принципе на таком простом уровне, на бытовом, я вот эти вещи все им объясняю. Когда они слушают, они соглашаются” (Р. № 30, 23.11.2018, г. Соликамск).

Довольно часто респонденты ссылаются на политическую неопытность избирателей, которые при выборах руководствуются эмоциями, субъективными переживаниями, а не объективной оценкой профессиональных качеств кандидатов. В итоге прямые выборы могут привести к власти некомпетентных и неграмотных людей: “Люди часто делают выбор субъективный. Часто личное отношение к кандидату или партии превалирует. И основываясь только

³ Выборность глав городов, муниципальных районов. — *Левада-Центр*. 25.09.2017. URL: <http://www.levada.ru/2017/09/25/vybornost-glav-gorodov-munitsipalnyh-rajonov/> (accessed 07.03.2020).

на обывательских своих впечатлениях, люди делают ошибки при выборе и выбирают людей, не готовых управлять” (Р. № 4, 28.09.2018, г. Губаха).

Еще один вариант поддержки этой точки зрения — ссылки на недобросовестные методы избирательной борьбы, применяемые кандидатами и приводящие к прямому обману или подкупу избирателей. В результате последние делают ошибочный выбор: “Я не думаю, что кто-то сильно ностальгирует по выборам. Ведь всем понятно, кто реально участвовал в этих процессах, что выборы требуют денег, нужна PR-команда, которая будет продвигать... Поэтому прямые выборы абсолютно не задают объективный критерий оценивания кандидатов, потому что людей, я извиняюсь, просто покупают” (Р. № 21, 26.10.2018, г. Лысьва).

Любопытно, что данная точка зрения о нечестности и “продажности” выборов распространена среди бывших и нынешних глав муниципалитетов, которые имеют опыт успешной избирательной борьбы. Однако, в отличие от депутатов, они не очень ценят такого рода успехи, критично отзываясь о качестве выборов с точки зрения честности и справедливости. Отмена прямых выборов легитимизируется также за счет доводов о большей эффективности новой модели, которая менее рискованна с точки зрения непредсказуемых результатов, так как имеет несколько порогов экспертной оценки, гарантирующих отсев неквалифицированных кадров. Линия аргументации следующая: “Когда работает конкурсная комиссия, так получилось, что я был в составе первой конкурсной комиссии в нашем городе, и я посмотрел изнутри работу конкурсной комиссии. Она определяет двух из всех представленных кандидатов, потому что каждый кандидат представляет свою программу, выступает перед конкурсной комиссией, говорит, что бы он хотел сделать, какие направления он считает важными, и депутаты, которые отработали достаточно большой период, уже много понимают и сами начинают оценивать и голосуют соответствующим образом. Потом, когда два кандидата будут определены, выносятся на рассмотрение городской думы. Там уже все депутаты выступают как эксперты, кто из двух сейчас здесь более подходит на эту должность. Это двойной экспертный конкурс, своего рода отсев: принимают решение эксперты, сначала объединенные с регионом, а потом уже внутри, депутаты выступают тоже как эксперты” (№ 30, 23.11.2018, г. Соликамск).

Еще одной причиной критики модели прямых выборов выступает их дороговизна и необходимость трат на проведение избирательной кампании. Кроме того указывается, что прямые выборы чрезмерно политизируют общество и приводят к социальной поляризации, что не способствует стабильности и нормальному развитию в поствыборный период: “Выборы разделяют город стенка на стенку. Очень редко такие выборы выигрывают безоговорочно. У многих остается осадок, и такие выборы не удовлетворяют многих избирателей. Поэтому прямые выборы часто не лучший способ с точки зрения стабильности социально-политической ситуации в муниципалитете. И потом, что происходит после выборов, когда есть такая поляризация? То есть три месяца мы в ходе выборов говорили друг другу с разной степени успешности правду, а потом с этим приходится как-то жить. Я не знаю, я не уверен, что это все хорошо. Особенно это чувствуется в маленьких муниципальных образованиях. В большом городе это как-то микшируется большим количеством избирателей. Но там, где их мало, это особенно сказывается” (Р. № 20, 20.10.2018, г. Пермь).

Наконец, важным фактором, убеждающим в целесообразности отмены прямых выборов и легитимации авторитарных механизмов, является ссылка на негативный прошлый опыт, когда выборы приводили к конфликтным ситуациям между ветвями власти и вели к отрицательным последствиям с точки зре-

ния эффективности управления. Это не универсальный аргумент, но он наличествует во всех случаях, где в период прямого избрания муниципального главы наблюдались такого рода противоречия. В этом смысле показательны такие города, как Губаха и Лысьва. Так, один из депутатов городского собрания Губахи говорит следующее: “Прямые выборы были, но, наверное, я не первый в Губахе вам это скажу, что при прямых выборах к власти могли прийти люди, потом после этого, какой срок они были, Губаха стояла, не развивалась, ничего не делалось... Но сейчас получается, при такой поддержке если человека еще и направляют с Перми, к нему уже другое доверие, ему легче входить в какие-то новые программы, работать с краевой властью. Город за последнее время, последние пять лет взять, может, больше, шесть-семь лет, у нас изменения города налицо. Это всем заметно” (Р. № 2, 28.09.2018, г. Губаха).

Схожим образом в Лысьве ссылаются на негативный прошлый опыт: “Мы избираем руководителя, хозяйственника, который будет руководить огромным коммунальным хозяйством, основные задачи которого — обеспечить комфортные условия проживания. При этом мы забываем, что требования к нему профессиональные и общеквалификационные достаточно высокие. Мы не один раз уже сталкивались с тем, что когда идут прямые выборы глав, народ выбирает популистов, тех, кого близко нельзя подпускать. В частности, Лысьва была в такой ситуации в 2002 г. И у нас на территории была депрессия, нас объявили депрессивной территорией, организовали отдельную комиссию по ней, потом была неприятная процедура импичмента. Потому что народ понял, что территория попала в ступор. Поэтому с тех времен я четко для себя определил, что на вот такую должность должен попадать соответствующий человек с соответствующими навыками и компетенциями” (Р. № 23, интервью 26 октября 2018 г., г. Лысьва).

В подобных городах отмена прямых выборов смогла разрешить межэлитные конфликты, и поэтому легитимация недемократических практик представителями элиты упрощена. Напротив, случаи, где в период прямых выборов конфликтов не было, но после инсталляции новой модели они возникли, депутаты категорически выступают за возврат к прямым выборам, оценивая отказ от них как ошибку.

Среди аргументов, легитимирующих такие заново формирующиеся практики, к ключевым можно отнести следующие:

- приоритетность для большинства народа эффективности управления, а не процедурных правил избрания на должность;
- риски прямых выборов, связанные с (а) попаданием на должность неквалифицированного кандидата, что ведет к неэффективности управления; (б) дестабилизацией социально-политической ситуации и поляризацией общества, к которым объективно ведет избирательная кампания;
- дороговизну избирательных процедур;
- преимущества экспертного контроля, характеризующего новую “конкурсную” модель и позволяющего выбрать наиболее компетентных управленцев;
- негативные примеры прошлого, связанные с конфликтами между ветвями власти и ставшие следствием прямого избрания муниципального главы, вступающего в конфликт с местными депутатами или региональными властями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной России продолжают политические реформы, что делает ее интересным случаем для проверки различных теорий о каузальных меха-

низмах политического развития. Отмена прямых выборов глав городов и муниципалитетов позволяет исследовать логику текущего институционального развития и лучше понять причины демонтажа демократических институтов на локальном уровне. В данном исследовании фокус анализа направлен на определение факторов, обуславливающих поддержку или сопротивление со стороны элит процессам автократизации.

Проведенный анализ показал, что на современном этапе у локальных элит нет консенсуса относительно новых правил избрания муниципальных глав на должность. Наряду с поддержкой этой инициативы региональных властей существуют весомые контраргументы, критикующие реформу. Хотя данные настоящего исследования носят ограниченный характер и не могут выявить весь спектр факторов, определяющих эту вариацию, анализ позволяет говорить, что прошлый успешный электоральный опыт не является решающим фактором, склоняющим локальные элиты к поддержке демократических институтов. В то же время обнаружена статистически значимая взаимосвязь между политическим статусом и установками локальных элит. Лояльные действующему главе депутаты выступают сторонниками “экспертократии”, приводя доводы о рисках прямого народного волеизъявления. Главы муниципалитетов, получившие свою должность по новым правилам, также выступают за сохранение статус-кво. Критикуют отмену прямых выборов локальные элиты самых разных городов и районов, с опытом как побед, так и поражений в электоральной борьбе. Поэтому с политическими установками взаимосвязано не столько наличие позитивного демократического опыта, сколько текущий статус политика. Это, конечно, не исключает влияния иных факторов, которые в силу специфики привлеченных данных остались вне поля анализа настоящего исследования.

Хотя личный опыт представителей элит не влияет на формирование политических установок, содержательный анализ интервью показал, что наследие прошлого все же имеет значение. В случаях, где предыдущий опыт прямого избрания муниципального главы был связан с появлением конфликтов между ветвями власти и сопровождался общей управленческой неэффективностью, легитимация недемократических практик осуществляется намного проще. Напротив, в городах и районах, где отмена прямых выборов привела к появлению межэлитных конфликтов, депутаты консолидированно демонстрируют демократические установки.

Представленные результаты получены на ограниченной выборке и требуют дальнейшего тестирования на более широком эмпирическом материале. Тем не менее они позволяют сделать как минимум два теоретических вывода, выходящих за рамки российского случая и имеющих значение для общего понимания логики автократизации.

Во-первых, исследование подтверждает релевантность теории рационального выбора и акторного подхода при объяснении режимной динамики. Как следует из анализа данных, выбор элит по поводу поддержки отмены прямых выборов и других демократических институтов во многом обусловлен их собственным рациональным расчетом выгод и издержек. Наследие прошлого играет роль в качестве дополнительного средства, которое элиты могут использовать для их легитимации. Но важным фактором, определяющим предпочтения элит, является не само историческое наследие, а текущие политические интересы тех или иных их представителей.

Во-вторых, успех консолидации авторитарного типа обусловлен не только действиями со стороны доминирующего актора по вертикальной линии “сверху вниз”, но и наличием поддержки новых правил на нижних этажах

властной иерархии. Недемократические институты начинают работать стабильно и рутинно только при их легитимации со стороны локальных элит. Эффективность локального режима такого типа зависит тем самым не только от степени монополизации ресурсов в руках доминирующего актора, но и от его способности добиться поддержки введенных порядков среди большинства элитных сегментов путем их инкорпорации в широкую властную коалицию.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.09](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.09)

POLITICAL ATTITUDES OF LOCAL ELITES IN CONTEMPORARY RUSSIA (Cases of Municipalities of the Perm Territory)

S.N. Shkel¹

¹National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

SHKEL, Stanislav Nikolaevich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor of Department of Political Science and International Affairs, National Research University Higher School of Economics (St. Petersburg), email: stas-polit@yandex.ru

Shkel S.N. Political Attitudes of Local Elites in Contemporary Russia (Cases of Municipalities of the Perm Territory). — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 119-134. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.09>

Acknowledgements. This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) “Political and Institutional Characteristics of Municipalities and the Quality of the Distribution of Public Goods at the Local Level: the Experience of the Perm Territory”, grant number 18-411-590012. The author expresses his great appreciation to the Development Partnership Program run by the European University at St. Petersburg.

Received: 12.10.2019. Accepted: 08.06.2020

132

Abstract. The article studies the factors that shape the political attitudes of the elites. Using data from semi-formalized interviews with municipal deputies and heads of administrations in cities and regions of the Perm Territory, the author identifies the reasons for the different positions held by politicians about the issue of canceling direct elections for mayors and municipal heads. The results of this analysis showed that the successful experience of the electoral struggle has not affected political attitudes, and does not provide a sufficient basis for the formation of democratic values. Calculation of data by the Fisher exact test method showed a statistically significant relationship between political status (whether insider or outsider) and the political attitudes of the local elites. A substantive analysis of the collected interviews made it possible not only to systematize the main arguments for legitimizing authoritarian and democratic practices, but also to clarify the role the legacy of the past plays in the successful installation of undemocratic orders. Negative experiences of direct elections, associated with conflict between elites and general managerial inefficiency, is a significant argument for simplifying authoritarian legitimation.

Keywords: elections, political elites, local politics, democracy, authoritarianism, municipalities, Russian politics, Perm Territory.

References

- Alvarez M., Cheibub J., Limongi F., Przeworski A. 1996. Classifying Political Regimes. — *Studies in Comparative International Development*. Vol. 31. No. 2. P. 3-36.
- Brown A. 2001. From Democratization to “Guided Democracy”. — *Journal of Democracy*. Vol. 12. No. 4. P. 35-41.
- Buckley N., Reuter O., Shubenkova A., Garifullina G. 2014. Elections, Appointments, and Human Capital: The Case of Russian Mayors. — *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 22. No. 1. P. 87-116.
- Buckley N., Tucker J. 2019. Staring at the West through Kremlin-Tinted Glasses: Russian Mass and Elite Divergence in Attitudes toward the United States, European Union, and Ukraine before and after Crimea. — *Post-Soviet Affairs*. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2019.1660491>
- Bueno De Mesquita B., Smith A., Siverson R., Morrow J. 2003. *The Logic of Political Survival*. Cambridge, MA: The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4292.001.0001>

- Burton M., Higley J. 2001. The Study of Political Elite Transformations. — *International Review of Sociology / Revue Internationale de Sociologie*. Vol. 11. No. 2. P. 181-199. <https://doi.org/10.1080/713674040>
- Collier D., Levitsky S. 1997. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research. — *World Politics*. Vol. 49. No. 3. P. 430-451.
- Dahl R. 1989. *Democracy and its Critics*, Yale: Yale University Press.
- Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. 2006. Ed. by A. Schedler. Boulder, CO, and London, UK: Lynne Rienner Publishers.
- Gel'man V., Tarusina I. 2000. Studies of Political Elites in Russia: Issues and Alternatives. — *Communist and Post-Communist Studies*. Vol. 33. No. 3. P. 311-329. [https://doi.org/10.1016/S0967-067X\(00\)00009-X](https://doi.org/10.1016/S0967-067X(00)00009-X)
- Howard M., Roessler Ph. 2006. Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes. — *American Journal of Political Science*. Vol. 50. No. 2. P. 365-381.
- Huntington S. 1991. Democracy's Third Wave. — *Journal of Democracy*. Vol. 2. No. 2. P. 12-34.
- Kullberg J., Zimmerman W. 1999. Liberal Elites, Socialist Masses, and Problems of Russian Democracy. — *World Politics*. Vol. 51. No. 3. P. 323-358. <https://doi.org/10.1017/S0043887100009102>
- Levitsky S., Way L. 2010. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*, UK: Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511781353>
- Miller A., Hesli V., Reisinger W. 1997. Conceptions of Democracy among Mass and Elite in Post-Soviet Societies. — *British Journal of Political Science*. Vol. 27. No. 2. P. 159-190. <https://doi.org/10.1017/S0007123497000100>
- Munck G., Verkuilen J. 2002. Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices. — *Comparative Political Studies*. Vol. 35. No. 1. P. 5-34.
- Reisinger W., Melville A., Miller A., Hesli V. 1996. Mass and Elite Political Outlooks in Post-Soviet Russia: How Congruent? — *Political Research Quarterly*. Vol. 49. No 1. P. 77-101. <https://doi.org/10.1177/106591299604900105>
- Rivera S., Zimmerman W. 2019. Introduction: New Directions in Survey Research on Russian Elites. — *Post-Soviet Affairs*. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2019.1660482>
- Steen A. 2002. The Post-Communist Transformation: Elite Orientations and the Emerging Russian State. — *Perspective on European Politics and Society*. Vol. 3. No. 1. P. 93-126. <https://doi.org/10.1080/15705850208438830>
- Zimmerman W. 2002. *The Russian People and Foreign Policy: Russian Elite and Mass Perspectives, 1993-2000*. Princeton, NJ: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1017/S1537592703870421>
- Zimmerman W., Rivera S., Kalinin K. 2019. *Survey of Russian Elites, Moscow, Russia, 1993-2016*. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor]. <https://doi.org/10.3886/ICPSR03724.v6>
- Chirikova A.Ye. 2008. The Power Vertical in the Estimation of Regional Elites: Dynamics of Changes. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 99-112. (In Russ.) URL: <https://www.politstudies.ru/en/article/4064> (accessed 10.03.2020).
- Chirikova A.Ye., Lapina N.Yu. 1999. Regional'nye elity v RF: modeli povedeniya i politicheskie orientatsii. [Regional Elites in the Russian Federation: Models of Behavior and Political Orientations]. Moscow: INION RAS. (In Russ.)
- Chirikova A.Ye., Ledyayev V.G., Selzer D.G. 2014. Power in a Small Russian Town: Configuration and Interaction of Major Local Actors. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 88-105. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2014.02.07>
- Ershova N. 1994. Transformatsiya pravyashchei elity v usloviyakh sotsial'nogo pereloma [The Transformation of the Ruling Elite In a Social Turning Point]. — *Kuda idet Rossiya? Alternativi obshchestvennogo razvitiya* [Where is Russia Going? Alternatives to Community Development]. Ed. by T.I. Zaslavskaya, L.A. Arutynan. Moscow: Inerpraks. P. 151-155. (In Russ.)
- Golovachev B.V., Kosova L.B. 1995. Tsennostnye orientatsii sovetskikh i postsovetskikh elit [Value Orientations of Soviet and Post-Soviet Elites]. — *Kuda idet Rossiya? Alternativi obshchestvennogo razvitiya* [Where is Russia Going? Alternatives to Community Development]. Ed. by T.I. Zaslavskaya. Moscow: Interpraks. Vol. 2. P. 183-187. (In Russ.)
- Kryshtanovskaya O. 2005. *Anatomiya rossijskoj elity* [Anatomy of the Russian Elite]. Moscow: Zaharov. (In Russ.)
- Pustovoit Yu.A. 2019. How the Regime is Created: Power Coalitions in Siberian Cities. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 104-118. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.08>
- Rossiyskaya elita: opyt sociologicheskogo analiza* [Russian Elite: the Experience of Sociological Analysis]. 1995. Ed. by K.N. Mikul'skiy. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Safronov V. 2008. The Political Culture of St. Petersburg: Support for Democracy by the Elite and the Mass Public. — *Telescope: Journal of Sociological and Marketing Research*. No. 6. P. 16-29. (In Russ.)

Shkel S.N. 2018. Why Deputies Do Not Rebel: Political Potential of Assemblies in Small Cities of the Republic of Bashkortostan. — *Ars Administrandi*. Vol. 10. No. 4. P. 667-686. (In Russ.)

Tarusina I.G. 2002. Dynamics of Political Predispositions of Russia's Regional Elites (With Saratov Region as Example). — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 133-140. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2002.01.11>

Литература на русском языке

Головачев Б.В., Косова Л.Б. 1995. Ценностные ориентации советских и постсоветских элит. — *Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития*. Вып. 2. Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: Интерпракс. С. 183-187.

Ершова Н. 1994. Трансформация правящей элиты в условиях социального перелома. — *Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития*. Под ред. Т. Заславской, Л.А. Арутюнян. М.: Интерпракс. С. 151-155.

Крыштановская О. 2005. *Анатомия российской элиты*. М.: Захаров.

Пустовойт Ю.А. 2019. Как создается режим: властные коалиции в сибирских городах. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 104-118. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.08>

Российская элита: опыт социологического анализа. 1995. Под ред. К.Н. Микульского. М.: Наука.

Сафронов В. 2008. Политическая культура Санкт-Петербурга: поддержка демократии элитой и массовой публикой. — *Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований*. № 6. С. 16-29.

Тарусина И.Г. 2002. Динамика политических установок региональных элит России на примере Саратовской области. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 133-140. <https://doi.org/10.17976/jpps/2002.01.11>

Чирикова А.Е. 2008. Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 99-112. URL: <https://www.politstudies.ru/en/article/4064> (accessed 10.03.2020).

Чирикова А.Е., Ледаев В.Г., Сельцер Д.Г. 2014. Власть в малом российском городе: конфигурация и взаимодействие основных акторов. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 88-105. <https://doi.org/10.17976/jpps/2014.02.07>

Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. 1999. *Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические ориентации*. М.: ИНИОН РАН.

Шкель С.Н. 2018. Почему депутаты не бунтуют: политический потенциал ассамблей в малых городах Республики Башкортостан. — *Ars Administrandi (Искусство управления)*. Т. 10. № 4. С. 667-686.

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.10

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА. ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О “ПРОКЛЯТЫХ ВОПРОСАХ” ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

А.И. Соловьев

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического анализа МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: solovyev@spa.msu.ru

Соловьев А.И. Власть и политика. Полемические заметки о “проклятых вопросах” политической науки. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 135–147. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.10>

Статья поступила в редакцию: 02.08.2020. Принята к публикации: 26.08.2020

Аннотация: В статье предпринята попытка полемически оспорить основные методологические подходы к вопросам спецификации политики и власти, разрабатываемые и продвигаемые авторским коллективом монографии “Господство против политики: российский случай. Эффективность институциональной структуры и потенциал стратегий политических изменений” (М.: Политическая энциклопедия, 2019). Оценка данной работы в целом позитивна. Вместе с тем авторы монографии используют в качестве когнитивного основания для характеристики современного пространства политики и власти аристотелевско-арендтовскую парадигму, несущую в себе зримые признаки исторической и теоретической усталости. В рамках полемики с авторами монографии в статье отмечается, что колонизация неформальными сетями правящей элиты официальных структур и институтов власти в современном государстве все чаще ограничивает инструментарий публичной политики при принятии государственных решений. Высказываются предположения об основных тенденциях эволюции взаимоотношений элитарных и неэлитарных слоев в современном государстве и о дальнейшем сужении социального пространства для “политики граждан”.

Ключевые слова: власть, политика, управление, принятие государственных решений, правящие элиты, политика граждан.

Здесь истина оголена...

В. Гафт

Очередная книжка, выпущенная политологами Института социологии РАН [Господство против политики... 2019], привлекает внимание методологически заостренной постановкой классических вопросов науки о политике. Содержание коллективной монографии не позволяет усомниться в замысле авторов утвердить принципиально высокую роль гражданского актора в развитии современных политических систем. Предлагаемый читателю анализ, рассматривающий коллективного актора в качестве основного источника политического развития общества, активно оппонирует воззрениям, утверждающим приоритет правящего меньшинства, не рассматривающего граждан в качестве полноправного политического партнера.

В принципе можно только солидаризироваться с замыслом авторов книги, которые дают нелицеприятные, но аутентичные оценки состоянию современной публичной политики в России, пытаясь на этом фоне обновить системное прочтение отношений элитарных и неэлитарных кругов. Но за глубоким ана-

лизом “российского случая” скрываются принципиально важные методологические проблемы, трактовка которых, на наш взгляд, во многом проектирует ключевые направления в развитии политической теории. Не претендуя на детальный анализ всего текста, хотелось бы высказать несколько соображений по затронутым в книге “проклятым”, но ключевым теоретическим вопросам, по которым сосуществуют парадигмально противоречивые, полярно противоположные трактовки, в частности, по проблеме соотношения политики и власти.

Высказанные авторами идеи о природе и градациях власти, ее разведении с политикой представляются весьма интересными и своевременными, показывающими, что “российский случай” дает неоценимые возможности присмотреться к особенностям функционирования не только республиканского строя, но и государства в целом. Исключительно важной является мысль авторов о возможностях обретения властью крайней формы аберрации, превращающей принудительное регулирование в систематическое и произвольное применение силы. В то же время, как нам представляется, целый ряд высказанных авторами важных и оригинальных идей, касающихся природы власти и ее соотношения с политикой, могут иметь и иное прочтение.

В целом основные теоретические установки авторов книги лежат в русле “аристотелевско-арендтовской” парадигмы, в их трактовке власть означает ориентированные “на общее благо intersубъективные и коммуникативные возможности, способность и готовность к стратегическому действию в публичной сфере граждан, которые рефлексируют свои права и обязанности на уровне дискурсивного знания” [там же: 8]. Опираясь на эту методологию, авторы акцентируют определяющую роль граждан в организации власти и государственного управления и считают, что власть “рождается и проявляется в процессе совместного действия людей” [там же: 135] и, в свою очередь, является источником обретения политикой своей подлинной — публичной — природы.

В рамках такого понимания авторы активно используют классические формы разведения модусов власти (*власти над* и *власти для*), делая упор на отмечаемые Х. Арендт источники этой формы доминирования — способность коллективного актора к “(само)организации и социальной интеграции” [там же: 137]. Из этого следует, что игнорирование прав граждан и их дискриминация как субъектов власти и управления, а также произвольное использование властями силовых методов предопределяет трансформацию власти в “господство”. Эта крайняя аберрация власти помимо властной асимметрии утверждает паттерны “отношений господина и раба”, предопределяя неограниченность и произвольность применения власти, рассматриваемую авторами как морально незаконную и несправедливую форму принуждения [там же: 10–11]. Более того, “господство” не только умножает в обществе источники внутреннего напряжения, но и является причиной *не-решения* стратегических проблем общества, что влияет на утрату политикой своих атрибутивных характеристик.

Авторы понимают политику как “институционализированную, основанную на универсальном доверии, а не на насилии, конкуренцию ориентированных на общее благо проектов и решений среди неограниченного круга свободных граждан” [там же: 17], как деятельность, направленную на расширение прав, поощрение активности населения и даже на “эмансипацию человека” [там же: 6]. В русле избранного ими подхода ее реализация возможна только в “институционализированной публичной сфере” [там же: 18]. Такое понимание предполагает выделение в качестве существенных черт политики конкуренции “проектов

и решений, ориентированных на общее благо и развитие, на расширение прав и возможностей индивидов”, неразрывно связанных с конфликтным характером такого взаимодействия, наличием универсальных норм и наличием у людей свободного выбора [там же]. Таким образом, политика органически связывается с расширением “возможностей deliberации и влиянием людей на ключевые аспекты социального бытия” [там же: 8]. А ее “ключевым аспектом” оказывается “целесолагание — определение стратегических целей, имеющих общественное значение и относящихся к общему благу”, что превращает его в необходимое условие “социетальной интеграции, сотрудничества и солидарности” [там же: 7-8].

Нужно заметить, что эта концептуальная конструкция не только опирается на определенный опыт эволюции демократических систем, но и отражает отсутствие общепринятых представлений о политике, власти и управлении. Нам представляется, что целый ряд используемых авторами идей Аристотеля (более адекватных практикам локальных политий) и этически заостренные представления Х. Арндт не вполне соответствуют современному опыту политической эволюции государств, вплетенных в сложносоставные внутри- и внешнеполитические коммуникации. Иначе говоря, опыт исторического саморазвертывания политики и власти выявил в этих явлениях многие черты, которые не успели обрести зрелость при иных социальных обстоятельствах (впрочем, это по сути касается всего научного знания, целый ряд базовых референций которого сегодня уже не позволяют релевантно отражать действительность).

Мировой опыт показывает, что власть (поддержим авторов в ее понимании как основы организации социального порядка) в государстве (и даже в локальных структурах) не завоевывается ради удовольствия ощутить свое временное превосходство. При этом большинство интерпретаций власти (независимо от атрибутивных или надперсональных трактовок) так или иначе отражает вертикальную асимметрию диспозиций ее участников, предполагая “способность” субъекта (оператора власти) использовать доминирующие позиции. Либо для самовоспроизводства централизованно-иерархических зависимостей, либо для достижения неких целевых показателей. Таким образом, концепт *власти над* отражает не столько “субъект-объектные отношения с нулевой суммой” [там же: 57], сколько автономность доминирующего актора и его способность к различным формам использования своего положения. И хотя авторы верно подчеркивают внутреннюю градацию властного превосходства, их стремление идентифицировать “господство” как его крайнюю форму (жестко связанную с силовыми и произвольными практиками ее применения) не слишком убедительно, ибо существует масса равноценных контраргументов, предлагающих для этого лексемы гегемонии, монополизма и др. Да и опыт показывает, что даже демократии, поддерживая установленный порядок, нередко прибегают к насильственным методам регулирования общественных отношений (сильно ограничивающих права граждан). Так что мы в большей степени склонны солидаризироваться с Б. Джессопом, утверждающим, что термин “господство” обладает избыточной метафоричностью, да и вообще “никакого господства в целом и никакой общей формы господства не существует” [Джессоп 2019: 33].

Исходя из сказанного, можно утверждать, что *власть для* (которой авторы почему-то отказывают в инструментальном характере, лишая ее генетических черт асимметрии и зависимости объекта власти от субъекта власти [Господство против политики... 2019: 57]) как раз и демонстрирует использование субъектом своих приоритетных диспозиций для достижения определенных целей. Подчеркнем, что такая целеустремленность субъекта в государстве поддерживается при помо-

щи методов, различающихся с точки зрения как их предметной дифференциации (экономической, политической, правовой и проч.), так и их функциональных различий (в сферах контроля, регулирования, управления, убеждения и др.).

Однако если авторы делают акцент на *коллективном характере* актора применения власти, то почему они считают таковым только массы? Правящее меньшинство вполне подходит под такие определения и, более того, все отмечаемые авторами параметры власти — “совместность”, “инициативность”, “самоорганизация” и др. — в первую очередь аттестуют именно его политико-управленческую активность. Вспомним в связи с этим позицию Г. Моска, который доказал, что элиты превосходят массового актора прежде всего за счет своей внутренней организованности, в силу чего и имеют возможность определять характер представительных механизмов, каналы рекрутирования и т.д. Именно элиты являются тем субъектом, который использует власть и определяет очертания политического пространства, формируя тем самым противоречивую констелляцию “множества интересов” и демонстрируя “искусство управления с учетом многих интересов” [там же: 13]. В то же время абсолютному числу рядовых граждан (а не политическим активистам или узкому слою политически мобилизованного сообщества) нужна не власть, а *влияние* (отражающее признание *другими* их прав и диспозиций). Поэтому борьба за власть и политическое участие, требующие перехода от частной к публичной жизни, являются по сути — для подавляющего числа граждан — кризисной формой социальной активности. В любом случае население, общество граждан — в силу своей социальной распыленности и низкой организованности — всегда остается заложником тех сил, которые имеют право говорить от лица государства.

Невозможно опровергнуть тот факт, что элиты являются основными операторами государственной власти. Однако, сохраняя собственные интересы и собственное прочтение “общего блага”, элиты действуют в пределах, которые устанавливает им не столько общество, сколько условия и формат конкуренции внутри правящего меньшинства. В то же время граждане и их представители, как правило, не имеют достаточной информации и квалификации для оппонирования госменеджерам и политикам, утрачивая подчас даже право “выбирать” управленческие альтернативы.

С учетом этого исторического факта стремление авторов закрепить за массовым гражданским актором некие гарантированные и привилегированные права на участие в политике и управлении представляется не имеющим убедительных аргументов. Особенно учитывая, что правящее меньшинство постоянно использует возможности не только публичного, но и скрытого от глаз общества пространства власти. Стремление авторов исключить референтные группировки элиты из числа политических акторов [там же: 23] не только нереалистично, но и игнорирует реальную проблему современного политического развития: как обществу можно было бы установить — хотя бы частичный — контроль за деятельностью латентных элитарных структур?

В немалой степени именно под влиянием этих игроков, продвигающих интересы правящего меньшинства и аффилированных с ним групп (каждая из которых имеет собственное представление об “общих благах” и “интересах”), в пространстве политики постоянно возникают многочисленные фронтирные зоны публичности и легальности. Думается, что в таких условиях задача выработки универсального “общего блага” и “универсального доверия”, чему, по мысли авторов, должна быть подчинена вся политическая конкуренция [там же: 16], имеет мало шансов на реализацию.

Конечно, крайне важно стремиться направить усилия ключевых игроков (и, прежде всего, государства) на формирование “условий социетальной интеграции, сотрудничества и солидарности” [там же]. И отчасти с такой задачей можно было бы согласиться (даже учитывая существующие в обществе социокультурные разломы). Если бы не правящее меньшинство, не только являющееся нетипичным для общества социальным образованием, но и демонстрирующее повышенную социальную энергию в плане продвижения собственных интересов. Более того, часть этих группировок уже сейчас глубоко встроилась в различные международные коалиции и трансграничные проекты, что только усилило автономность их позиций во внутренней политике государства. И этой тенденции, увы, не могут противостоять раздающиеся в отечественной науке предложения о “национализации” политической элиты или прогнозы о формировании “элит развития”.

Учитывая системообразующую и высокочисленную роль правящего меньшинства, следует признать, что фиктивный характер публичной политики в современном российском обществе означает не исчезновение политики как таковой (и не превращение ее в “квазиполитику” или “недополитику” [там же: 17]), а перемещение основных коммуникаций этого типа в другую часть политического пространства, в зону истеблишмента. Соответствующим образом в этом подпространстве меняются и политические атрибуты: публичная сфера обретает имитационный характер, оставаясь зоной информационно-пропагандистских акций; легитимация превращается в самолегитимацию центров власти; межгрупповая конкуренция сужается до соперничества элитарных коалиций; институциональные нормы подменяются стандартами патрон-клиентского типа и т.д. Одним словом, для субстанциональной трактовки политики никакие отсылки к универсалии общего блага и приоритетной роли институтов и процедур не могут специфицировать политику, поскольку все они касаются *частных*, нередко и в принципе неидентифицируемых параметров этой формы управления социальными процессами.

В конечном счете дело не в том, *как* определить политику, а в том, чтобы связать это явление с *общественно-исторической востребованностью* данного способа организации социального взаимодействия. И в этом смысле попытки разорвать генетическую связь политики и власти, делая акценты лишь на коллективные (деятельностные, морально-этические) начала политики не дают возможности увидеть ее общественно-регулятивный функционал, качественно отличающий ее от силовых, экономических, правовых или нравственных способов применения власти.

Как показывает мировой исторический опыт, политика заняла свое место в структуре общества, предложив особые методы применения власти и управления, предполагающие использование инструментов *символического* давления субъекта на оппонентов путем апелляции к своему (явному или не существующему) ресурсному преимуществу, способных продемонстрировать потенциальную угрозу применения насилия. Успех такого терапевтического *принуждения* оппонентов был неизбежно связан с созданием *неравновесных* отношений с оппонентами, основанных на применении двойных и тройных стандартов (что, собственно, и позволяло *обыгрывать* соперников и достигать поставленных целей). В этом смысле институциональные нормы, правила или законодательные установления использовались политическими игроками исключительно контекстуально, в силу необходимости усиления давления на

соперников (вспомним, к примеру, что практически все государства до сих пор обвиняют своих политических конкурентов в нарушении “международного права”, “соглашений”, “договоров” и т.д.).

Одним словом, именно формы неконгруэнтного регулирования (отражающего применение *одних и тех же* символических методов при разрешении *разнообразных* общественных конфликтов) и позволяли субъекту навязывать оппонентам (без применения силовых методов) свои цели и интересы. На этой основе данные коммуникации не только сформировали политическое пространство (в единстве всех его арен и площадок), но и позволили центрам власти (управления) трансформировать общественные отношения (институты, позиции и интересы соперников) путем проведения (публичных или скрытых от общества) различного рода переговоров, манифестаций, презентаций и других аналогичных методов социального общения (не исключающих, однако, ни демагогию, ни манипулирование, ни блеф, ни другие уловки и трюки).

Конечно, подобные приемы всегда существовали в социальной среде. Только появление государства придало этим методам масштаб межгрупповых отношений крупных социальных сил. Именно правящее в государстве меньшинство операционализировало понимание того, что поддержание нужного баланса сил (в целях упрочения легитимации и целевого проектирования) требует налаживания определенных коммуникаций, способных “убедить” оппонентов в преимуществе устанавливаемых этим меньшинством целей. Собственно, на этой основе политика и сформировалась как историческое явление, положив начало формированию и институционализации соответствующей *сферы* общественной жизни. Благодаря применению этих коммуникативных методов политика превратилась в разновидность *игрового взаимодействия*, выигрыш в котором зависел от искусства субъекта в использовании символических аргументов. При этом, как ранее, так и теперь, политическое применение власти (здесь мы солидарны с авторами) осуществляется в зоне, ограниченной, с одной стороны, административным принуждением, а с другой — применением физической (вооруженной со стороны государства и мятежно-погромно-революционной со стороны общества) силы.

Учитывая сказанное, не следует идеализировать и даже чрезмерно гуманизировать политическую форму применения власти. Перефразируя известное высказывание Маркса, следует признать, что нет такого обмана, нарушения закона или попрания моральных норм, на которые не пойдет политический игрок ради достижения своих (особенно крупных, жизненно важных) целей. Таким образом, и на фоне мирового опыта, и уж, конечно, “российского случая” довольно неубедительными выглядят призывы авторов ограничить поле политики исключительно институализированными формами и активностью свободных граждан [там же] или же их убежденность в универсализме механизмов делиберации, решающей роли правил и процедур, которым якобы надлежит регулировать политические коммуникации.

Одним словом, стоит с большой осторожностью отнестись к идее авторов, не желающих сводить “политику исключительно к властным отношениям (или к отношениям по поводу власти)” и не отождествлять ее “с борьбой за власть — ее захватом, сохранением, переделом, употреблением и т.п.” [там же: 19]. Конечно, все содержание политики не сводится исключительно к властным намерениям, оно включает и некие интенции к компромиссу базовых ценностей, компоненты сугубо игрового взаимодействия, потребности игро-

ков в самопрезентации и т.д. Однако эти аспекты не должны заслонять самой сути политики, в первую очередь являющейся способом регулирования баланса сил в целях наиболее результативного применения власти (что и является основанием для целенаправленного распределения общественных ресурсов).

По своей природе политика является не столько способом обеспечения целостности социума и укрепления совместности его различных сегментов, сколько инструментом *применения власти* на основе регулирования баланса конкурирующих за ее прерогативы сил. Посему в политике всегда есть и (символическое) принуждение, и насилие (в виде агрессивной пропаганды, монополизирующей информационное пространство), и диверсифицированные образы общего блага, и ограничения для участия акторов, не выдерживающих конкуренцию за власть или не способных встроиться в механизмы принятия решений. В силу сочетания свободных и институализированных практик в политике складывается множество разнородных арен и площадок, где прямые апелляции к власти сочетаются с сопутствующими, а временами и декоративными формами активности разных игроков. И такой разнородный характер политики является прямым порождением как диверсификации центров власти, так и полиморфной природы государства. Без своей властной сердцевины политика давно бы утратила свой общественный статус, превратившись в разновидность бытовой коммуникации.

Иными словами, власть и политика могут переплетаться по-разному, но власть никогда не позволяет политике “гулять самой по себе”. Политика — это мощный и гибкий инструмент властного регулирования и управления социумом, постоянно используемый для легитимации, продвижения (прикрытия) различных проектов, контроля за обществом и противоборства с противниками и конкурентами¹. При этом политические акции распространяются на все общественные отношения, где для достижения цели могут применяться методы символического давления. По этой причине политика по преимуществу инструментальна, ее цели задают любые вращающиеся в этом поле акторы, в то время как масштаб ее распространения, а также сочетание публичных и латентных арен, всегда обладают историческим, контекстуальным характером. Так что пока существуют люди и государства (а равно и любые формы территориальной организации социального порядка), будут существовать и власть, и политика. Такое понимание не только порождает сомнения в предлагаемом авторами концепте “постполитики”, но и позволяет считать “предполитикой” [там же: 17] лишь тот период человеческой истории, когда доминировали характерные для вождей формы потестарной власти. В силу сказанного не вызывают особой поддержки и попытки авторов связать *природу* политики с уровнем воззрений граждан, их отношением к политическому участию и институтам власти [там же: 108–116].

Возможно, самым существенным фактором, значение которого признают сами авторы книги и который диверсифицирует пространство политики и ограничивает роль публичных институтов и гражданских структур, является “целеполагание”, или принятие политических решений. Доступ к принятию таких решений и есть ответ на вопрос, для чего люди борются за власть.

Вспомним, что существенную дистанцированность населения от структур принятия решений обуславливает сама *морфология* государственной власти, предполагающая экранирование аппаратом управления всех форм внешнего дав-

¹ Опять сошлемся на Б. Джессопа, который писал, что “контроль и подавление инакомыслия... так же важны, как и формирование согласия” [Джессоп 2019: 34].

ления. Такое дистанцирование от рычагов власти распространяется и на граждан, которые в данном отношении рассматриваются как дилетанты, не имеющие необходимых ресурсов и компетенций. Опыт показал, что выработанные историей механизмы представительства социальных интересов, а также и прямые формы давления населения на институты власти имеют весьма ограниченное значение при принятии решений, перераспределяющих крупные общественные ресурсы. Подтверждением этому является неуклонное возрастание роли органов исполнительной власти и усиление их влияния по сравнению с представительными институтами, увеличение числа лиц, попадающих в органы власти на основе кооптации и ротации (в значительной мере исключаящей их ответственность перед населением), снижение влияния партийных структур и т.д. При этом, реагируя на постоянное усложнение взаимоотношений государства и общества, а также на новые политико-мировые тенденции (транснационализацию, регионализацию, глобализацию), правящее меньшинство постоянно использует *дополнительные* каналы и механизмы укрепления своих политико-управленческих позиций.

Характерные для республиканского строя представительные механизмы не только не позволяют населению на полноправной основе включиться в разработку целей государственной политики, но и не способны создать прочную зависимость элиты от общественного мнения. Применительно же к принятию ключевых, стратегических решений, формирующих особую зону деловых коммуникаций и образующих своеобразный эпицентр власти, куда допускаются только наиболее влиятельные политические игроки (не обязательно обладающие формальными полномочиями), дистанцированность граждан от рычагов власти возрастает многократно.

В то же время референтные группировки правящего меньшинства (аффилированные с крупными бизнес-структурами и другими контролерами и собственниками информационных, финансовых и иных ресурсов), используя методы неформального давления на центры принятия решений, легко преодолевают административные, а подчас и правовые барьеры. В силу этого сетевые коалиции элиты встраиваются в публичные институты (а порой и колонизируют их), постепенно превращаясь в основных законоперишников принимаемых решений. Надо признаться, что, несмотря на существование таких игроков и на более ранних стадиях эволюции государства, только нынешняя фаза его развития отразила способность правящих кругов к эффективному использованию возможностей сетевого влияния на распределение ресурсов общества. Одновременно — превращая делиберативные и дискурсивные механизмы власти во вспомогательный элемент политики, находящийся на глубокой периферии принятия ключевых государственных решений.

Конечно, интенции авторов, резко выступающих против российских аналогов сетевых коалиций элиты, хорошо понятны. Эти коалиции формируют “зону власти”, отношения внутри которой “носят принципиально неполитический характер и регулируются не универсальными нормами, а кликовыми ‘понятиями’ и личными договоренностями” [там же: 9]. Политические идентичности они тем самым замещают лояльностью к принципам кликовой организации и заменяют политическое принятие решений администрированием, “блокирующим массовое вовлечение граждан в политические практики” [там же: 20–21]. Такая установка позволяет авторам утверждать, что в этой зоне “осуществляется не *политическая власть*, а *неполитическое господство*, основными инструментами которого являются манипулирование желаниями людей, пропаганда, деньги и сила (в пределе переходящая в произвол и насилие)” [там же: 23].

Подчеркнем, не существует никаких (кроме постулируемых) оснований деполитизировать активность неформальных акторов, которые по-своему участвуют в борьбе за власть и распределении ресурсов. Уместно также напомнить и то, что латентные структуры “грязной общественности” (которые давят на избирателей, организуют провокации на митингах, избивают оппозиционеров и т.д.) делают свою “политическую работу” тоже не из любви к искусству. Референтные группировки правящего меньшинства лучше своих оппонентов используют предоставляемые государством возможности для продвижения своих интересов (обыгрывая граждан, их представителей и лидеров), и этот факт побуждает глубже задуматься о *реальных* возможностях и ограничениях, которые устанавливает республиканский строй для влияния граждан на распределяемые в государстве ресурсы.

Существенно и то, что “клики” (как разновидность неформальных сообществ) являются внутренне *закрытыми* ассоциациями и в силу своей ригидности не всегда способны к оперативным ответам на вызовы времени, что не позволяет им контролировать принятие решений на протяжении длительного времени. Вместе с тем сетевые коалиции, будучи сообществами открытого типа, меняющими свой состав и конфигурацию при изменении деловых обстоятельств, напротив, могут оперативно реагировать на вызовы времени, сохраняя политическую устойчивость при любых режимах правления. И хотя они увеличивают автономность элиты и ее защищенность от “посягательств” общества, одновременно они придают дополнительную гибкость и адаптивность аппарату управления. Учитывая заинтересованность конкретных сетей в получении ресурсов по принципу здесь и сейчас, отдельные участки государственного управления, где их заинтересованность либо краткосрочна, либо отсутствует вовсе, могут “проседать” и даже провоцировать снижение внимания правительства к стратегическим целям. Однако именно сетевая активность элиты компенсирует неповоротливость иерархической системы управления.

Понятно, что сетевая активность постоянно порождает скрытую аффилиацию чиновников с бизнесом и с другими влиятельными игроками, что укрепляет латентные отношения в политике и управлении в целом. Помимо прочего это означает, что на практике госаппарат дифференцирован не столько по ветвям и институтам власти, сколько по фактическим связям чиновников и политиков с наиболее ресурсно оснащенными игроками. К примеру, состав региональных законодательных собраний и легислатур, и даже Государственной Думы, во многом представлен набором лоялистов, солидарных не только и не столько с официальными структурами и фигурами, сколько с поддерживающими их активность ресурсно оснащенными игроками. Наличие таких взаимосвязей показывает, что отставка отдельных лиц и даже смена правящих партий может не отражаться на доминирующих (монопольных) сетях, для которых смена не устраивающих население лидеров не способна изменить их позиции в пространстве власти. Такое положение постоянно подвергается ожесточенной критике (что делают и авторы), однако пока ни одно, даже самое демократическое государство не смогло освободить свои институты от сетевых (в том числе и международных) “партнеров”. Так что разница между автократиями и демократиями заключается лишь в *масштабах* сетевого контроля за структурами власти и управления, а также в *объеме* контролируемых неформальными структурами общественных ресурсов.

Конечно, многим ученым неприятно осознавать, что благодаря элитарным сетям разработка ключевых государственных решений уходит в недоступную для граждан зону, снижая возможности публичной политики влиять на правительственную повестку, коррекцию программ и проектов, кадровые назначения, на содержательное наполнение “общественных интересов” (которые подчас сохраняют лишь свою символическую форму). Тем более что в “российском случае” мы видим, что даже массовый дискурс (онлайн-делиберативные форумы и аналогичные формы гражданской активности) заключен в прокрустово ложе изначально заданных политических предпочтений правящего меньшинства, позволяющих ему осуществлять не столько диалог с обществом, сколько предварительный анализ общественной повестки с точки зрения рисков, создаваемых населением для правящего режима или конкретных фигур. В этом смысле *эмпайрмент* означает не отсутствие политической дискриминации граждан, а их *отвлечение* властями от “горячих тем” и *отлучение* от реальных рычагов реализации своих интересов. При этом власти всегда имеют возможность “пригласить к разговору” созданные ими партии-спойлеры, проправительственные гражданские ассоциации, а также использовать технические средства управления голосованием и т.д. Выиграть в этой игре с властями, прямо скажем, довольно сложно. Тем более что правящие круги постоянно учатся на своих ошибках, изыскивая новые комбинации разнообразных методов для усиления своего контроля.

Следствием сетевого контроля элиты за механизмами принятия ключевых государственных решений является, прежде всего, принципиальное сокращение публичности (с общими интересами общества, правами граждан на участие и ее другими атрибутами), свидетельствующее об *изменении ее места* в сложном сочетании латентных и публичных сегментов государственной власти и мирополитических связей. Поэтому призывы к восстановлению в России подлинной политической конкуренции, снижению утилитарности элиты и повышению ее морально-этических качеств и ответственности перед обществом звучат заманчиво, но не учитывают, однако, *уже произошедшего* изменения в соотношении сил элитарных и неэлитарных слоев.

Сетевые коалиции правящего меньшинства уже обрели дополнительные позиции, с которыми не намерены расставаться. И даже если некие публичные акции и спровоцируют кризис или приведут к смене отдельных фигур, правящих партий или режима, то через самое короткое время вновь заработают латентные механизмы государственного управления и победителями окажутся — пусть и иные — элитарные сети. Так что, даже соглашаясь с призывом авторов защищать политику “от давления узких идеологий, узколобых национальных интересов и краткосрочного популизма профессиональных политиков, господства произвольной власти” [там же: 15], нужно признать, что решение этих проблем не даст ни гражданам, ни официальной власти инструментария контроля за элитарными сетями и механизмами распределительной политики.

Принципиальным следствием нового позиционирования неформальных элитарных сетей становится выход норм и правил их “делового” общения *за рамки* зоны принятия решений, их трансляция на другие арены и площадки политической власти. Напомним, что в науке уже в 1930-х годах отмечали появление “политических машин”, устанавливающих локальные формы управления вне институционального порядка, что свидетельствовало о появлении противопоставленной официальным структурам своеобразной “системы” отправления власти. Думается “российский случай” является нагляд-

ным примером аналогичного расширения влияния неформальных игроков, создающих для своих правил *дополнительные* политические пространства. В результате этого зарождающиеся в скрытых от общества недрах политики замыслы “сетевых феодалов” обретают плоть не только в государственных решениях, но и в правовых формах (усиливающих ограничения для институтов административного аудита), расширении санкций и инструментов дисциплинирования общества и укреплении структур императивной координации. Более того, эти клиентелистские нормы начинают *заражать* и гражданское общество, провоцируя распространение социальных болезней, разрушающих внутреннюю солидарность социума.

Противопоставляемые этим практикам благородные помыслы авторов свидетельствуют об их приверженности историческому периоду, когда “синие воротнички” стали использовать политические инструменты для защиты своих интересов, в результате чего существенно изменился институциональный дизайн индустриальной политической системы. Но нельзя забывать, что это также был период ученичества правящей элиты, которая со временем стала лучше понимать, как можно сохранить свои позиции под давлением гражданских структур и их объединений. Не сразу, но элита научилась работать с населением, выработав механизмы, позволявшие сохранять власть, умиротворяя запросы и протесты несогласных. И сегодня можно наблюдать, как это меньшинство, используя, по мысли Ортеги-и-Гассета, законную силу принуждения для приватизации (*state capture*) и захвата государства, в весьма изощренных формах эксплуатирует “культурную и моральную неподготовленность” масс к контролю над властью и к исполнению гражданских функций. При этом чем дальше, тем больше правящее меньшинство использует для самолегитимации потенциал своих латентных игроков (действующих под прикрытием аппаратной иерархии) и информационно-символической политики.

Итак, *политика граждан* очень заманчива, но лучше быть реалистами, признавая приоритеты правящей элиты, “существование которой, по-видимому... неизбежно, как и существование мозга у биологических особей, принадлежащих к развитым биологическим видам” [Сергеев 2013: 19]. Нельзя забывать и предупреждение Михельса, что любая, особенно крупная организация, неизбежно ведет к выделению правящей “олигархии”, не только выполняющей специализированные функции по управлению, но и использующей свои прерогативы для реализации собственных интересов. Считать же, что формирование, по крайней мере, части элиты в результате (электорального) выбора населения является основанием, гарантирующим ее зависимость от граждан или же предполагает отбор необходимых обществу лидеров, довольно наивно.

Отечественный пример наглядно показывает, что политика обретает новый исторический облик, в еще большей степени трансформируя отношения государства и общества и временами даже утрачивая свой гуманистический смысл. Представляется, можно говорить о *трех* основных трендах в развитии организации власти и государственного управления. Первое и, возможно, самое тривиальное предположение позволяет увидеть за этими реалиями очередную волну изменений в отношениях правящего меньшинства с массами, такие волны образуют циклический процесс смены “исторических лидеров”. Не случайно, анализируя эти процессы, Дж. Хигли пишет о “сменяющихся друг друга” формах “доминирования элит и не-элит” [Хигли 2011: 29].

Вторая тенденция, скрывающаяся за отношениями неэлитарных и элитарных слоев, состоит в качественном увеличении исторической агрессии последних, которые за счет референтных группировок начинают формировать новый тип организации власти, не только качественно увеличивая ее роль в проектировании решений, но и последовательно выдавливая гражданское сообщество за пределы политического пространства. Поскольку в таком случае речь идет о еще большей автономизации самодостаточных политико-управленческих кругов в части фабрикации общественных благ и продвижении проектов консолидации с международными сегментами, то даже нынешний функционал апелляции власти к этому сообществу стремительно сокращается. Впрочем, в этом тренде может быть заложен и положительный для общества результат, ибо мы знаем, что демократически ориентированные элиты могут сделать для развития демократии больше, чем самые массовые формы участия.

Третья тенденция — формирование матричных, децентрализованных систем управления, распространяющихся на все пространство власти и демонстрирующих превосходство неформальных коммуникаций перед нормативными формами общения. И это подкрепляет идею, что политика в целом является исключительно “сетевым феноменом” [McClurg, Lazer 2014: 1-4]. Так что распространение неиерархических структур на весь диапазон властных отношений может стать поворотным моментом в истории отношений общества и государства, ибо в конечном счете ставит вопрос об историческом существовании последнего.

Показательно, что общим знаменателем всех трех тенденций является неуклонное *сокращение управленческого функционала публичной политики* в условиях нарастающих требований к оперативности ответов государства на внешние и внутренние вызовы. Изучение латентных и “системных” практик представляется более перспективным направлением исследований, нежели апелляция к “политике граждан”. В любом случае истину следовало бы искать не в нормативном постулировании (и здесь мы категорически не согласны с авторами, утверждающими центральную “роль нормативных теорий справедливости и свободы... для анализа соотношения господства и власти, а также для формулирования политики по отношению к ним” [Господство против политики... 2019: 65]), а в изучении все более очевидных эффектов властного распределения общественных благ и ресурсов. Единственным основанием для реабилитации нормативизма можно считать обнажение на его фоне демонстративной “жадности” политико-административных элит, проектирующих (на фоне пассивности населения и беспомощности гражданских лидеров) траектории развития государства.

В этом смысле рассматривать “российский случай” через призму “честной” и “процедурной” политической конкуренции, аттестующей приоритеты массового актора, значит предлагать российскому обществу схему европейской политики последней трети прошлого века. Но такая схема вряд ли сможет прижиться в политической системе, которая уже *проскочила* стадию демократии, освоив технологии, позволяющие элитам решать свои задачи, добиваясь — пусть и вынужденного — согласия населения. Поэтому вряд ли перспективно использовать для объяснения современности “аристотелевско-арендтовскую” парадигму, демонстрирующую свою историческую и эпистемологическую усталость.

И все же нельзя не признать, что авторам, при всей спорности их исходных оснований, удалось написать отличную и своевременную книгу, которую рекомендуем прочитать всем увлеченным исследователям российской политики.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.10](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.10)

POWER AND POLITICS. POLEMIC NOTES ABOUT “DAMNED QUESTIONS” OF POLITICAL SCIENCE

A.I. Solovyov¹

¹Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia

SOLOVYOV, Alexandr Ivanovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, email: solovyev@spa.msu.ru

Solovyov A.I. Power and Politics. Polemic Notes about “Damned Questions” of Political Science. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 135–147. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.10>

Received: 02.08.2020. Accepted: 26.08.2020

Abstract. The article attempts to polemically challenge the main methodological approaches to the specification of politics and power, developed and promoted by the authors of the monograph “Domination versus politics: the Russian case. The effectiveness of the institutional structure and the potential of strategies for political change”, published in 2019 by the “Political Encyclopedia Publishers”. The assessment of this work is generally positive. At the same time, the authors of the monograph use the Aristotelian-Arendian paradigm, which carries visible signs of historical and theoretical fatigue, as a cognitive basis for characterizing the modern space of politics and power. As part of the polemic with the authors of the monograph, the article notes that the colonization of official structures and institutions of power in a modern state by informal networks of the ruling elite increasingly limits the tools of public policy in making state decisions. Assumptions are made about the main trends in the evolution of relations between the elite and non-elite strata in the modern state, and about the further narrowing of the social space for “citizens’ politics”.

Keywords: power, politics, management, government decision-making, the ruling elite, the policy of citizens.

147

References

McClurg S.D., Lazer D. 2014. Political Network. — *Social Network. An International Journal of Structural Analysis*. Vol. 36. No 1. P. 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2013.09.001>

Gel'man V.Ya. 2010. “Disruptive” Institutions and Informal Governance in Modern Russia. — *Politeia*. No. 2. P. 6–24. (In Russ.) <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2010-57-2-6-24>

Gospodstvo protiv politiki: rossiiskii sluchai. Ehfektivnost' institutsional'noi struktury i potentsial strategii politicheskikh izmenenii [Domination versus Politics: the Russian Case. The Effectiveness of the Institutional Structure and the Potential of Strategies for Political Changes]. 2019. Ed. by S.V. Patrushev, L.E. Filippova. Moscow: Political Encyclopedia Publishers. 319 p. (In Russ.)

Higley J. 2011. Ehlyty, vneehlyitnye gruppy i predely politiki: teoreticheskii rakurs [Elites, Non-Elite Groups and the Limits of Politics: A Theoretical Perspective]. — *Ehlyty i obshchestvo v sravnitel'nom izmerenii* [Elites and society in a comparative dimension] Ed. by O.V. Gaman-Golutvina. Moscow: ROSSPEN. P. 294–304. (In Russ.)

Jessop B. 2019. *The State: Past, Present, Future*. (Russ. ed.: Jessop B. *Gosudarstvo: proshloe, nastoyashchee i budushchee*. Moscow: Delo Publishing House (RANEPa). 504 p.

Sergeyev V.M. 2013. *Narodovlastiye na sluzhbe elit* [Democracy in the Service of the Elites]. Moscow: MGIMO University Publishing House. 264 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

Гельман В.Я. 2010. “Подрывные” институты и неформальное управление в современной России. — *Полития*. № 2. С. 6–24. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2010-57-2-6-24>

Господство против политики: российский случай. Эффективность институциональной структуры и потенциал стратегий политических изменений. 2019. Отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова. М.: Политическая энциклопедия. 319 с.

Джессоп Б. 2019. *Государство: прошлое, настоящее и будущее*. М.: Издательский дом “Дело” РАНХиГС. 504 с.

Сергеев В.М. 2013. *Народовластие на службе элит*. М.: МГИМО-Университет. 265 с.

Хигли Дж. 2011. Элиты, внеэлитные группы и пределы политики: теоретический ракурс. — *Элиты и общество в сравнительном измерении*. Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Российская политическая энциклопедия. С. 294–304.

ГОСУДАРСТВО ВО ВРЕМЕНАХ И ПРОСТРАНСТВАХ: МНОГООБРАЗИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ

В.В. Лапкин

ЛАПКИН Владимир Валентинович, ведущий научный сотрудник, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Москва, email: vvh@politstudies.ru

Лапкин В.В. Государство во временах и пространствах: многообразие и изменчивость. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 148–162. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.11>

Статья поступила в редакцию: 12.09.2020. Принята к публикации: 10.10.2020

Аннотация. Дестабилизация мировой политики последнего десятилетия актуализирует задачу более глубокого и комплексного понимания природы современного государства и возможности его адаптации к переменам, происходящим как в сфере межгосударственных отношений, так и в вопросах внутренней политики — взаимоотношения государственного аппарата с национальным политическим сообществом, т.е. за пределами и в пределах легитимного территориального контроля государства. Очевидным и во многих отношениях незаменимым подспорьем в решении этой задачи представляется переведенная в прошлом году на русский язык фундаментальная монография Боба Джессопа “Государство: прошлое, настоящее и будущее” (B. Jessop. *The State: Past, Present, Future*. Cambridge: Polity. 2016). В силу своей многоплановости в настоящей статье монография Джессопа неизбежно получит лишь частичное отражение, притом под, очевидно, субъективным углом зрения и в формате свободного размышления. Целью статьи является привлечение внимания читателей к этому ценнейшему ресурсу концептуализации и полиморфического анализа государства как по-прежнему ключевого понятия политической науки. Свой оригинальный (стратегически-реляционный, как Джессоп его называет) подход к этому феномену нашего политического воображения он сочетает с критическим анализом иных, широко распространенных подходов (марксизма, либерализма, консерватизма, реализма и неореализма). Фактически он предлагает метод фундаментального синтеза этих подходов, выводящий на новое качество политического анализа. Историзм, компаративизм, общемировой контекст и эволюционирующая природа государственности — вот основа этого альтернативного подхода к системному изучению государства и государственной власти. Почти конвенциональное в современной политической науке представление о современном государстве как таковом, — включающем его фундаментальные институционально разделенные составляющие, а также интегрирующие его принципы, — описывает, согласно Джессопу, лишь частный случай государства капиталистического типа. Наряду с таким, по сути “идеализированным”, государством существуют и эффективно обеспечивают интересы своих политических сообществ государства иного рода, которым присущи далеко не все нормативные, согласно канонам политической науки, характеристики институционального строя и принципы организации единого социального, экономического и политического бытия.

Ключевые слова: государство, мировая политика, мировой рынок, стратегически-реляционный подход, политический анализ, полиморфический анализ, политическое воображение, государственное управление, общественное отношение, власть, интересы, господство.

ОБ ОЧЕВИДНОМ И НЕТРИВИАЛЬНОМ (В КАЧЕСТВЕ ВВЕДЕНИЯ)

Глобальный мир вступил в период критической неустойчивости и почти беспрецедентных по интенсивности перемен. Но перемены эти пока слабо, на первый взгляд, затрагивают “материю” мира политики: формальный набор конституирующих его институтов, его территориально-государственное размежевание, наработанные практики взаимодействия его основных субъектов. Перемены сфокусированы по большей части на идеальной сфере политического мировосприятия: решительно преобразуются наши нормативные представления о современной политике, паттерны политической культуры и принципы международных отношений, представления о допустимом и должном.

Вместе с тем, в “штормящем море” политики, где отголоски “бури” ощущаются сегодня повсеместно, есть по меньшей мере один устойчивый и эффективно сопротивляющийся переменам “островок”. Таким “островком” предстает государство в его многочисленных и разнообразных изводах, условно объединяемых ключевыми, определяющими признаками “современности” и “территориальности”. Границы современных территориальных государств, задающие им своего рода структурно-функциональную рамку, по-прежнему конституируют геополитическое пространство мировой суши (за исключением Антарктиды), расчленяя его на соответствующие клетки-“контейнеры” (см., например, [Колосов 2018: 28]), прочно сцепленные друг с другом когезией¹ межгосударственных связывающих обязательств и взаимоотношений в важнейших сферах общественной жизни (политики, экономики, культуры, науки, технологии, образования, здравоохранения и пр.).

Формирование такого государства как почти безальтернативной “политической оболочки” современных макросообществ, претендующих на политическую субъектность, решает тем самым важнейшую, экзистенциальную задачу, встающую перед каждым из них, — задачу эффективного накопления экономических и политических ресурсов, капитала и власти, соответственно. Вместе с тем, территориальная “рамка” современного государства по-прежнему остается ключевым структурным элементом, поддерживающим действенность его адаптивных возможностей, способность к мобилизации латентных ресурсов внутренней политической консолидации образующего государство сообщества, эффективность его контроля над сферой конфликтного, но вместе с тем фундаментально симбиотического сосуществования общества и государства (см., например, [Соловьев 2018; 2019]).

Эта в определенном отношении “неожиданная” жизнеспособность национально-территориального государства, ярко проявившаяся (в частности, в условиях пандемии 2020 г.) в эпоху уже почти консенсусного признания его глубокого кризиса, побуждает к глубокой ревизии наших представлений о природе государства как целого, а также об отдельных важнейших аспектах этого политического феномена. В ряду этих аспектов — его генезис, его проектирование (средствами политического воображения), его институциональность, воплощение им собою особого вида общественных отношений, его пространственность и темпоральность, его связь с нацией как иденти-

¹ Когезия (лат. *cohaesus* — “связанный”, “сцепленный”); сцепление, слипание однородных частиц в единое тело (в данном случае — в международную систему); характеризует прочность тела и его способность противостоять разлагающему воздействию.

фицирующим себя с государством воображаемым сообществом, с мировым рынком как порождением процессов интеграции национальных рынков и их “поглотителем”, наконец, с “мировым сообществом”, как своего рода “псевдосубъектом” политического миропорядка.

Представляется, что исследователям, заинтересованным в продвижении по этим направлениям, готовым к ревизионистскому отношению к государству как базовому концепту политической науки, незаменным подспорьем станет (а многим, полагаем, уже стала) книга Боба Джессопа “*The State: Past, Present, Future*” [Jessor 2016], переведенная на русский язык в 2019 г. (Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее и будущее [Джессоп 2019]). Сразу заметим, книга эта издана, казалось бы, совсем недавно, но политическая повестка за прошедшие с тех пор четыре года разительно изменилась. Достаточно напомнить, что она вышла в свет еще до начала атаки Д. Трампа, уже как президента США, на глобалистский проект. То есть до того, как США в его лице заявили, фактически, о примате партикулярных интересов своего “национального капитала” над интересами космополитического капитала глобалистских элит (встретив, разумеется, со стороны последних жесточайшую реакцию неприятия такой политики). И до беспрецедентного внутривнутриполитического потрясения демократического режима в ходе президентской избирательной кампании 2020 г. в США. Произошедшие в последние годы перемены — как в отдельных государствах, так и в целом в сфере межгосударственных отношений — актуализируют представленный в книге Б. Джессопа теоретический анализ государства. Но одновременно выявляют его очевидную неокончателность, потребность в дальнейшем продвижении и осмыслении всех многочисленных новаций государственно-политической практики последних лет, и вместе с тем — высокую методологическую оснащенность, открытость к восприятию нового.

Монография Джессопа подразделяется на Введение (глава 1) и три части: “Государство как понятие, отношение и реальность” (главы 2-4), “О территории, аппарате и населении” (главы 5-7), “Прошлое и настоящее (варианты будущего) государства” (главы 8-10).

Вот квинтэссенция того, как содержание этих глав анонсирует сам автор. “...В главе 2 исследуется понятие государства и отдается предпочтение внешне привычному ‘трехчастному’ подходу к определению государства, в основе которого лежит взаимосвязь между территорией, аппаратом и населением государства. Этот подход модифицируется путем добавления четвертого элемента, а именно ‘идеи государства’, или государственного проекта, который определяет природу и цели государственных действий” [там же: 44-45]. “...В главе 3 развивается тезис о том, что государство представляет собой не субъект или вещь, а общественное отношение (*social relation*). Это эллиптическое выражение смещает внимание с элементов государства к государственной власти” как “институционально и дискурсивно опосредованной конденсации... меняющегося баланса сил, стремящихся влиять на формы, цели и содержание политической системы, политического процесса и мер государственной политики” [там же: 45]. В главе 4 проводится соотнесение власти, интересов и господства с “отношением между властью класса и государственной властью... В ней... предлагается... плодотворное разграничение между капиталистическим типом государства и государством в капиталистических обществах”

[там же], вновь подчеркивающее полиморфическую и поликонтекстуальную природу государства. “В главе 5 рассматривается социопространственная организация государства, выходящая за пределы узко понимаемого вопроса территориальности”. В связи с этим “...в ней рассматривается генеалогия государства в категориях автономного формирования самых первых государств, то есть тех географически широко рассредоточенных случаев, когда некоторое ‘государство’ впервые возникает путем территориализации политической власти...”, а также рассматривается “государственность в категориях места, масштаба, сети и социопространственности в более общем плане” [там же: 46]. Глава 6 фокусируется на проблемах населения государства; в ней проводятся различия “между национальным государством и государством-нацией”, выделяются “виды бытия наций в качестве воображаемого сообщества”, изучается “значимость гражданского общества для государства и государственной власти” [там же]. “Глава 7... рассматривает характерные особенности различных способов управления, их провалы и роль государства в решении проблем, связанных с провалами управления, как по собственной инициативе, так и в качестве адресата последней инстанции, которого призывают к действию другие социальные силы”² [там же: 46-47]. “В главе 8 изучается меняющееся отношение между мировым рынком и миром государств и рассматривается вопрос, подрывает ли глобализация территориальный и темпоральный суверенитет государств” [там же: 47]. “В главе 9 исследуется избирательное сродство между капитализмом и либеральной демократией, рассматривается подъем авторитарного этатизма и ставится вопрос, не становится ли государство с исключительными/чрезвычайными полномочиями ‘новой нормой’” [там же]. “Глава 10 завершает книгу некоторыми замечаниями относительно недостающих звеньев и открытых вопросов...” [там же].

В формате статьи возможно представить лишь частичное отражение содержательного богатства монографии — в силу ее почти энциклопедической многоплановости, — притом отражение заведомо субъективное и сопряженное со свободными размышлениями автора статьи и, безусловно, далеко не исчерпывающее все предметно-тематическое поле и концептуальное пространство монографии... В дальнейшем эти размышления будут развиваться — в целях структурирования изложения — преимущественно в четырех широко представленных в ней направлениях.

Первый комплекс проблем связан с а) генезисом государства, б) его институциональным обустройством и ресурсным обеспечением в условиях жесточайшей внутренней и внешней конкуренции со стороны альтернативных проектов (и соответствующих субъектов) государственного и иных вариантов политического обустройства интегрированных сообществ³, в) обсуждением его эволюционных перспектив.

² Этот тезис Джессопа о государстве как “адресате последней инстанции, которого призывают к действию другие социальные силы” означает признание глубокого эволюционного потенциала государства. Именно это дает шанс сообществу, даже в условиях глубочайшей политической катастрофы и грандиозного “провала управления”, прибегнув к смене режима и даже политической системы, выстроить принципиально иную политическую систему и перейти к возрождению государства на этой новой основе. Политическая история XX в. дает многочисленные примеры таких трансформаций.

³ В данном контексте уместна, впрочем, и очень точная и значимая ремарка Джессопа: “Контроль и подавление *инакомыслия (dissent)* так же важны, как и формирование *согласия (consent)*” [Джессоп 2019: 34]

Второй комплекс проблем обусловлен ключевым функциональным предназначением современного государства — организацией накопления власти и капитала в условиях прогрессирующих трендов универсализации и тотальности мирового рынка и политической глобализации, а также затрагивает сопряженные с реализацией этой функции вопросы пространственно-территориальной экспансии этой государственной модели и — одновременно — экстратерриториальной экспансии глобальных экономических сетей.

Третий комплекс проблем сфокусирован на нациестроительстве как базовом каркасе современного государства и системной смычке власти и общества в условиях капитализма. А также — на анализе новых трендов, фиксирующих латентное вызревание альтернативных форм политической организации сообществ современного мира.

Наконец, четвертый проблемный комплекс ориентирован на оценку перспектив государства как оптимальной, универсальной формы политической организации разнородных сообществ, претендующих на субъектность и автономию в вопросах полагания и достижения целей собственного развития. Эта оценка в конечном счете будет дана лишь по итогам своего рода стресс-теста государственной формы на способность сохранять суверенитет при разработке и продвижении стратегий развития государствообразующего сообщества в условиях экспансии сетей (*networks*) глобального управления.

Эти четыре направления, структурирующие наши размышления, вполне закономерно перекликаются с содержательной структурой монографии, но допускают и определенное смещение акцентов, обусловленное нашей субъективной позицией, выбором приоритетных, с нашей точки зрения, направлений политического анализа и целей политического развития в период критической неустойчивости, в который мы вступаем... уже вошли.

ГОСУДАРСТВО КАК АНСАМБЛЬ ИНСТИТУТОВ (АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРСПЕКТИВ)

Пожалуй, базовым для Джессопа в его понимании и трактовке государства является представление о нем как о “сложном ансамбле... институтов, организаций и взаимодействий, участвующих в осуществлении политического лидерства и реализации решений... которые... являются коллективно обязывающими для его политических субъектов” [там же: 53]. Такое понимание государства как институционального и организационно-взаимодействующего ансамбля (комплекса) с обязывающим членством, призванного обеспечивать постановку целей и мобилизацию доступных и необходимых для их достижения ресурсов, позволяет расширить пространственные (до глобальных пределов) и временные (далеко вглубь веков и в неопределенность будущего) горизонты функционирования таких ансамблей (или сборок). Иными словами, функционирующая государственность простирается во времени и пространстве повсюду, где диагностируются организованные и институционально оформленные политические взаимодействия.

Настаивая на столь расширительном понимании государства, Джессоп вступает в открытую полемику с идеями Габриэля Алмонда, Дэвида Истона и Толкотта Парсонса [Almond 1960; Easton 1965; Parsons 1969], подвергая критике претензии структурно-функционального подхода на универсаль-

ность и продвигая свой оригинальный стратегически-реляционный подход. В рамках последнего государство понимается как “полиморфный ансамбль институтов” [Джессоп 2019: 38], что, разумеется, предполагает функциональную дифференциацию этих институтов, но привносит в рассмотрение политического сквозь призму государства и еще один важный компонент. Джессоп акцентирует внимание на “эмерджентной логике и динамике различных институциональных порядков или функциональных подсистем и на связанных с ней асимметричных возможностях, которыми она наделяет различных акторов в конкретных полях взаимодействия, включая многоуровневые, многосторонние и многопространственные арены” [там же: 42]. Иными словами, в логике “агентоцентричного” институционализма [там же] акцентируется эволюционный потенциал (потенциал изменчивости, инновационности) этого “ансамбля институтов, организаций и взаимодействия”.

Джессоп особо выделяет три составляющие политического, выдвигая исследователям политики требование “...по меньшей мере некоторого внимания к политической системе, политическому процессу и государственной политике” [там же: 54]. Развивая этот тезис, он дает собственную аранжировку классической триаде семантически близких базовых понятий политической науки, центрирующих три соответствующих понятийных поля.

Во-первых, это *политическая система* или “*полития*” (*polity*), т.е. та “институциональная матрица, которая устанавливает особую территорию, область, сферу, поле или регион специфически политических действий”, иными словами, “государственность в инклюзивном смысле данного понятия” [там же]. Во-вторых, это *политический процесс* (*politics*), понятие, относящееся “к формам, целям и объектам политических практик” и включающее “борьбу за ту или иную форму устройства государства и более широкой политической сферы, а также столкновения, происходящие за пределами государства...” [там же]⁴. В-третьих, от политического процесса перекидывается логический мостик к *государственной политике* (*policies*) как “*выработке политического курса*”⁵.

Так же как, вероятно, и читатель, Джессоп с некоторой эмоциональностью оценивает как “концептуальный кошмар” это многообразие понятийных полей, описывающих государственную политику [там же: 55]. В качестве меры определенной санации многообразия наших представлений о ней Джессоп отсылает читателя к классификации “способов рассмотрения государства” Ф. Абрамса [Abrams 1988]. Солидаризируясь с ним по существу⁶, он отвергает “овеществленное

⁴ Джессоп особо оговаривает, что, “хотя политическая система (*polity*) соотносится с чем-то статическим и пространственным, политический процесс (*politics*) по своей природе динамичен, неокончателен и гетерогенен” [Джессоп 2019: 54].

⁵ Именно *policies* есть *искусство возможного* (очень распространенное в отечественном политическом дискурсе, но не всегда ясно понимаемое выражение). Искусство выбора применяемых мер при выработке политического курса государства состоит в использовании *возможного* в ограниченных условиях текущего политического процесса, задающего “общее стратегическое направление государства и разделение в нем политического труда”. Тогда как государственная политика в этих рамках “обозначает конкретные поля государственного вмешательства и воздержания от такового, решений и отсутствия решений и т.д.” [Джессоп 2019: 55].

⁶ Джессоп дает развернутый комментарий позиции Абрамса: “фантазмагорическое представление о *государстве* как единой сущности скрывает неизбежную разобщенность реально существующей *государственной системы* как фрагментарного и хрупкого устройства институционализированной политической власти” [Джессоп 2019: 56]. А это “...мешает многим ... осознать, что они в идеологическом плену у идеи государства, которая в квазигегелевской терминологии представляет государство

понимание государства как самостоятельной единой сущности, актора, функции или отношения, отделенного от остального общества и действующего как необходимый, скрытый структурирующий механизм политической жизни” [Джессоп 2019: 55–56]. Предпочтение отдается двум другим подходам к его пониманию как: (1) “государственной системы” с “в лучшем случае лишь относительно единым..., ядром институтов, организаций и практик, более или менее обширных”; и (2) “идеологической силе (*idée-force*)”, или “идее государства... укорененной в коллективном ложном представлении, маскирующей политическое и экономическое доминирование в капиталистических обществах такими способами, которые легитимизируют подчинение ему” [там же: 56].

Ключевой момент, выявляемый авторским подходом Джессопа к анализу природы и эволюционного потенциала этого “особого типа социальных отношений”, именуемого государством [там же: 53], состоит в прицельной сфокусированности на анализе “действительной роли реальных политических институтов и практик в осуществлении господства” [там же: 52]. Феномен и тайна *социального господства* (того, что в просторечии называют властью)⁷ составляют нерв политического (политико-институционального и политико-процессуального) анализа (исследований *polity* и *politics*). Государство сегодня, во всех его существующих в нынешнем “многополярном” мире изводах, является лишь одной из возможных “масок” *социального господства*, причем этот тип (или эта форма) *господства* стремительно теряет свою эффективность и привлекательность, уступая иным, экстра- и экстерриториальным типам (или формам), основанным на сетевом принципе взаимодействия и обезличенных и виртуальных транзакциях информационно-финансового характера.

Итак, государство, и прежде всего территориальное государство как идеалтипическая организационная форма, утрачивает свою “эксклюзивность”, статус универсального инструмента властного принуждения. Ясное осознание этого факта позволяет Джессопу перейти к анализу происхождения (в историческом⁸ и этимологическом ракурсах) концепта государства (*the*

в качестве бескорыстного слуги общих интересов. Так что задача обществоведов состоит в том, чтобы демистифицировать государство, решительно сорвать с него маску, доказать, что *государства как самостоятельной, единой сущности не существует*” [там же: 56–57]. Это, в свою очередь, “...открывает пространство для критики *идеи государства* и ее фетишистской власти над актерами политической сцены и требует такой критики...”, требует “изучать государство таким, каким оно реально является и функционирует... в его более широких политических и социальных контекстах” [там же: 57].

⁷ “В рамках исследования власти как господства возможности понимаются как *социально структурированные*, а не *социально аморфные* (или произвольные). Рассматриваются систематические, институционализированные, регулярно воспроизводимые реципрокные отношения, а не одностороннее навязывание воли. Власть как господство обеспечивает непрерывность общественных отношений” [Джессоп 2019: 196]. Это — важнейший вывод, выявляющий ведущий эволюционный механизм совершенствования государственной формы политического бытия сообщества, а вместе с тем, — историческое предназначение и оправдание *государства*, функционально предназначенного для обеспечения воспроизводства этого особого вида политических общественных отношений на основании принципов взаимности власти и сообщества.

⁸ Джессоп ясно представляет историческое происхождение концепта государства, сформировавшегося “для описания определенного вида правления в Западной Европе и его последующего распространения” [Джессоп 2019: 58]. “В результате большая часть истории человечества выпадает из поля зрения теории государства и ее исследований и рассматривается только как *предыстория*...” [там же: 59]. А альтернативой европоцентристскому подходу, разделяющему государства “на традиционные и современные... является рассмотрение способов локализации (территориализации) политической власти и изучение альтернативных политических воображений и описаний предшественников современного государства” [там же].

State)⁹, задаваясь, в частности, вопросами: “почему исторически определенная семантика ‘государства’ (*‘state’*) остается неизменной, застывшей вопреки вековому и даже тысячелетнему историческому процессу формирования государства?” [там же: 58], а также применима ли “...(европоцентристская) теория государства к территориально организованным формам политической власти за пределами центров формирования европейских государств?” [там же: 31]. “Такая рефлексия, — резюмирует Джессоп, — может помочь выявить историческую специфику различных форм политической организации, политических режимов и типов государств” [там же]. Общим же для всех этих форм, режимов и типов оказывается то, что “...все эти разнообразные институциональные и организационные формы демонстрируют свои государствовподобные качества через усилия, которые они предпринимают по установлению, применению и консолидации политической власти над населением определенной территории. ...Подобные усилия стали предприниматься задолго до появления идеи современного государства, но в итоге привели к неожиданному триумфу этой государственной формы над другими, исторически возможными в то время” [там же: 59].

Но может быть еще более интересным и многообещающим ракурсом анализа природы современного государства, предлагаемым и последовательно разрабатываемым Джессопом, является включение им в рассмотрение соотношенности социальной и политической природы сообществ с глобальным контекстом капитализма и с императивом накопления для получения ими конкурентных преимуществ и самовоспроизводства. При этом отличительной особенностью его подхода оказывается проблематизация безусловности капиталистической природы современных государств.

ГОСУДАРСТВО И КАПИТАЛ (АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВ И ТЕРРИТОРИЙ)

Уделяя значительное внимание анализу природы современного государства, Джессоп проблематизирует мейнстримные представления о временной и пространственной беспредельности его взаимосвязи с капитализмом. Он продвигает концепцию пестрого капитализма (*variegated capitalism*) [там же: 15, 17, 361-362], сочетающего в рамках потенциально единого, но неравномерно интегрированного мирового рынка конфликтное сосуществование разнородных типов (или разновидностей) капитализма. Что закономерно выводит на проблему современных методов глобального сетевого управления нации- и государственным строительством, а также характера и природы взаимоотношений государства и общества в рамках ограничений, заданных капиталистическим рынком и капиталистическим накоплением¹⁰.

Фактически Джессоп исходит из того, что почти конвенциональное в современной политической науке представление о современном государстве как

⁹ К сожалению, перечень приводимых Джессопом альтернативных концептов, используемых для описания “государствоподобных объединений” (*“state-like assemblages”*) [Jessop 2016: 19], имеет очевидную лакуну, труднообъяснимую как с исторической точки зрения, так и ввиду резкого усиления практического интереса к этой форме государственности в последнее десятилетие, ее перспективности в логике *realpolitik*.

¹⁰ “...Ориентированное на получение чистой прибыли и опосредованное рынком накопление является доминирующим принципом общественной организации в мировом сообществе” [Джессоп 2019: 32].

таковом¹¹, — является лишь частным случаем “государства капиталистического типа” [там же: 219]. Постольку, поскольку возможно существование и государств иного рода, которым присущи далеко не все приводимые Джессопом характеристики его институционального строя и принципы организации единого социального, экономического и политического бытия...

Тем не менее, в построениях Джессопа очевидна определенная нечеткость сопряженного с понятием “государство капиталистического типа” понятия “капиталистическое общество”, которое, ввиду “страдательности” и “объектности” в отношениях с капиталом точнее было бы понимать как “общество в условиях доминирования капиталистического экономического уклада”. Более того, полагая (вполне справедливо) возможность “сильного институционального разделения экономической и политической систем” в рамках (капиталистического) общества и вводя разграничение “капиталистического типа государства” и “государства в капиталистическом обществе” [там же: 191], подразумевающее, что разница здесь лишь в типе государства, тогда как общество в обоих случаях гарантированно “капиталистическое”, Джессоп упускает возможность расширения этой типологии и на “некапиталистические общества”. Для этих последних также можно рассмотреть дихотомию “капиталистического” и “некапиталистического” типов государства. А вместе с тем и альтернативу “сильному институциональному разделению экономической и политической систем”. Тогда гипотетически становятся возможными все четыре комбинации, т.е. (1) “капиталистические экономические и капиталистические государственно-политические институты”, (2) “некапиталистические экономические и капиталистические государственно-политические институты”, (3) “капиталистические экономические и некапиталистические государственно-политические институты” и, наконец, (4) “некапиталистические экономические и некапиталистические государственно-политические институты”.

В качестве сугубо предварительного предположения, требующего более тщательной верификации, следует обратить внимание на то, что классическое капиталистическое общество в полной мере сложилось, видимо, лишь в пространстве западноевропейского мира и некоторых из бывших британских переселенческих колоний (на основе которых в последующем возникли современные США, Австралия, Новая Зеландия, Канада...). Относительно других обществ, сформировавшихся в иной цивилизационной среде, но в остальном вполне современных, их капиталистическая природа не очевидна. Типология Джессопа явно ориентирована на мир Запада, а возможности распространения его методологического подхода на сферу иных, незападных государств современного мира, им явно недооцениваются. Тогда как теоретический потенциал его подхода представляется существенно более широким¹².

¹¹ В его основе — фундаментальное институциональное разделение сфер экономики, политики и социальных отношений, при их столь же фундаментальном сочленении на принципах легитимного представительства и конституционализма, верховенства права и равенства перед законом, территориального контроля и монополии на принуждение, *raison d'etat* и суверенитета, ограниченного балансом международных сил [Джессоп 2019: 219, 222],

¹² Отметим, что такой “расширенный” взгляд на предлагаемую методологию анализа предполагает фальсификацию понятий “капиталистическое общество”, а также “капиталистические экономические институты” и “капиталистические государственно-политические институты”. Это обращает нас к концептуализации политической истории в парадигмальных рамках “эволюции систем накопления”, в которых

Интеграция мирового рынка радикально меняет пространственно-временные характеристики государства, побуждает его к более активным действиям за пределами собственной территории, в общедоступных пространствах и вне режима территориального контроля. При этом решающим вызовом государственному суверенитету и фактором, приоритетно воздействующим на темп и направление (спектр сопряженных направлений) глобальной политической эволюции, определяющим конкурентную селекцию государств в современном глобальном мире, оказывается социальная динамика.

Другим важнейшим вызовом и фактором политической эволюции предстают процессы “...коэволюции мирового рынка и мира государств...” [там же: 359], сопряженные с “растущим господством логики капитала” и его освобождением “от ограничений национальных вместилищ власти” [там же: 369]. Джессоп отмечает усиливающуюся тенденцию “разгосударствления” (*destatization*), которое “перекраивает границы между государством и негосударственными аппаратами и видами деятельности. Как таковое оно изменяет разделение на публичное и частное и сокращает власть суверенного государства в сферах политического процесса и политики (*politics and policy*)” [там же: 376]. Этот тренд выявляет по сути фундаментальное историческое значение англосаксонской модели современного “суверенного” государства, ставшей удобным и эффективным инструментом территориального контроля и социальной агрегации в интересах капиталистического накопления, а вместе с тем, по мере распространения этой модели в ее формализованном виде на весь мир, — обеспечившей повсеместный и столь важный в логике капитала “сдвиг от правительства к управлению...” [там же].

Тем самым наблюдаемый сегодня кризис прежнего миропорядка можно рассматривать как закономерное следствие эволюционной трансформации государства. Проиллюстрируем это в пространственно-территориальной оптике анализа. Привычные нам “...национальные территориальные государства” рассматривались “...как взаимно исключающие, формально-суверенные, сегментированные в пространстве единицы современной межгосударственной системы” [там же: 375]. Но способность государства вычленять из свободного пространства подконтрольные ему территории не ограничивается лишь земной сушей как сферой социальных интеракций (хотя именно она и была первым таким пространством). Сегодня обнаруживается все больше примеров того, что современное государство эффективно переносит практики *расчленения и территориализации* и на иные множащиеся *пространства* человеческого общения¹³ — с последующим обретением политического контроля над ними. При этом основными объектами такой экспансии выступают пространства приватного, частная жизнь граждан и пространства их виртуального общения¹⁴, интернет. А государство предстает в своей истинной, глубинной сути как форма политической консолидации и организации сообщества на

реализация накопления допустима (в рамках государства) не только в частно-капиталистическом, но и в переходном и дуальном форматах, а также и за его пределами (см. подробнее [Лапкин, Пантин 2019]).

¹³ Для их изучения Джессоп вводит понятие *социопространственности* и определяет *пространство* как состоящее из “социально-конструируемых сетей и горизонтов социального действия, которые подразделяют и организуют материальный, социальный и воображаемый мир (миры), а также ориентируют действия в аспекте таких разделений” [Джессоп 2019: 245].

¹⁴ В частности, Джессоп справедливо констатирует: “...киберпространство быстро колонизируется, отслеживается и контролируется государствами...” [Джессоп 2019: 379].

основе разграничения контроля и территориализации тех пространств, к которым получает доступ.

ГОСУДАРСТВО И НАЦИЯ (АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОСТИ)

“Народостроительство” (*‘people building’*) рассматривается Джессопом “как одна из конституирующих характеристик государственного строительства”. Изначально власти противостоит лишь “население или угрожающая масса, плебс или толпа (*mobile vulgus*), которая требует, чтобы ею управляли...” [там же: 285]. Народ становится источником власти именно после того, как властью создаются институты представительства, дающие ей “право” (или повод) считать себя легитимированной народным доверием (мандатом), получаемым взамен наделения населения правами. Иными словами, масса (толпа), обретающая качества организованности и способности к взаимодействию с властью, становится *народом*, своего рода “корпоративной личностью, которая формируется как *unum e pluribus...*”, *нацией*, “воображаемым сообществом с некоторой исторической преемственностью, основанной на реконструированном прошлом, воображаемом настоящем и развертывающемся будущем” [там же].

Тем не менее в ряду социально детерминированных факторов, влияющих на форму “кристаллизации” государства, Джессопом упущен быть может важнейший: природа сообщества, сохраняющая значимую преемственность с до-капиталистическими общественными укладами. Во всех случаях современное государство формируется как воплощение “воли народа”, но социокультурный субстрат этого процесса политического воображения (проектирования и воплощения) в каждом случае особый, неповторимый.

В части заполнения этой очевидной лакуны паллиативное решение Джессопа — предложить в качестве такого фактора “доминирующий принцип организации общества (если таковой вообще существует) и его роль в (транс)формировании государства...” [там же: 101]. В ряду “претендующих на это место принципов” им упоминаются “маркетизация, внутренняя и внешняя безопасность, контроль над окружающей средой, инклюзивное гражданство, верховенство права, национализм, этничность и теократия” [там же], т.е. ключевые элементы системы ценностей и идентификационные паттерны, характерные для западноевропейской цивилизации, в ее модернистской, а отчасти уже и постмодернистской версии. Альтернативные ценностные и идентитарные источники государственного строительства за пределами западноевропейского культурного ареала им по существу не рассматриваются. А разного рода “незавершенные кристаллизации государственной власти” интерпретируются как эффекты, обусловленные “остаточными, маргинальными, иррелевантными, неподатливыми и противоречивыми элементами” структур данного общества [там же: 103-104].

Одним из шести важнейших измерений государства Джессоп полагает (наряду с формами представительства, сочленения, вмешательства, государственным проектом и гегемонистскими представлениями) его *социальную базу*, в основе которой лежит “институционализированный социальный компромисс” [там же: 130, 153-156]. Разрушение этого компромисса чревато общественными беспорядками, эксцессами гражданского противостояния и революциями. В частности, волнения в США лета-осени 2020 г. связаны

во многом с распадом прежнего “институционализированного социального компромисса”, остро проявляемым обществом недовольством государственной внутренней политикой, обусловленным как мерами и издержками борьбы с COVID-2019, так и многими более “частными”, но общественно значимыми проблемами. Недовольство — строго по Джессопу — нарастает вплоть до “общественных беспорядков, гражданской войны и революции”. Наряду с этим следует отметить также кризис внутривластной и внешне-политической гегемонии, препятствующий реализации прежде колоссальных возможностей вмешательства американского государства в общественную жизнь и выявляющий системную иррациональность его нынешней государственной политики...

Другой важный аспект в отношениях государства и нации — стремительное выхолащивание прежнего республиканского (*res publica*, — лат., общественное дело) содержания из представлений о “национальном”. Теперь ““национальное”... относится к территориальным институциональным структурам, а не к воображаемому национальному сообществу... Данная тенденция включает передачу некоторых полномочий, ранее локализуемых на *национальном* уровне, вверх... Другие полномочия делегируются вниз... Еще одни передаются вовне или узурпируются возникающими горизонтальными сетями власти...”, что в целом формирует тенденцию развития “новых форм многоуровневой власти...” [там же: 372-373]. Это разъяснение Джессопа демонстрирует, с одной стороны, всю условность привычной для нас формулы “национальное государство”, когда смысловое наполнение этого термина подразумевает типовые государственные институты, а не заключенную в государственную форму живую и наполненную созидательной социальной энергией нацию, а с другой — существо происходящей трансформации современного государства: “рычаги управления” государством прежде, как полагалось “по умолчанию”, находящиеся в распоряжении местных “национальных” элит, теперь активно отчуждаются у них. Эти “местные” элиты, в случае неспособности обрести (или теряя) доступ в узкий клуб “глобальных элит”, последовательно отстраняются от власти, а на смену, тесня их, приходят экстратерриториальные элиты, для которых государство по-прежнему остается удобным и эффективным инструментом контроля над территориально локализованными сообществами. К тому же в аспекте такого “перехвата рычагов” проблема осуществляемого глобальными центрами накопления сетевого управления государственным и нациестроительством в новых девелопменталистских режимах Джессопом не рассматривается.

ГОСУДАРСТВО И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО (АСПЕКТЫ СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕМПОРАЛЬНОСТИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ)

В этой заключительной части наших размышлений полагаем необходимым вернуться к изначальной постановке Джессопом задач изучения государства, чтобы оценить их адекватность и сущностную глубину. В частности, одна из поставленных им задач “...состоит в том, чтобы предложить такое определение государства, которое отражало бы его отличительные признаки как формы политической организации и способствовало анализу его институциональной и пространственно-временной изменчивости”. Историзм, компаративизм, общемировой контекст и эволюционирующая природа государственности —

вот основа развиваемого им подхода к системному изучению государства и государственной власти, подразумевающего “принятие (мета)теоретического, эпистемиологического и методологического плюрализма при анализе государства и тщательное рассмотрение наиболее уместных исходных пунктов и точек зрения в конкретных теоретических и практических контекстах...” [там же: 30]. Именно такой комплексный подход позволяет проследить тренды эволюции государства в условиях глобализации, проясняющие его перспективы. “...Реорганизация национального территориального государства характеризуется тремя общими тенденциями, варьирующимися в разных государствах и режимах, — трансформациями и рефункционализациями современного развитого капиталистического государства...” [там же: 371]. Они включают “...денационализацию государственности, разгосударствление политики и интернационализацию режимов выработки и осуществления политического курса... Существуют также три контртенденции: повышение роли государства в сочленении масштабов, сдвиг от власти к метауправлению в целях постоянного переупорядочивания связи между различными формами управления и усиления борьбы за гегемонию и господство над международными режимами выработки и осуществления политического курса. Сочетание сдвига от власти к правлению и от власти к метауправлению является еще одной иллюстрацией того, как перерабатывается парадокс части — целого. Сочетание тенденций и контртенденций предполагает, что национальное государство остается важной политической силой в рамках меняющегося миропорядка...” [там же: 372].

Выявляемые Джессопом тенденции и контртенденции сложного, многофакторного и многоуровневого взаимодействия территориального государства (мировой системы таких государств) с мировым капиталистическим рынком, воплощаемым трендами и субъектами неолиберальной глобализации, позволяют обнаружить в государстве эффективный комплексный инструмент институциональной, процессуальной и проектно-конструктивистской (организационной) природы, открывающий доступ к режиму территориального контроля и управления. И именно за это право доступа к инструментарию контроля над популяцией, локализованной и имобилизованной в рамках данной территории, идет постоянная борьба между субъектами политики разного рода. Сегодня наиболее острое и масштабное столкновение в борьбе за использования инструментария и возможностей государства описывается конфликтом так называемых национальных и так называемых глобалистских (космополитических) элит. Именно в этом конфликте — нерв нашей эпохи, и именно этот конфликт диагностирует востребованность государства и на обозримое будущее, в котором произойдет лишь реконфигурация сил, конкурирующих за возможность управлять и контролировать с помощью этого инструмента. А заодно, вероятно, новая конфигурация власти проведет его необходимый апгрейд. Сообщество обновленных государств и выработает, в конечном счете, принципы нового миропорядка. Возможные альтернативы, как их можно представить на данный момент, располагаются в диапазоне от империи, превосходящей “даже могущественное американское государство благодаря своей сетевой природе” [там же: 364], и до сложной, многоуровневой системы сосуществующих территориальных государств, международных институтов и транснациональных сетей. В любом случае, вооруженные перспек-

тивной методологией комплексного анализа, мы наблюдаем закат прежнего миропорядка, подразумевающего “пеструю межгосударственную систему или глобальную политическую систему, организованную по империалистическому типу и все более характеризующуюся провалом управления” [там же: 362].

Объем журнальной статьи не позволяет даже бегло перечислить все иные интригующие сюжеты и плодотворные концептуально-теоретические прорывы Джессопа, но, надеемся, у читателя есть возможность самостоятельно продолжить увлекательный заочный диалог с британским исследователем.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.11](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.11)

THE STATE IN TIMES AND SPACES: DIVERSITY AND VARIABILITY

V.V. Lapkin¹

¹*Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

LAPKIN, Vladimir Valentinovich, Leading Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, email: vvlh@politstudies.ru

Lapkin V.V. The State in Times and Spaces: Diversity and Variability. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 148-162. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.11>

Received: 12.09.2020. Accepted: 10.10.2020

Abstract. The destabilization of world politics over the last decade has actualized the need for a deeper and more comprehensive understanding of the nature of a modern state and its ability to adapt to changes both in the sphere of interstate relations and in domestic politics (the relationship of the state apparatus with its national political community, i.e. outside and within the legitimate territorial control of the state). An major – and in many respects irreplaceable – contribution to solving this problem is the foundational monograph by Bob Jessop, translated into Russian last year (Jessop B. 2016. The State: Past, Present, Future. Cambridge: Polity). Due to the complexity and versatility of Jessop’s monograph, this article it will inevitably be limited to only a partial reflection; moreover, this will be approached from an obviously subjective point of view, and in the format of free reflection. The purpose of the article is to draw readers’ attention to the invaluable resource of conceptualization and polymorphic analysis of the state as still being the key concept of political science it remains today. Jessop combines his original approach (in his words, strategic-relational) to this phenomenon of our political imagination with a critical analysis of other, widespread approaches (Marxism, liberalism, conservatism, realism, neorealism). In fact, he offers a method to fundamentally synthesise these approaches, leading to a new quality of political analysis. Historicism, comparativism, the global context, and the evolving nature of statehood are the basis of this alternative approach to the systemic study of the state and state power. Almost conventional in modern political science, the concept of the modern state as such – including its fundamental, institutionally separate components, as well as the principles that integrate it – describes, according to Jessop, only a special case of the capitalist-type state. Along with this essentially “idealized” state, there are still states of a different type, which also effectively ensure the interests of their political communities, without possessing all the normative characteristics (as they are defined by the canons of political science) of the institutional structure and without strictly observing the general principles of organizing social, economic and political life.

Keywords: state, world politics, world market, strategic-relational approach, political analysis, polymorphic analysis, political imagination, state governance, social relations, power, interests, domination.

References

- Abrams Ph. 1988. Notes on the Difficulty of Studying the State. — *Journal of Historical Sociology*. Vol. 1. No. 1. P. 58-89. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6443.1988.tb00004.x>
- Almond G. 1960. Introduction: A Functional Approach to Political Systems. — *The Politics of Developing Areas*. Ed. by G. Almond, J.S. Coleman. Princeton: Princeton University Press. P. 3-64.

Easton D. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.

Jessop B. 2016. *The State: Past, Present, Future*. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press. 303 p.

Parsons T. 1969. *Politics and Social Structure*. New York: Free Press.

Jessop B. 2019. The State: Past, Present, Future. (Russ. ed.: Jessop B. *Gosudarstvo: proshloe, nastoyashchee i budushchee*. Moscow: Izdatel'skii dom "Delo". 504 p.)

Kolosov V.A. 2018. Pogranichnye issledovaniya v Rossii i za rubezhom: teoreticheskie podkhody i dostizheniya [Frontier Studies in Russia and Abroad: Theoretical Approaches and Achievements]. — *Rossiiskoe pogranič'ye: vyzovy sosedstva* [The Russian Borderland: Neighborhood Challenges]. Ed. by V.A. Kolosov. Moscow: Publishing House IP Matushkina I.I. P. 17-38. (In Russ.)

Lapkin V.V., Pantin V.I. Historical Dynamics of the International Market System: Leadership Cycles, Geopolitical Expansion, and the Prospects for Transforming the World Order. — *Istoriya i sovremennost'*. No. 1. P. 17-61. (In Russ.) <https://doi.org/10.30884/iis/2019.01.02>

Solovyov A.I. 2018. State and Society: New Facets of Historical Conflict. — *South-Russian Journal of Social Sciences*. Vol. 19. No. 4. P. 6-24. (In Russ.). <https://doi.org/10.31429/26190567-19-4-6-24>

Solovyov A.I. 2019. Political Agenda of the Government, or Why the State Needs the Society. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 8-25. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02>

Литература на русском языке

Джессоп Б. 2019. *Государство: прошлое, настоящее и будущее*. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС. 504 с.

Колосов В.А. 2018. Пограничные исследования в России и за рубежом: теоретические подходы и достижения. — *Российское пограничье: вызовы соседства*. Под ред. В.А. Колосова. Москва: ИП Матушкина И.И. С. 17-38.

Лапкин В.В., Пантин В.И. 2019. Историческая динамика международной рыночной системы: циклы лидерства, геополитическая экспансия и перспективы трансформации мирового порядка. — *История и современность*. № 1. С. 17-61. <https://doi.org/10.30884/iis/2019.01.02>

Соловьев А.И. 2018. Государство и общество: новые грани исторического конфликта. — *Южно-российский журнал социальных наук*. Т. 19. № 4. С. 6-24. <https://doi.org/10.31429/26190567-19-4-6-24>

Соловьев А.И. 2019. Политическая повестка правительства, или зачем государству общество? — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 8-25. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.04.02>

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.12

“ГРЯДУЩАЯ ФИЛОСОФИЯ” МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И АПОФАТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ФРЕДА ДАЛЛМАЙРА

О.С. Кочеров

КОЧЕРОВ Олег Сергеевич, кандидат политических наук, младший научный сотрудник сектора восточных философий, Институт философии РАН, Москва, email: netherdead@yandex.ru

Кочеров О.С. “Грядущая философия” международных отношений и апофатическая демократия Фреда Даллмайра. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 163–172. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.12>

Статья поступила в редакцию: 19.06.2020. Принята к публикации: 11.09.2020

Аннотация. Статья приурочена к изданию книги “Cosmopolitan Civility. Global-Local Reflections with Fred Dallmayr” (New York: SUNY, 2020), но выходит за рамки творческого наследия Фреда Даллмайра, рассматривая становление философии международных отношений как самостоятельной дисциплины в контексте множественности философий в современном мире. Поскольку для этого сборника трудов, полилога разделяющих идеалы Ф. Даллмайра исследователей из разных культурных традиций, одним из краеугольных камней стала предложенная Даллмайром идея апофатической демократии, эта концепция анализируется в статье как идеал политического и мирополитического устройства. Рассматриваются ресурсы, имеющиеся у незападных стран для концептуализации и реализации апофатической демократии. Выявляются преимущества концепции апофатической демократии по сравнению с либеральной и агонистической версиями демократии с точки зрения теории международных отношений. Делается вывод о важности обращения незападных стран не только к мейнстримным самобытным философским традициям, но и к другим оригинальным учениям в рамках своих культур при артикуляции политических и внешнеполитических концепций. Апофатическая демократия рассматривается как один из возможных этических идеалов на мирополитической арене, достижение которого должно начинаться с реконцептуализации современных теорий международных отношений в рамках глобальной “грядущей” философии международных отношений при включении незападных эпистемологических, этических и иных релевантных философских концепций. В качестве одного из примеров такой реконцептуализации рассматривается развитая Ф. Даллмайром концепция Э. Дусселя о трех измерениях политического пространства: человеческих отношениях, акторах и представлении об общем благе как политическом идеале.

Ключевые слова: Фред Даллмайр, философия международных отношений, незападные мирополитические теории, апофатическая демократия, либеральная демократия, агонистическая демократия.

Философия задолго от нашего времени была связана с теорией международных отношений (ТМО)¹. Известно влияние, какое оказали Макиавелли и Гоббс на развитие мирополитического реализма, а Кант — на неолиберальную теорию демократического мира. В ходе вторых “Больших дебатов” связь философии с международными отношениями ослабла: произошел переход от эссенци-

¹ Вопрос о соотношении мировой политики и международных отношений выносится за рамки настоящей работы, в связи с чем здесь и далее эти два термина используются как синонимы.

алистской каузальности (деятельности акторов международных отношений как проявлении человеческой природы) к структуральной каузальности (деятельности акторов международных отношений как следствии существующей мирополитической структуры, будь то распределение силы на анархичной мировой арене или комплексная взаимозависимость). Хотя возникшие впоследствии конструктивизм и критические теории поспособствовали возвращению интереса к философии в рамках мировой политики, оформления философии международных отношений как полноценной дисциплины до сих пор не произошло. В большинстве случаев философия в международных отношениях возникает либо в дискуссиях о методологии их изучения (конструктивизм против критического реализма), либо при обращении к этическому измерению международных отношений в рамках политической теории. Как отмечает Крис Браун, это направление до сих пор крайне периферийно [Brown 2017].

Отечественные международники уже в 2003 г. рассуждали на круглом столе о необходимости создания новой дисциплины [Богатуров и др. 2004]. Наиболее детально тему философии международных отношений концептуализировал Э.Я. Баталов, подчеркнув, что она должна быть “обращена на поиски глубинных бытийных оснований процессов и явлений, происходящих на мировой арене, на раскрытие сущности международных отношений как особой формы реальности” [Баталов 2005: 7]. Он считал, что традиционные мирополитические теории не могли адекватно раскрыть причины свершившихся на международной арене изменений, равно как и достоверно предсказать будущее, поскольку “построение философской концепции и формирование национальной внешней политики — формы деятельности, совершенно отделенные одна от другой” [там же: 9]. Конечно, это не означает, что теория международных отношений в принципе не может функционировать без обращения к философии. Однако при отсутствии подобного обращения возникает несколько проблем. Во-первых, как отмечает С. Смит, нельзя провести четкую линию между фактами и ценностями, и любая теория международных отношений предполагает как специфические нормативные установки исследователей, так и определенные нормы поведения политических акторов [The Oxford Handbook... 2011: 776–784]. Нормативные установки могут породить погрешности в анализе международных процессов, которые в свою очередь ведут к ошибочному внешнеполитическому поведению акторов. Во-вторых, сомнительно, что без обращения к философии можно понять действия незападных акторов международных отношений, которые на протяжении большей части истории функционировали в иных локальных политических конфигурациях, чем западные акторы. В-третьих, многие категории ТМО едва ли можно назвать адекватными с позитивистской точки зрения: использование этих категорий уже предполагает определенную философскую рефлексию.

Российская школа международных отношений (вероятно, во многом благодаря не столь сильному влиянию западных позитивистских установок) проявила большой интерес к предложению Э.Я. Баталова. Со времени выхода его работ российская мирополитическая библиотека обогатилась рядом статей [Васильева, Лагутина 2012; Саямов 2018; Чешков 2005], монографий [Философия международных отношений... 2016] и учебников [Алексеева 2019].

Западные исследователи предпочитают говорить не о философии международных отношений, а о нормативной ТМО или о международной политической теории. Тем не менее едва ли можно говорить о том, что они являются полноценным аналогом философии международных отношений. Здесь как

минимум две тесно связанные друг с другом проблемы. Во-первых, международная политическая теория изучает преимущественно этическое измерение международных отношений и практически не уделяет внимания таким вопросам, как эпистемология или онтология международных отношений.

Во-вторых, нормативная теория международных отношений основана по большей части на западной политической теории. В современном мире и академическом сообществе уже во многом опровергнуты стереотипы о том, что в незападных культурах не существовало самодостаточной философии (или, по крайней мере, некой аналогичной деятельности). В то же время теория международных отношений до сих пор остается продуктом западной мысли. Безусловно, западные и отечественные международники испытывают немалый интерес к незападным странам (прежде всего из-за роли Азиатско-Тихоокеанского региона в политической повестке дня), но при этом методология анализа внешнеполитической активности этих государств и прогнозирования политической динамики берется из западной мирополитической теории. В незападных странах возникают и развиваются школы ТМО, но их представители зачастую «лишь пытаются добавить национальную специфику, оставаясь методологически и концептуально в орбите англо-американских школ» [Алексеева 2017: 228].

Как отмечает видный китаевед Е.Н. Грачиков, идеи таких международников, как Янь Сюэту, Чжао Тинян и Тан Шипин, не выходят за рамки традиционных западных мирополитических парадигм [Грачиков 2019: 187]. Янь Сюэту, к примеру, группирует воззрения древнекитайских философов на основе методологии Кеннета Нила Уолца (уровней анализа международных отношений: система – государство – индивид) [Yan 2011: 26], в то время как в самой древнекитайской философии есть и самобытные уровневые схемы. В «Да сюэ», трактате, входящем в конфуцианское «Четверокнижие», есть, например, следующий пассаж: «В древности желавшие высветлить светлую благодать в Поднебесной предварительно упорядочивали свое государство, желавшие упорядочить свое государство предварительно выравнивали свою семью, желавшие выровнять свою семью предварительно усовершенствовали свою личность...» [Конфуцианское... 2004: 93].

В китайской культуре семья считается ключевой социальной ячейкой, а при адаптации к западным реалиям можно заменить семью на любую группу, которая является политическим актором и с которой идентифицирует себя индивид. Почему же не обратиться к этой схеме вместо схемы Уолца?

Несмотря на то, что незападные школы международных отношений все же опираются на западную мирополитическую теорию, вполне вероятно, что в стремлении постулировать свою инаковость они в ближайшем будущем придут к самобытным мирополитическим концепциям, сконструированным с учетом соответствующих этических, онтологических и иных философских представлений. Каков будет формат их взаимодействия с западной теорией? Продолжит ли западная теория международных отношений быть доминирующим нарративом в постколониальном мире? Будут ли академические сообщества разных стран анализировать мирополитическую деятельность исключительно в рамках собственных теоретических построений? Произойдет ли, по словам известного политолога-китаеведа А.Д. Воскресенского, расширение «незападных (незападоцентричных) объективизированных подходов в рамках теоретических построений промежуточного (регионального) уровня» [Воскресенский 2013: 92-93]? Сформируется ли некая синтезированная миро-

политическая теория, которую Амитав Ачария² предлагает назвать “глобальные международные отношения” [Acharya 2014]? Учитывая, что ТМО предполагают существование философии (или философий) международных отношений, ответ на этот вопрос во многом зависит от того, будут ли найдены в этих философиях некие универсальные (или хотя бы близкие по духу) элементы.

Книга “*Cosmopolitan Civility*” [Cosmopolitan Civility... 2020], посвященная пути Фреда Даллмайра в науке, важна как для поиска общих элементов в разнообразных способах бытия/существования, так и для конструирования философии международных отношений. Труд представляет собой сборник статей, в котором исследователи из разных стран раскрывают основные идеи Даллмайра и вступают с ним в диалог.

Творческое наследие Даллмайра весьма многогранно, оно включает почти 30 монографий, 130 глав в коллективных монографиях и 190 публикаций в журналах. Кроме того, он редактор еще 17 трудов. Его академические интересы включают сравнительный анализ западной и восточной систем мышления (в частности, политического), теорию демократии, геополитику, мультикультурализм, энвайронментализм и педагогику. Он многократно приезжал в Россию, участвовал в конференциях, симпозиумах, выступал с лекциями в МГУ, Институте философии РАН, выпустил русский перевод статьи “Империя или космополис: цивилизация на распутье” [Даллмайр 2006] и монографии “В поисках достойной жизни” [Даллмайр 2009], а в 2019 г. вышел анализ сборника статей под редакцией Даллмайра [Глинчикова, Веретевская 2019]. Тем не менее не все стороны творческой деятельности Фреда Даллмайра известны российскому читателю.

С точки зрения Даллмайра, главной ценностью в международной жизни должна стать демократия. Это не западная либеральная минималистическая демократия, которая приводит к атомизации общества и усилению влияния корпораций. По его мнению, нельзя сводить социум к совокупности индивидов, стремящихся лишь к максимизации собственной выгоды. Общество, в котором у индивидов нет общей цементирующей цели, сродни платоновскому “городу свиней” [Dallmayr 2017: 29; Plat. Resp.]. Нельзя сказать, что все аргументы Даллмайра бесспорны, но ведь и Сократу не удалось переубедить Калликла.

Даллмайр также критикует и западную модель агонистической демократии, т.е. конкуренции различных ценностных установок как гаранта политической стабильности. В этом случае конфликт становится благом. Даллмайр ставит под вопрос, насколько ценностные установки неизменны, а их носители способны к диалогу. Верно и его замечание, что едва ли можно воспринимать как благо любой конфликт на мирополитической арене (например, палестино-израильский) [Dallmayr 2017: 31]. Идея конфликта сторон и самосовершенствование как результат конфликта, а также средство одержать в нем верх распространена в западной традиции, которая впитала в себя древнегреческий идеал *агона*. Один из британских сторонников агонистической демократии, Марк Уэнмэн, концептуализирует *агон* не как соревнование (*athlios*), а как сам акт единения людей (участников, судей, зрителей в Олимпийских играх), чтобы провести состязание [Wenman 2013: 274]. Таким образом, *athlios* означает временную победу самого удачливого или талантливого атлета (актера) до следующего цикла (Игр, выборов), а *агон* — акт сопричастности к происходящему, проявление (со)общности людей.

² Амитав Ачария, заслуженный профессор Школы международной службы Американского университета в Вашингтоне. В 2015 г. награжден Ассоциацией международных исследований за “вклад в незападную теорию международных отношений”.

В западной традиции, отмечает Уэнмэн, *athlios* нередко становился важнее агона. Значимую роль здесь сыграл укоренившийся в западной культуре антагонистический дуализм (добро и зло, “цивилизованный рациональный Запад” и “дикий мистический Восток”, геополитическое противостояние суши и моря, добродетельные США (“сияющий град на холме”) и “империя зла” СССР, демократический мир и “ось зла”). Особенно ярко этот антагонизм проявляется на шахматной доске, которая во многом благодаря Збигневу Бжезинскому (и, вероятно, чуть в меньшей степени другим международникам, использовавшим этот образ) стала политическим символом Запада. В Европе шахматы ассоциировались как со сражением двух феодальных (а позднее национальных) государств, так и с противостоянием сил добра и зла (или жизни и смерти). Победа в конфликте приобретает особую этико-политическую значимость [Кочеров 2018: 59–61]. Неудивительно поэтому, что появились такие труды, как “Столкновение цивилизаций” Сэмюэла Хантингтона. Сумеют ли адепты агонистической демократии вернуть *агону* верховенство над *athlios* (особенно в международных отношениях) — большой вопрос.

Гораздо ближе к демократическому идеалу Даллмайра концепция делиберативной демократии, чаще всего ассоциируемая с Юргеном Хабермасом. Даллмайра привлекает предполагаемое этой моделью участие граждан в обсуждении и реализации политического процесса и ее акцент на полилоге как важнейшем аспекте демократии. В то же время основной недостаток этой концепции Даллмайр видит в том, что рациональный дискурс находится в привилегированном положении относительно праксиса (и, в частности, духовного опыта) [Dallmayr 2017: 34].

Свой демократический идеал Даллмайр называет “апофатической демократией” (*apophatic democracy*). Эта концепция стала итогом многолетнего анализа Даллмайром западных и незападных философских идей и представляет собой синтез разных опытов бытийствования.

Одним из важнейших источников вдохновения для Даллмайра становится экзистенциализм Мартина Хайдеггера. По интерпретации Даллмайра, рассмотренной политологом Эдуардом Деменчком в первой главе сборника, сущность человеческого бытия (*Dasein*) заключается в поиске смыслов и ценностей, обусловленном заботой (*Sorge*) о мире, контекстах и конфигурациях, в которых существует человек, и остальных людях. Забота тесно увязана с праксисом “позволения быть” (*Seinlassen*), который может проявляться как спонтанное, естественное раскрытие сущности бытия, так и результат усилий других людей раскрыть эту сущность бытия через открытость к отличиям и ненарушение их естественности. Хайдеггеровское бытие-в-мире таким образом превращается в “благобытие-в-мире” (*well-being-in-the-world*), а диалогичность, которую Даллмайр перенял не только от Хайдеггера, но и от Р. Паниккара, Х. Гадамера, Э. Левинаса и М. Мерло-Понти, становится основным инструментом реализации такого бытия.

Взаимозависимость элементов мира в динамично развивающихся контекстах остается для Даллмайра и даллмайровского Хайдеггера важнейшим аспектом политической жизни. Демократия в этой системе координат — реляционный праксис, т.е. человеческая деятельность в системе комплексных социально-духовных отношений, предполагающая участие в диалоге, в ходе которого стороны не просто обмениваются мнениями или пытаются доказать свою правоту, а лучше познают как себя, так и другую сторону и в этом процессе самосовершенствуют-

ся. В идеале такая деятельность должна привести к возникновению космополиса — глобального сообщества, в котором ведущую роль будут играть этические нормы и уважение к локальным и региональным отличиям.

Сохранение самобытности в глобальном сообществе — одна из главных задач для Фреда Даллмайра. Здесь он опирается на концепцию “грядущей демократии”, которую выдвинул Жак Деррида. Демократия — это не что-то существующее, но некий идеал, который постоянно уточняется в зависимости от того, кто артикулирует этот идеал. Любое утверждение о том, что демократия уже сложилась в законченном виде, — это лишь пропаганда, стремящаяся прикрыть социополитическое неравенство или недобродетельность правящей элиты.

Даллмайр и Деррида схожи в трактовке сути апофатической демократии: в том, что *демократия представляет собой некий идеал, к которому можно приблизиться, парадоксальным образом только через различие (“différance”, как пишет Деррида) и отрицание любых представлений и заявлений о демократии как об эпистемологической данности*. Для Даллмайра это значит, что, с одной стороны, каждая культура должна выработать свое понимание демократии с помощью самобытного лингвистического и концептуального инструментария; с другой стороны, эти версии демократии должны постоянно переосмысляться в рамках интракультурного и межкультурного диалога. Даллмайр переносит акцент на praksis: нужно не надеяться на “пришествие” апофатической демократии, но и активно устранять существующие на ее пути препятствия, т.е. разнообразные формы дискриминации, угнетения и неравенства. Таким образом, апофатическая демократия Даллмайра представляет собой сочетание идей, которые предложил Деррида, и модели делиберативной демократии. Для того чтобы этот синтез произошел в реальной жизни, необходимо, чтобы сторонники делиберативной демократии стали более открытыми к новым парадигмам, а также уделяли большее внимание незападным нарративам, контекстам, логикам и рациональностям.

Обладают ли западные страны ресурсами для того, чтобы претворить в жизнь апофатическую демократию? Авторы сборника, представляющие разные культурные традиции, дают утвердительный ответ на этот вопрос. Крайне важна в этом плане глава, написанная философом-востоковедом (ИФ РАН) М.Т. Степанянц, выявляющая индивидуалистические течения в индийской, китайской и мусульманской философии. До сих пор встречается мнение, что восточные общества по своей сути глубоко деспотичны, и личность в них всегда подчинена коллективу или государству. Индийские санньяси, китайские даосы и исламские суфии убедительно опровергают этот тезис. Индивидуалистические элементы западных философий в особенности важны из-за того, что многие западные страны опираются на “мейнстримные” философские традиции в своей культуре. В частности, современные китайские философы и политики в дискуссиях о демократизации Китая уделяют внимание преимущественно конфуцианству, которое, однако, довольно проблемно с точки зрения демократических идеалов Даллмайра: конфуцианское человеколюбие дифференцировано в зависимости от того, какое место в социальной структуре один человек занимает относительно другого, а семья остается важнейшим социальным образованием. Из-за этого в китайском обществе распространены nepотизм и кумовство.

Неравенство людей с точки зрения конфуцианства отражается и в международных отношениях: неудивительно, что Янь Сюэтуан в своем анализе

философии конфуцианца Сюнь-цзы предлагает ввести в мире нормативную иерархию государств [Yan 2008: 163-164]. Не удивительно поэтому, что, как отмечает один из авторов сборника, гонконгский политолог Ким Сунмун, в современных китайских проектах по политическому переустройству Китая участие народа оказывается ограниченным: по сути предлагается госуправление группой меритократов, в то время как народ может в лучшем случае избрать представителей нижней палаты парламента, полностью зависящих от меритократической верхушки [Cosmopolitan Civility... 2020: 47-51].

Очевидно, что конфуцианство играло и продолжает играть значительную роль в китайской жизни; оно действительно обладает значительным гуманистическим потенциалом. Тем не менее продуктивнее станет обращение не только к классическому конфуцианству, но и другим течениям китайской мысли (даосизму, моизму, неоконфуцианству), в которых содержатся элементы политической и внешнеполитической теории, способные сбалансировать негативные аспекты классического конфуцианства и привести к созданию апофатической демократии.

Немаловажно и то, что в незападных культурах традиционно наблюдался повышенный интерес к вопросам образования. Асма Асфаруддин, американский арабист из Индианского университета, отмечает, что *хадис* “Ищите знание, даже если оно в Китае” стал важным лейтмотивом системы мусульманского образования. По мнению Асфаруддина, изучение гуманитарных наук в рамках ислама породило ряд гуманистических направлений в мусульманской мысли, и возрождение классического мусульманского образования может поспособствовать становлению апофатической демократии в исламских странах [ibid.: 108].

Образование само по себе играет важную роль в демократической концепции Даллмайра, способствуя не только культивации идеалов участия в политической жизни, но и взаимодействию, диалогу между людьми. Вслед за Д. Дьюи Даллмайр утверждает, что человеческий опыт есть постоянный процесс обучения, в котором преодолевается дихотомия “субъект — объект”: и тот, и другой в процессе взаимодействия изменяются. Именно люди, воспитанные на базе гражданского участия и постоянно вовлеченные в такой процесс познания, и становятся главным гарантом того, что “грядет” именно демократия, а не иная политическая конфигурация.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и то, что философские традиции не являются замкнутой системой, а способны к переосмыслению себя под влиянием новых условий или иных культурных традиций. Как отмечает Ананта Кумар Гири, индийский политолог, в классических произведениях разных цивилизаций герои зачастую действуют под влиянием страстей-*кама*, не сдержанных правильным поведением-*дхармой* (герои Махабхараты сжигают лес, Гильгамеш убивает стража леса Хумбабу). В современном мире деятельность, нерегулируемая дхармой, ведет к экологической катастрофе, в связи с чем важно не только принять меры по защите окружающей среды, но и критически переосмыслить те культурные концепты, которые не соответствуют нынешним реалиям [ibid.: 162]. Такое позитивное переосмысление значимо с учетом того, что, как отмечает один из соавторов рассматриваемого труда, канадский политолог Р. Бейнер, философия Хайдеггера, легшая в основу творческой концепции Даллмайра, стала благотворной почвой и для развития крайне правых движений в современном мире [Beiner 2018].

Хотя сам Даллмайр говорит не о “компаративной политической теории с глобальной кросс-культурной точки зрения” [Cosmopolitan Civility... 2020: 19], философия международных отношений представляется важной частью оптики Даллмайра. Насколько же применима концепция апофатической демократии к международным отношениям и становящейся мирополитической философии? Демократический идеал Даллмайра привлекателен в этом смысле, поскольку позволяет во многом преодолеть традиционные для мирополитической науки дилеммы (национальный суверенитет — право на самоопределение, национальный суверенитет — размывание границ и т.д.). Идея апофатической демократии согласуется, с одной стороны, с концепцией комплексной взаимозависимости, с другой стороны — с конструктивистскими и критическими теориями международных отношений. Апофатическая демократия становится важнейшим инструментом для преодоления пессимизма мирополитического реализма и реконцептуализации анархичности международных отношений как пространства для диалога. Крайне важно, что апофатическая демократия дает незападным акторам возможность сконструировать теории международных отношений через обращение к своей культуре.

В ряд важных для становления философии МО концептов могут встать позитивно воспринятые Даллмайром у Энрике Дусселя³ три измерения политического пространства: отношения между людьми, в рамках которых происходит развитие индивидов (*potentia*), политические акторы (*potestas*) и рассмотрение общественного благополучия как политической цели (*eudaimonia*). Существующее онтологическое членение мирополитической арены едва ли может полноценно описать происходящие процессы, в то время как модель Дусселя может стать основой для более подробной концептуализации, вводит понятие реляционности и, что важно, дает международным отношениям нравственную цель. Изучение как западных, так и незападных философских трудов на предмет концепций, способных сформировать глобальную философию международных отношений — вопрос будущих исследований.

Пандемия коронавируса в очередной раз продемонстрировала: мировое общество слишком разделено для того, чтобы эффективно справляться с глобальными проблемами современности. Социальное дистанцирование и закрытие границ — вполне оправданные практики в рамках борьбы с эпидемией, но в условиях растущей глобальной аномии и нового этапа в строительстве всевозможных стен и барьеров, как физических, так и метафорических, они приобретают и более зловещий смысл. Капитализм, одна из основных экспортных ценностей западного мира, привел к тому, что у многих людей даже из развитых стран нет доступа к качественному медицинскому обслуживанию, а конспирологические теории, бурно цветущие на фоне антагонистичности международных отношений, поспособствовали как недооценке коронавирусной угрозы, так и новому витку напряжения на мирополитической арене.

Международные отношения должны измениться, а для этого нужно критически переосмыслить их с философских позиций. Международникам еще предстоит во всей полноте осознать необходимость обращения как к западным, так и незападным философским традициям для полноценного поли-

³ Энрике Дуссель Доминго Амбросини (исп. Enrique Domingo Dussel Ambrosini; род. 1934) — аргентинский и мексиканский ученый, философ, историк и богослов. Представитель теологии и философии освобождения, находящейся под влиянием марксизма.

тического анализа и конструирования этического идеала, который бы стал путеводной звездой для мирополитического процесса.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.12](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.12)

A “PHILOSOPHY TO COME” IN INTERNATIONAL RELATIONS: FRED DALLMAYR’S APOPHATIC DEMOCRACY

O.S. Kocherov¹

¹*Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

KOCHEROV, Oleg Sergeevich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Junior Research Fellow, Department of Oriental Philosophies, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, email: netherdead@yandex.ru

Kocherov O.S. A “Philosophy to Come” in International Relations: Fred Dallmayr’s Apophatic Democracy. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 163–172. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.12>

Received: 19.06.2020. Accepted: 11.09.2020

Abstract. This paper attempts to analyze Fred Dallmayr’s intellectual heritage through the lens of international relations philosophy. The author considers issues related to the construction of international relations philosophy as an independent discipline in the context of multiplicity of philosophies in contemporary world. As the volume “Cosmopolitan Civility: Global-Local Reflections with Fred Dallmayr” — a dialogue amongst scholars of various cultural backgrounds sharing Dallmayr’s views — elaborates Dallmayr’s notion of apophatic democracy, this paper contributes to the discussion by analyzing this concept as a local and global political ideal. The author examines the resources that non-Western cultures may use to conceptualize and practise apophatic democracy, and investigates the strengths of apophatic democracy as against liberal and agonistic democracy models from the standpoint of international relations theory. It is suggested that non-Western countries should employ not only their mainstream philosophical traditions when articulating domestic and external policies, but other schools of thought as well. Apophatic democracy may be regarded as a potential ethical ideal of world politics: its achievement is rooted in the reconceptualization of contemporary international relations theories within the framework of a global philosophy of international relations “to come” that would include non-Western epistemological, ethical, and other relevant philosophical notions. An example of such reconceptualization in international relations is E. Dussel’s idea of three constituents of political space: human relations, political actors, and the common good as the political goal.

Keywords: Fred Dallmayr, international relations philosophy, non-Western IR theories, apophatic democracy, liberal democracy, agonistic democracy.

References

- Acharya A. 2014. Global International Relations (IR) and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies. — *International Studies Quarterly*. Vol. 58. No. 4. P. 647–659. <https://doi.org/10.1111/isqu.12171>
- Beiner R. 2018. *Dangerous Minds: Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 176 p.
- Brown C. 2017. Political Thought, International Relations Theory and International Political Theory: An Interpretation. — *International Relations*. Vol. 31. P. 227–240. <https://doi.org/10.1177/0047117817723062>
- Cosmopolitan Civility. 2020. *Global-Local Reflections with Fred Dallmayr*. Ed. by R. Abbey. New York: SUNY. 214 p.
- Dallmayr F. 2017. *Democracy to Come: Politics as Relational Praxis*. Oxford: Oxford University Press. 180 p.
- The Oxford Handbook of Political Science. 2011. Ed. by R.E. Goodin. Oxford: Oxford University Press. 1291 p.
- Wenman M. 2013. *Agonistic Democracy: Constituent Power in the Era of Globalisation*. Cambridge: Cambridge University Press. 334 p.
- Yan Xuetong. 2011. *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power*. Princeton: Princeton University Press. 300 p.
- Yan Xuetong. 2008. Xun Zi’s Thoughts on International Politics and Their Implications. — *Chinese Journal of International Politics*. Vol. 2. No. 1. P. 135–165. <https://doi.org/10.1093/cjip/pon005>
- Alekseeva T.A. 2017. “The West” and “Non-West” in the Space of International Relations Theory. — *Vestnik RUDN. International Relations*. No. 2. P. 217–232. (In Russ.) <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2017-17-2-217-232>
- Alekseeva T.A. 2019. *Teoriya mezhdunarodnykh otnosheniy kak politicheskaya filosofiya i nauka* [International Relations Theory as Political Philosophy and Science]. Moscow: Aspect Press. 608 p. (In Russ.)
- Batalov E. 2005. *O filosofii mezhdunarodnykh otnosheniy* [On Philosophy of International Relations]. Moscow: Nauchno-obrazovatelnyi forum po mezhdunarodnym otnosheniyam. 132 p. (In Russ.)

- Bogaturov A.D., Voitovsky F.G., Kosolapov N.A., Cheshkov M.A., Mezhev V.M., Fedotova V.G. 2004. Philosophy of International Relations: Is There Any or Should Be? — *International Trends*. Vol. 2. No.1. P. 43-54. (In Russ.)
- Cheshkov M.A. 2005. International Relations Philosophy: A Discipline? — *International Trends*. Vol. 3. No. 2. P. 135-139. (In Russ.)
- Dallmayr F. 2006. Empire or Cosmopolis: Civilization at a Crossroads (trans. from English by S.E. Beaver). — *Vestnik RUDN. Series: Philosophy*. No. 1. P. 5-27.
- Dallmayr F. 2009. In Search of the Good Life: A Pedagogy for Troubled Times. (Russ. ed.: Dallmayr F. *V poiskakh dostoinoy zhizni*. Moscow: Dialog tsivilizatsii).
- Filosofiya mezhdunarodnykh otnosheniy: ot teorii k praktike [International Relations Philosophy: From Theory to Practice]. 2016. Ed. by S.N. Pogodin, I.D. Osipov. St. Petersburg: Izdatelstvo Politehnicheskogo Universiteta. 232 p. (In Russ.)
- Glinichikova A.G., Verevskaya A.V. 2019. On the Other Side Is the Global Mess. — *Age of Globalization*. No.1. P. 134-142. <https://doi.org/10.30884/vglob/2019.01.12>
- Grachikov E.N. 2019. Formation of the Chinese School of International Relations: Analytical Approaches and Research Methods. — *Vestnik RUDN. International Relations*. No. 2. P. 187-200. (In Russ.) <https://www.doi.org/10.22363/2313-0660-2019-19-2-187-200>
- Kocherov O.S. 2018. Playing Geopolitics: “Management of Chaos” in the Grand Chess Board versus “Establishing Order” on the Great Weiqi Board. — *Age of Globalization*. No. 2. P. 57-71. <https://doi.org/10.30884/vglob/2018.02.05>
- Konfutsianskoe “Chetveroknizhiye” (“Sishu”) [The Confucian “Four Books” (“Si Shu”)]. Ed. by L.S. Perelomov. 2004. Moscow: Vostochnaya Literatura. 431 p. (In Russ.)
- Sayamov Yu.N. 2018. On Philosophy, Values and Meanings of International Relations. — *Bulletin of Moscow University. Series 27. Globalistics and Geopolitics*. No. 1. P. 68-81. (In Russ.)
- Vasilyeva N.A., Lagutina M.L. 2012. On the Issue of World Politics Philosophy. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 62-69. (In Russ.) URL: <https://www.politstudies.ru/article/4535> (accessed 09.10.2020).
- Voskressenskiy A.D. 2013. World regional studies and the prospects of non-western (sinocized) international relations (IR) theory. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 82-96. (In Russ.) URL: <https://www.politstudies.ru/article/4782> (accessed 09.10.2020).

Литература на русском языке

172

- Алексеева Т.А. 2017. “Запад” и “Не Запад” в пространстве теории международных отношений. — *Вестник РУДН. Серия: Международные отношения*. №. 2. С. 217-232. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2017-17-2-217-232>
- Алексеева Т.А. 2019. *Теория международных отношений как политическая философия и наука*. М.: Аспект Пресс. 608 с.
- Баталов Э.Я. 2005. *О философии международных отношений*. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям. 132 с.
- Васильева Н.А., Лагутина М.Л. 2012. К вопросу о предмете философии мировой политики. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 62-69. URL: <https://www.politstudies.ru/article/4535> (accessed 09.10.2020).
- Воскресенский А.Д. 2013. Мировое комплексное регионоведение и перспективы построения западной (китаизированной) теории международных отношений. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 82-96. URL: <https://www.politstudies.ru/article/4782> (accessed 09.10.2020).
- Глинчикова А.Г., Веретевская А.В. 2019. По ту сторону глобального беспорядка. — *Век глобализации*. № 1. С. 134-142. <https://doi.org/10.30884/vglob/2019.01.12>
- Грачиков Е.Н. 2019. Становление китайской школы международных отношений: аналитические подходы и методы исследований. — *Вестник РУДН. Серия: Международные отношения*. № 2. С. 187-200. <https://www.doi.org/10.22363/2313-0660-2019-19-2-187-200>
- Даллмайр Ф. 2006. Империя или космополис: цивилизация на распутье (перевод с английского Бобровой С.Е.). — *Вестник РУДН. Серия: Философия*. № 1. С. 5-27.
- Даллмайр Ф. 2009. *В поисках достойной жизни*. М.: Общественный форум “Диалог цивилизаций”. 180 с.
- Конфуцианское “Четверокнижие” (“Сышу”). 2004. Под ред. Л.С. Переломова. М.: Восточная литература. 431 с.
- Кочеров О.С. 2018. Игровая геополитика: “Управление хаосом” великой шахматной доски против “Построения порядка” великой доски вэйци. — *Век глобализации*. № 2. С. 57-71. <https://doi.org/10.30884/vglob/2018.02.05>
- Саямов Ю.Н. 2018. О философии, ценностях и смыслах международных отношений. — *Вестник Московского университета. Серия 27. Глобалистика и геополитика*. № 1. С. 68-81.
- Богатуров А.Д., Войтоловский Ф.Г., Косолапов Н.А., Чешков М.А., Межуев В.М., Федотова В.Г. 2004. Философия международных отношений: есть или должна быть? — *Международные процессы*. Т. 2. № 1. С. 43-54.
- Философия международных отношений: от теории к практике. 2016. Под ред. С.Н. Погодина, И.Д. Осипова. СПб.: Издательство Политехнического университета. 232 с.
- Чешков М.А. 2005. Философия международных отношений: дисциплина или нет? — *Международные процессы*. Т. 3. № 2. С. 135-139.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.13](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.13)

ПАРАДОКСЫ ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ: РЕТРОСПЕКЦИЯ, ВОООБРАЖЕНИЕ, ТРАВМЫ

А.Б. Белоусов

БЕЛОУСОВ Александр Борисович, кандидат политических наук, зав. лабораторией социально-политических коммуникаций, Институт философии и права УрО РАН, Екатеринбург, email: depolit@yandex.ru

Белоусов А.Б. Парадоксы вертикали власти: ретроспекция, воображение, травмы. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 173–180. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.13>

Статья поступила в редакцию: 31.03.2020. Принята к печати: 03.09.2020

Аннотация. Статья посвящена вертикали власти как модели взаимоотношений между федеральным центром и губернаторами, рассматриваемой в двухтомнике Виталия Иванова “Глава субъекта Российской Федерации. История губернаторов”. Для Виталия Иванова вертикальный формат взаимоотношений федеральной власти с губернаторами — единственный из возможных, а любое отклонение ведет к ослаблению федеральной власти и в конечном счете грозит распадом страны. Однако анализ излагаемой им концепции вскрывает ряд серьезных внутренних противоречий, таких как ретроспективное объяснение устройства власти в СССР с позиций выстроенной вертикали, увлечение воображаемыми рисками и наличие государственных травм, специфический способ распределения унижений и наказаний как неотъемлемая черта вертикали власти.

Ключевые слова: Виталий Иванов, вертикаль власти, федеральный центр, регион, губернатор, выборы.

173

В двух томах свежей “Истории губернаторов” Виталия Иванова нашлось место много чему из произошедшего в жизни губернаторов за последние 30 лет: выборам, назначениям, интригам и самым фантастическим историям (какой, например, стало в Алтайском крае избрание губернатором юмориста Михаила Евдокимова). Но если отбросить все лишнее, это исследование, по сути, — история строительства вертикали власти из федерального центра в регионы, рассказанная с охранительских позиций, когда централизованное устройство государства выступает единственным способом его организации, а отход от него грозит хаосом.

Строительство вертикали с самого начала проходило не на институциональном уровне, а в борьбе за первенство между двумя уровнями власти. В своем первом Послании Федеральному Собранию РФ Путин проводит строгое противопоставление федерализма и децентрализации¹. Начиная с 2000 г. именно централизация становится рамкой федеративных отношений в России.

В “Истории губернаторов” проблема федерализма ставится следующим образом. Говоря о РСФСР как о предшественнице России, автор употребляет термин *полуфедерация*: АССР являются субъектами Федерации, а остальные регионы — лишь территориально-административными образованиями. Понятие субъекта федерации появляется только после поправок к Конституции, внесенных VI Съездом народных депутатов РСФСР в апреле 1992 г. [Иванов 2019а: 43, 224]. Задача федеральных властей состояла в том,

¹ Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. — *Президент России. Официальный сайт*. 08.07.2000. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480> (accessed 17.03.2020).

чтобы восстановить равноправие между национальными республиками и обычными регионами. Для этого пришлось приложить множество усилий на протяжении 1990–2000-х годов, преодолевая риски выхода отдельных республик из состава РФ, удерживая их разнообразными сделками, дающими республикам ряд финансовых преимуществ. Риски распада страны в 1990-е годы нанесли травму, преодоление которой надолго превратит усиление государства в самоцель (о роли травм речь пойдет ниже). Окончательно решить проблему полуфедерации удалось только к концу нулевых, когда появилась возможность заменить глав ряда национальных республик.

Аналогичным образом и бюрократическая управляемость регионами оказывается вторичной по отношению к централизации, а эффективность — синонимом сильного государства, борьба за которое оборачивается борьбой за право президента наказывать губернаторов, о чем заявляется в том же первом Послании Федеральному Собранию. Система наказаний и даже “унижений” губернаторов достаточно подробно описана в “Истории...”, о чем речь ниже. Любые запросы на повышение эффективности федеральный центр интерпретирует как способ усиления своей позиции в отношениях с регионами [Иванов 2019b: 263], нередко действуя в свойственной ему манере асимметричных действий. Это стало возможным по той причине, что “люди в первую очередь хотели от власти эффективности, а способы ее достижения их не волновали” [там же: 263].

Период, рассматриваемый в вышедших томах “Истории губернаторов”, заканчивается 2011 годом, а выстраивание бюрократической эффективности региональной власти, скорее, относится к периоду после возвращения Путина на пост президента в 2012 г. В период после 2012 г. также усилилось и формирование клиентел губернаторов (“собянинских”, “чemezовских” и пр.). В нулевые годы создавать такие клиентелы было непросто в силу того, что регионы возглавляли старые губернаторы, претендовавшие на независимость от кого бы то ни было. Их решительная “чистка” произошла в период с 2008 по 2011 гг., когда убрали более 20 глав, назначенных еще в 1990-е годы, включая таких тяжеловесов, как Лужков, Шаймиев, Рахимов [Иванов 2019b: 434]. После этого сопротивление губернаторов федеральному центру было сломлено, что открыло интересантам дорогу для формирования своих “пулов” губернаторов. Это порождало и до сих пор порождает противоречия между бюрократической эффективностью, принадлежностью к той или иной клиентеле и принятием назначенцев региональными элитами. Но все это, как и многое другое, формирует региональную политику десятых годов. Вплоть до 2011 г. федеральная власть видела главной задачей для себя встраивание губернаторов в вертикаль власти (особенно тех, которые вели себя независимо).

Для научной объективности неплохо было бы иметь на другой чаше весов книгу-антипод — историю губернаторов, рассказанную с позиции регионов и убежденности в пользе выборов — причем не менее фундаментальную, чем труд Иванова. Но найти альтернативную версию оказалось не так-то просто.

В “Недостойном правлении” Владимира Гельмана есть целый параграф о вертикали власти: фундаментальное описание механизма предоставления доступа к ренте — читай коррупции — на ее нижних этажах. У Гельмана “вертикаль” уже не относится к сфере *politics*, но выступает антиподом ускользающего *good governance*, регионы как субъекты отсутствуют, а выборы остаются лишь мечтой, которые вместе с принуждением международных акторов еще способны (но не должны!) привести к формированию инклюзивных институтов [Гельман 2019]. Для Гельмана “вертикаль” явно перестала быть стерж-

нем российской политики. Таким стержнем для него является недостойное правление как результат политики централизации.

К теме “вертикали” обращается и Сергей Алексащенко в работе “Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в России и как это влияет на экономику”. У него взаимоотношения федерального центра и регионов сводятся к формированию “губернаторской партии” в конце 1990-х годов — политической группы, противопоставившей себя Кремлю, амбиции которой простирались далеко за рамки региональных интересов [Алексащенко 2019]. Читая про борьбу “губернаторской партии” с президентом, можно задаться вопросом, не сама ли она виновата в том, что превратила вопрос о распределении полномочий между федеральным центром и регионами в “игру с нулевой суммой”? В “Контрреволюции” Алексащенко региональная политика как таковая начинает свой отсчет ровно с 1999 г., с момента формирования “губернаторской партии”. Благодаря подобному упрощению централизация выглядит вполне закономерной. Если в 1999 г. “губернаторы все реже стали посещать Кремль”, то нет ничего удивительного в том, что через некоторое время для решения региональных проблем они “должны будут ходить в Кремль с протянутой рукой” [там же: 27, 208]. Но стоило ли тогда все отношения центра и регионов сводить к этому противостоянию, а описание губернаторов ограничивать формированием “губернаторской партии”? Впрочем, несмотря на антагонизм идеологических позиций Иванова и Алексащенко, их оценки имеют немало общего, о чем дальше еще пойдет речь.

Поскольку фундаментальную альтернативу “Истории губернаторов” найти не удалось, анализировать строительство вертикали власти приходится изнутри нее самой, исследуя логику, на которую она опирается в ходе своего укрепления и которую одновременно воспроизводит. Версия Виталия Иванова — хороший повод вновь задуматься о природе вертикали власти и ее основаниях.

175

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Первые признаки вертикального устройства власти усматриваются Ивановым в советские времена. Описание советской системы управления как вертикали опирается у него на высказывания ряда региональных руководителей 1990–2000-х годов. Они по-разному оценивали вертикаль в советское время: кто-то торговался, заявляя, что не согласен находиться в ней, кто-то говорил о “рабском преклонении” перед партийными органами, а кто-то делил власть с помощью выстраивания параллельных вертикалей [Иванов 2019а: 100–101].

Но вот вопрос: была ли на самом деле вертикаль власти в СССР? Терминологически советской эпохе более свойственны такие понятия, как дисциплина, в том числе государственная. Концепция дисциплины была хорошо разработана в советское время. Можно открыть любой том со стенограммами партийных съездов 1960–1980-х годов, например, XXIV-го, чтобы увидеть ее разнообразные виды: от технологической и финансовой до партийной и социалистической. Советскую дисциплину роднит с вертикалью власти специфический модус обращения с ней — укрепление. Правда, набор советских модусов был несколько шире: строгое и даже строжайшее *соблюдение*, упорная *борьба* за и, конечно же, повсеместное *повышение*². Там же можно встретить понятие демократического централизма, а вот про вертикаль — ни слова.

При ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, что в описании советской системы власти термин *вертикаль* возникает ретроспективно. Все упо-

² КПСС. Съезд 24-й. 1971. Стенографический отчет. 30 марта — 9 апр. 1971 г. в 2-х т. М.: Политиздат.

минания вертикали региональными руководителями обнаруживаются в мемуарах, которые вышли во второй половине нулевых, после того как создание путинской вертикали было в общих чертах завершено. И потому осмысление советского устройства власти с помощью понятия вертикали власти похоже на специфический способ мышления конца нулевых, дискурсивный маркер эпохи. Не обошлось при этом и без откровенных злоупотреблений со стороны ряда авторов, обнаруживших вертикаль власти в Конституции СССР 1936 г. или даже 1924 г. [Попов, Упоров 2017: 60–61; Подерега 2015: 36–37]. Не вступая с ними в дискуссию, нужно задаться другим, более важным вопросом: почему при описании вертикали власти важно обнаружить ее в устройстве советской власти и в какой момент эта отсылка возникает?

Знаменитая фраза Путина о распаде СССР как о крупнейшей геополитической катастрофе XX в. датируется 2005 г.³ К этому времени главные вехи строительства вертикали — создание федеральных округов, партизация губернаторов и отмена их выборов — были пройдены. Говорить о трагедии распада можно было лишь тогда, когда для подобных угроз в настоящем не осталось никаких оснований, т.е. с позиций сильного государства. Однако само строительство вертикали опиралось не на опыт советской традиции, а на преодоление наследия 1990-х годов. Об этом Путин говорит с самого своего первого послания в 2000 г. В этом послании можно встретить высказывания и про распад России, и про перетягивание полномочий между субъектами РФ и органами местного самоуправления. Апофеозом становится констатация того, что все уровни власти поражены болезнью, и “разорвать порочный круг — наша общая святая обязанность”⁴. Отсылка к советским практикам управления возникает не только ретроспективно, но и постфактум: о сильной власти в обозримом прошлом можно говорить только тогда, когда сама власть в настоящем стала сильной, завершила процесс своего укрепления. Не для того ли это делается, чтобы показать “ослабление” государственных институтов в 1990-е годы как роковую случайность, место прерывания вертикали, ошибку, точно такую же, какой был и распад Советского Союза? И не по той ли причине в России имеет право на существование только модель сильного государства?

ВООБРАЖАЕМЫЕ РИСКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ

Отмена выборов губернаторов в 2004 г. стала следствием категорического нежелания Кремля рисковать и терпеть какие бы то ни было поражения впредь. Как показал 2018 г., даже при всей полноте их власти выборы губернаторов всегда сопряжены с рисками, прежде всего — проиграть. В девяностые и начале нулевых подобных рисков было на порядок больше. Можно только предполагать, как сложилась бы судьба, скажем, Белгородской области, если бы в 1999 г. Евгений Савченко проиграл Владимиру Жириновскому. Стала бы такая победа передачей региона на растерзание его помощникам, что, как предполагает Виталий Иванов, обернулось бы сдачей полномочий через год, или нет [Иванов 2019а: 579]? Государственное управление легко становится уязвимым, если такого рода риски не будут оцениваться должным образом. Однако, начав купирование рисков, можно легко впасть в другую крайность и выдавать кажущиеся риски за реальные. И чем масштабнее риски, чем масштабнее выборы, тем менее ясно, где же проходит грань между подлинным сценарием и воображаемым.

³ Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. — *Президент России. Официальный сайт*. 25.04.2005. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931> (accessed 17.03.2020).

⁴ Там же.

Девяностые годы были временем с большим количеством рисков. После августовского путча 1991 г. и прямого столкновения президента и парламента в 1993 г. основные риски кристаллизовались в федеральных выборах: парламентские в те годы власть проигрывала, а президентские были в зоне риска. История России могла пойти иным путем, если бы участники президентских кампаний вели себя иначе: будь Зюганов чуть смелее в 1996 г., он мог бы выиграть во втором туре, а участие Примакова в 2000 г. было способно перевести кампанию во второй тур. Риски накапливались и превращались в травмы. Вместе с множественными социальными травмами 1990-х годов Россия получила комплекс государственных травм, главная из которых — комплекс слабой власти. Первое Послание Путина 2000 г. почти целиком посвящено его преодолению: “Если Россия останется слабой”, “это будет выбор слабого государства”, “слабость государства сводит на нет экономические реформы”⁵. Но, излечиваясь в нулевые годы от социальных травм с помощью стабильности, не сделала ли страна свои политические травмы главной мотивацией для построения вертикали власти? Петр Штомпка обнаруживает симптомы травмы на биологическом, социальном и культурном уровне [Штомпка 2001: 10], но вот вопрос — где же место для травм политического класса? Так или иначе, в какой-то момент электоральные риски настолько переполнили чашу терпения политических администраторов, что они решили: отныне президентские выборы, да и выборы вообще, должны происходить без угрозы потери управляемости электоральным процессом — этим принципом руководствуются и по сей день [Выборы на фоне... 2018: 67]. Несбывшиеся риски выборных кампаний губернаторов стали решающим аргументом в пользу их отмены в 2004 г.

У нас не принято вспоминать, что это была не первая отмена выборов глав регионов за непродолжительный период современной истории России. Впервые это произошло сразу же после учреждения нового государства: мораторий на 13 месяцев был принят в конце 1991 г. Оправданием этого решения послужили опасения, что выборность глав приведет к развалу страны, а в дальнейшем — к гражданской войне [Иванов 2019а: 512]. “Выборы или смерть” — это повышение ставок, игра ва-банк, но значит ли это, что в 2004 г. мы оказались в той же ситуации, что и в 1991 г.? Скорее, государство к тому времени не перестало переживать и проживать драму распада, что еще раз подтверждает травмированность его основания в первое десятилетие жизни.

177

ЛЕВИАФАН И АСИММЕТРИЧНАЯ ОТМЕНА ВЫБОРОВ

Процедура отмены выборов губернаторов в 2004 г., помимо прочего, выявляет предпочтение государства реагировать на угрозы асимметричным образом. Связь между отменой выборов (что стало ответом на запрос о дальнейшем укреплении государства) и трагическими террористическими атаками, произошедшими после этого, неоднозначна [Иванов 2019b: 263], но практика асимметричных ответов, широко используемая во внешней политике, сначала была опробована во внутренней. Ответ на запрос общества был дан, но не такой, какой ожидали. И это не удивительно: губернаторы не могли дать повод для отмены выборов, сопоставимый с терактом. На этом примере видна особенность путинской политики: сочетание институциональных перемен с политической импровизацией. Сегодня можно услышать, что стиль Путина — непредсказу-

⁵ Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. — *Президент России*. Официальный сайт. 08.07.2000. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21480> (accessed 17.03.2020)

емость и асимметричность, не дающие соперникам шанса адекватно ответить и закрепляющие за президентом инициативу. Такой была январская 2000 г. отставка правительства и конституционная реформа, оставившие внесистемную оппозицию без повестки дня и политического предложения. Точно таким же был маневр по усилению вертикали власти в 2004 г.

У отмены выборов помимо тактической составляющей обнаруживается еще и институциональная: обосновывая это решение на расширенном заседании правительства 13 марта 2004 г., Путин отсылает нас к пункту Конституции, где говорится о единой системе власти. Данный конституционный тезис он усиливает собственной метафорой “целостного организма”, чем позиционирует себя сторонником гоббсовского понимания государства. Найдется немало положений Гоббса, с которыми бы Владимир Путин согласился, например, “смута — это болезнь, и гражданская война — смерть” [Гоббс 2001: 9]. И потому совсем не удивительно, что российское государство в духе Левиафана возвышается над регионами и губернаторами, вбирает их в себя, правда, уже не по гоббсовской модели делегирования суверенитета сверху вниз, а, как отмечает Владимир Гельман, посредством “навязанного [т.е. асимметричного. — А.Б.] консенсуса” [Гельман 2006: 105].

Но прошло восемь лет, и в начале 2010-х годов российская система вернулась от назначения глав к их выборности. Отмена предыдущего решения наглядно показывает, что при построении вертикали выборы являются средством, а не целью, а тактика, зачастую асимметричная в отношении актуальных угроз, становится важнее институтов. И потому сегодня уже мало кто вспомнит, что стало поводом для возвращения прямых выборов губернаторов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УНИЖЕНИЙ

Идеологический антагонизм Виталия Иванова и Сергея Алексашенко не мешает им обоим признать, что политика централизации в начале нулевых стала реакцией федерального центра на действия губернаторской фронды. Алексашенко прямо заявляет, что главным мотивом в разгроме этой “фронды” стало унижение, которое летом 1999 г. испытал Александр Волошин, глава президентской администрации, выступавший от имени Б. Ельцина, после провала голосования в Совете Федерации по отставке Ю. Скуратова [Алексашенко: 28]. В. Иванов дает целый перечень историй обид, унижений и наказаний в отношениях Центра и губернаторов. Последние, в свою очередь, стремятся скомпенсировать эти унижения тем, что иногда ставят в унижительное положение федеральный центр (например, когда Э. Россель на первых выборах губернатора Свердловской области победил ставленника Ельцина А. Страхова). Россель, противопоставляя себя Кремлю, заявлял, что “не хочет быть диспетчером Москвы по Свердловской области, для нее [области] это унижительно” [Иванов 2019a: 295], и вел себя подобным образом вплоть до начала нулевых, когда пытался унижать назначенного Путиным полпреда.

Сначала обилие таких конфликтных случаев, приводимых в “Истории губернаторов”, может показаться авторской интерпретацией, но прямая речь участников тех событий говорит о другом: из психологических феноменов они превращаются в факторы политики. И если власть использует эти феномены в своих интересах, то вертикаль власти закрепляет эту асимметрию между федеральным центром и регионами. Наказание губернаторов становится повседневной практикой, которая в интерпретации Виталия Иванова даже формирует отдельную категорию глав регионов — “наказанные” [Иванов 2019b: 435]. Основанием для них

становились недостатки в работе губернаторов, но начиналось все с усмирения непокорных, чье поведение воспринималось как унижающее и оскорбляющее. Одним из последних губернаторов, кого наказали публично, причем именно за несговорчивый характер, стал Юрий Лужков. Мэр Москвы в 2010 г. пытался играть на, как ему казалось, противоречиях между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Официальная формулировка его отставки “утрата доверия”, что, по мнению Иванова, было вызвано попыткой “расколоть тандем”, неуважением к институту президентства и демонстрацией силы, т.е. фактически угрозами в адрес федерального центра [там же: 395]. Такие действия губернаторов к концу нулевых воспринимались как недопустимые.

С середины нулевых годов губернаторы стали сами встраиваться в вертикаль власти, а для поощрения такого поведения были разработаны особые меры, например досрочное переназначение. Эта пора была посвящена устранению дефектов “вертикали”, а выборы 2007 и 2011 гг. стали полигоном для ее испытания в деле. Эти и многие другие сюжеты можно без труда найти в томе “Истории губернаторов”, посвященном эпохе Путина. Но наиболее важным сюжетом в ней мне представляется тот, что строительство “вертикали” не превратило губернаторов в статистов, они остаются участниками политики и на каждом новом витке им выпадают все новые испытания.

В 1990-е годы от них требовалось “брать суверенитета столько, сколько смогут”, в 2000-е — встраиваться в жесткую “вертикаль”, в 2010-е — становиться “технократами”. Их умение адаптироваться зачастую считают политической слабостью, неспособностью диктовать федеральному центру правила игры: губернаторы (при сравнении их представителей 1990-х и 2010-х годов) — “уже не те”, “этот институт вырождается”. Но они были и остаются эффективными политиками. “История губернаторов” убеждает: они смогли сохраниться, способны действовать в условиях дефицита ресурсов, переговорных позиций и политической субъектности как таковой. Вопрос не в том, почему они не сохранили политическую автономию 1990-х годов, а в том, способны ли они восстановить ее, если шанс представится. Ответ получим, когда дочитаем “Историю...” до конца. Книга привлекает тем, что к губернаторам Виталий Иванов относится не как к винтикам в политической машине, а как к субъектам — сильным и слабым, умным и глупым, талантливым и не очень, — тем не менее олицетворяющим политику в регионах.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.13](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.13)

PARADOXES OF THE POWER VERTICAL: RETROSPECTION, IMAGINATION, TRAUMA

A.B. Belousov¹

¹*Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Science. Ekaterinburg, Russia*

BELOUSOV, Alexander Borisovich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Head of Laboratory of social-political communications, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy of Science, email: depolit@yandex.ru

Belousov A.B. Paradoxes of the Power Vertical: Retrospection, Imagination, Trauma. — Polis. Political Science. 2020. No. 6. P. 173–180. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.13>

Received: 31.03.2020. Accepted 03.09.2020

Abstract. This article analyses the problem of the power vertical as a model of the relationships between the federal center and governors, considered in Vitaly Ivanov’s two-volume work “The Head of the Subject of the Russian Federation. History of Governors”. For Vitaly Ivanov, the “vertical” format

of relationships between the federal government and the governors is the only possible one, and any departure from it leads to a weakening of the federal authorities and risks the dissolution of the state. The analysis of the concept presented by Ivanov reveals a number of serious internal contradictions, such as a retrospective explanation of the structure of power in the USSR, a fascination with imaginary risks and the presence of state traumas, the presence of humiliation and punishment, and a specific way of their distribution as an integral feature of the power vertical.

Keywords: Vitaly Ivanov, power vertical, federal center, region, governors, elections.

References

Aleksashenko S. 2019. *Kontrrevolyutsiya. Kak stroilas' vertikal' vlasti v sovremennoi Rossii i kak eto vliyaet na ekonomiku* [Counterrevolution. How the Vertical of Power Was Built in Modern Russia and How It Affects the Economy]. Moscow: Alpina Publisher. 408 p. (In Russ.)

Gel'man V. 2006. Leviathan's Come-Back? (Policy of Recentralization in Contemporary Russia). — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 90–109. (In Russ.)

Gel'man V. 2019. *Nedostoinoe pravlenie* [Bad Governance]. St. Petersburg: European University Press. 254 p. (In Russ.)

Hobbes T. 2001. Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil. (Russ. ed.: Hobbes T. *Leviatan, ili Materiya, forma i vlast' gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo*. Moscow: Mysl'. 478 p.)

Ivanov V. 2019a. *Glava sub"ekta federatsii. Istoricheskoe, yuridicheskoe i politicheskoe rassledovanie (Istoriya gubernatorov)*. In 2 vol. Vol. I. Part. I. Moscow: Izdaniye knig kom. 600 p. (In Russ.)

Ivanov V. 2019b. *Glava sub"ekta federatsii. Istoricheskoe, yuridicheskoe i politicheskoe rassledovanie (Istoriya gubernatorov)*. In 2 vol. Vol. I. Part. II. 2nd ed. Moscow: Izdaniye knig kom. 624 p. (In Russ.)

Poderega S.V. 2015. Adoption of The Constitution of The USSR of 1936 and Features of The Regulation of Institutions of Local Soviets. — *Society and Law*. No. 3. P. 36–39.

Popov M.Yu., Uporov I.V. 2017. Local Councils of the Soviet State between the Constitution of the USSR in 1924 and 1936 (legal aspect). — *Historical and Social Educational Idea*. Vol. 9. No. 1–2. P. 60–64. (In Russ.) <https://www.doi.org/10.17748/2075-9908-2017-9-1/2-60-64>

Sztompka P. 2001. Social Change as Trauma. — *Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]*. No. 1. P. 6–16. (In Russ.)

Vybory na fone Kryma: elektoral'nyy tsikl 2016–2018 gg. i perspektivy politicheskogo tranzita [Elections Against the Backdrop of Crimea: The Electoral Cycle of 2016–2018 and the Prospects of Political Transit]. 2018. Ed. by V.V. Fedorov. Moscow: VCIOM. 440 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

Алексащенко С. 2019. *Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в современной России и как это влияет на экономику*. М.: Альпина Паблишер. 408 с.

Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016–2018 гг. и перспективы политического транзита. 2018. Под ред. В.В. Федорова. М.: ВЦИОМ. 440 с.

Гельман В. 2006. Возвращение Левиафана? Политика рецентрализации в современной России. — *Полис. Политические исследования*. С. 90–109. <https://www.doi.org/10.17976/jpps/2006.02.08>

Гельман В. 2019. *Недостойное правление*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 254 с.

Гоббс Т. 2001. *Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского*. М.: Мысль. 478 с.

Иванов В. 2019а. *Глава субъекта федерации. Историческое, юридическое и политическое расследование (История губернаторов)*. В 2 т. Т. I. Кн. I. М.: “Издание книг.ком”. 600 с.

Иванов В. 2019б. *Глава субъекта федерации. Историческое, юридическое и политическое расследование (История губернаторов)*. В 2 т. Т. I. Кн. II. М.: “Издание книг.ком”. 624 с.

Подерега С.В. 2015. Принятие Конституции СССР 1936 г. и особенности регулирования в ней института местных советов депутатов трудящихся. — *Общество и право*. № 3. С. 36–39.

Попов М.Ю., Упоров И.В. 2017. Местные Советы Советского государства между Конституциями СССР 1924 и 1936 гг. (организационно-правовой аспект). Историческая и социально-образовательная мысль. Т. 9. № 1–2. С. 60–64. <https://www.doi.org/10.17748/2075-9908-2017-9-1/2-60-64>

Штомпка П. 2001. Социальное изменение как травма (Статья первая). — *Социологические исследования*. 2001. № 1. С. 6–16.

DOI: 10.17976/jpps/2020.06.14

ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИАЛОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: В ПОИСКАХ ДРУГОЙ МОЛОДЕЖИ

М.А. Ядова

ЯДОВА Майя Андреевна, кандидат социологических наук, зав. отделом социологии и социальной психологии, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва, email: m.yadova@mail.ru

Ядова М.А. Поколение миллениалов в российском обществе: в поисках другой молодежи. — Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 181-188. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.14>

Статья поступила в редакцию: 11.07.2020. Принята к публикации: 03.09.2020

Аннотация. Опираясь на монографию В.В. Радаева “Миллениалы: как меняется российское общество” (М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019), автор анализирует отличительные особенности поколения миллениалов, период взросления которого пришелся на 2000-е годы. На примере российских миллениалов показано, что получивший широкую известность концепт “советского простого человека” постепенно уходит в прошлое, и это делает важным создание альтернативных интерпретационных поколенческих схем. Подчеркивается, что на рубеже тысячелетий в России произошел социальный перелом, который обусловил формирование нового, “другого” поколения молодежи, сильно отличающегося от старших возрастных когорт. Рассматриваются сильные и слабые социальные ресурсы и индивидуальные особенности личности, помогающие адаптироваться к стремительно меняющимся социальным условиям. Сравнивая данные собственных социологических исследований с результатами, изложенными в рецензируемой книге, автор размышляет о взглядах и ценностях постсоветской молодежи, ее модернизационном потенциале и адаптивных способностях; оценивает соотношение современных и традиционных компонентов в системах ценностей представителей разных социальных групп молодежи. По мнению автора, при анализе социально-политических изменений, вызванных приходом новых поколений, необходимо учитывать, что постсоветская молодежь как социальная группа внутренне неоднородна и состоит из представителей разных — порой контрастных — подгрупп, различающихся по взглядам, объему социального капитала и особенностям социализационного опыта. Делается вывод, что в будущем при благоприятных внешних условиях отечественное поколение миллениалов может стать силой, способной к реальной социально-политической модернизации российского общества.

Ключевые слова: миллениалы, поколение, постсоветская молодежь, российское общество, социально-политическая модернизация.

Перезагрузка социально-политической системы и госуправления в России, провозглашенная В.В. Путиным в начале 2020 г., инициировала очередную волну дискуссий о необходимости трансформации — а значит, и модернизации, — российского общества. В процессе этих изменений особая роль отведена молодежи, взгляды и ценности которой, согласно Р. Инглхарту [Inglehart 1990], станут доминирующими в нашем социуме спустя 10-15 лет. Известно высказывание французской писательницы Жермены де Сталь о том, что в каждой

стране молодое поколение — всегда иностранцы. Представители постсоветского поколения (иногда их называют миллениалами, поколением Y) — иностранцы вдвойне. Во-первых, это пока первое поколение, выросшее в “несоветской” России, что, несомненно, отличает его от более старших возрастных когорт. Однако именно его общество вправе рассматривать как хранителя демократических ценностей. Примечательно, что об этом поколении (“ровесниках новой, демократической России”) как хранителе фундаментальных ценностей нашей страны в будущем в одном из посланий Федеральному Собранию говорил президент Д.А. Медведев (2008 г.)¹. Во-вторых, определенная интрига имеется и в связи с тем, что сегодняшняя молодежь, не являясь единой, внутренне однородной общностью, представляет собой разные, порой контрастные подгруппы, отличающиеся друг от друга взглядами, объемом социального капитала и опытом гражданской и общественно-политической активности. Это дает возможность сказать, что юноши и девушки, взрослеющие при одних социальных обстоятельствах, оказываются “другими” по отношению к своим сверстникам, объединенным иными условиями жизни.

Для современных отечественных исследователей [Мельников 2016; Чирун 2011; Чекмарев 2009], занимающихся ювентологической проблематикой, характерен отход от объективированного к субъектному взгляду на молодежь, предполагающему стремление увидеть в новых поколениях самостоятельного актора модернизационных процессов, полноправного участника социальных и политических трансформаций в России. В настоящей работе мы также будем исходить из подобного понимания поколения миллениалов.

Термин “миллениалы” (от лат. *millennium* — тысячелетие) предложен в конце прошлого столетия американскими исследователями Н. Хоувом и У. Штраусом [Howe, Strauss 2000] для обозначения детей, которые должны были окончить среднюю школу на рубеже веков. В зависимости от региональной специфики взросления характеристики миллениалов разных стран варьируются. В Европе и США к этому поколению традиционно относят родившихся в 1981 — начале 2000-х годов, тогда как в России старшей когортой миллениалов принято считать ровесников горбачевской перестройки или тех, кто родился в период распада СССР.

Самым крупным исследованием российских миллениалов стал проект первого проректора НИУ ВШЭ профессора В.В. Радаева, результаты которого нашли отражение в рецензируемой книге “Миллениалы: как меняется российское общество” [Радаев 2019]. Автор пишет, что исследовательский интерес к молодежной и межпоколенческой проблематике с его стороны родился “из простого искреннего непонимания” [там же: 7] нового поколения студентов и того, что “их волнует, каковы их мотивы” [там же]. Это, по убеждению Радаева, вызвано тем, что более молодые поколения, не имея опыта советской жизни, повзрослев, начали воспроизводить новые поведенческие паттерны, делая происходящие сегодня социальные сдвиги необратимыми.

Разделив российские поколения в зависимости от исторических условий, в которых им пришлось вступать во взрослую жизнь, Радаев предложил собственную классификацию поколений: мобилизационное поколение (1941–1956), поколение оттепели (1956–1964), поколение застоя (1964–1984),

¹ Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. — Президент России. Официальный сайт. 05.11.2008. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/1968> (accessed 25.08.2020).

реформенное поколение (1985-1999), поколение миллениалов (1999-2016). Таким образом, отечественные миллениалы родились во время позднесоветских и постсоветских реформ (1982-2000), но их взросление происходило преимущественно с начала нового тысячелетия. В качестве источника информации автор книги использовал данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 25-й волны 2016 г. ($N = 14\,946$) и объединенный массив данных за 1994-2016 гг. ($N = 258\,366$).

Как и ожидалось, поколение миллениалов изрядно отличается от старших возрастных когорт. Миллениалы значительно позже своих сверстников из старших поколений вступают во взрослую жизнь, откладывая до более позднего возраста поступки, которые ассоциируются с обретением взрослости: достижение финансовой самостоятельности, отделение от родителей, выход на работу, вступление в брак, рождение детей [там же: 73]. Это связано прежде всего с нестабильными и сложными политическими и социально-экономическими условиями, в которых пришлось взрослеть представителям этого поколения.

Миллениалов нередко называют цифровым, или сетевым, поколением, поскольку они намного активнее предшествующих поколений пользуются компьютером, интернетом, мобильными телефонами и социальными сетями [Радаев 2019: 80-85]. Помимо этого, миллениалы легко осваивают новые дистанционные практики (например, чаще совершают онлайн-покупки, используют банковские карты) [там же].

Более активны миллениалы и в проведении досуга. По сравнению со старшими возрастными группами они реже смотрят ТВ, зато намного чаще слушают музыку, аудиокниги, смотрят видео, совершают прогулки на природе, уделяют время развлечениям, а также активнее вовлечены в творческие и спортивные занятия. Чем миллениалы мало отличаются от предшествующих возрастных когорт, так это отношением к чтению: независимо от возраста, практически ежедневно читает книги каждый третий участник опроса [там же: 87-91].

Кроме того, миллениалы по сравнению с предыдущими поколениями потребляют существенно меньше алкоголя, меньше курят и более расположены к ведению здорового образа жизни. По словам Радаева, снижение среди молодежи доли курящих наряду с уменьшением потребления алкоголя — относительно недавний, причем международный, тренд [там же: 100].

Также представляются интересными межпоколенческие различия в зависимости от уровня религиозности участников опроса. Радаев, сравнивая в разных возрастных когортах доли тех, кто считает себя определенно верующим, обнаружил, что во всех поколениях число верующих постепенно снижается: с 56% в мобилизационном поколении до 32% у миллениалов [там же: 107]. Можно предположить, что подобная тенденция является протестной реакцией на усиление роли РПЦ в российском обществе.

Помимо этого, было обнаружено отсутствие значимых межпоколенческих различий при анализе уровня межличностного доверия. Немного более других склонны доверять окружающим представители самого старшего — мобилизационного — поколения (22,2%). Во всех остальных поколениях этот показатель находится в интервале от 14% до 17%, т.е. миллениалы никак не выделяются [там же: 109]. Следует отметить, что уровень межличностного доверия, как правило, прямо связан с уровнем материального благополучия населения и развитостью

демократических институтов в обществе [Inglehart 1990: 34–38]. Судя по тому, что “недоверчивость” в нашем социуме можно считать воспроизводящимся феноменом, экономическое отставание России от мировых лидеров, вероятно, продолжится и когда ключевые посты во власти займут миллениалы.

Что касается оценок субъективного благополучия, то поколение миллениалов отличается большая удовлетворенность жизнью по сравнению с предшествующими поколениями (ср.: почти 60% миллениалов и 30% в когорте пожилых) [Радаев 2019: 113]. Впрочем, это общепринятая закономерность: чем моложе человек, тем чаще он ощущает себя удовлетворенным жизнью.

В целом, как отмечает автор книги, выдвинутая ранее гипотеза о значимых отличиях миллениалов от предшествующих поколений нашла свое подтверждение. Вместе с тем полученные результаты не вписываются в единую схему закономерностей: межпоколенческие различия проявляют себя неодинаково. В одном случае анализируемые показатели возрастают от старших поколений к младшим (использование гаджетов и цифровых технологий) или, наоборот, постепенно снижаются (уровень религиозности). В другом случае все поколения демонстрируют сходство, несмотря на возрастные различия, за исключением выбивающихся из единого ряда миллениалов (здоровьесберегающее поведение и занятия спортом). В третьем случае наблюдается общее для всех поколений уменьшение распространенности определенных практик, но миллениалы во многом обеспечивают перелом сложившихся ранее трендов (отношение к курению и потреблению алкоголя). В четвертом случае показатели миллениалов заметно выше, чем у старших поколений, но во многом это можно считать преходящим феноменом (субъективное благополучие).

Таким образом, подчеркивает В.В. Радаев, мы переживаем вторую волну фундаментальных социальных изменений, которые, в отличие от 1990-х годов, происходят в относительно стабильное время и связаны не с радикальными реформами, а с поколенческими сдвигами. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что получившая широкую известность в отечественной социальной науке идея “советского простого человека” [Советский простой человек... 1993] постепенно уходит в прошлое (хотя и содержит значительные политические резонансы), что дает повод подумать об альтернативных интерпретационных и концептуальных схемах. Радаев предлагает ученым обратить более пристальное внимание даже не на одно, а на два самых активных сегодня поколения россиян — реформенное и миллениалов, выросших в перестроечный и постперестроечный периоды и ставших ключевыми акторами изменений в российском социуме.

Примечательно, что результаты проведенного автором настоящей статьи лонгитюдного исследования², посвященного современным и традицион-

² В ходе исследования в период с 2008 по 2014 гг. с представителями постсоветской молодежи (когорты родившихся в начале 1990-х годов) были проведены социологический опрос ($N = 1600$), серия индивидуальных и групповых глубоких интервью по специально разработанным оригинальным методикам. Изначально отбирались “контрастные” группы, различающиеся по объему социальных ресурсов, — условно сильноресурсная (старшеклассники) и слаборесурсная (учащиеся колледжей) подвыборки. На следующем этапе по результатам анкетирования в каждой подвыборке были выделены группы респондентов с модернистскими и традиционалистскими взглядами и поведенческими установками. Модернистскими считались характеристики так называемой современной личности, сформулированные американским социологом А. Инкелесом: открытость новому опыту, социальная ответственность и активность, законопослушность, толерантность, самостоятельность и пр. [Inkeles, Smith 1974]. Под традиционалистскими понимались черты, противоположные современным.

ным ценностям постсоветской молодежи, во многом совпадают с данными В.В. Радаева. Мы исходили из предположения, что молодежь как социальная группа потенциально наиболее восприимчива к ценностям модерна и могла бы стать локомотивом социально-политических модернизационных процессов в нашей стране. И вот почему. Наибольшую способность к адаптации обычно демонстрируют обладатели сильного “личностного” капитала — комплекса индивидуально-психологических особенностей и социальных ресурсов человека, в числе которых специалисты обычно выделяют: удачный стартовый социостатусный капитал, хорошее образование и материальное положение, проживание в крупном городе, наличие обширных межличностных связей, адекватный уровень самооценки, интернальность, адаптивную гибкость, отсутствие страха перемен [Ядов 2001: 314-317]. Естественным ресурсом является и молодой возраст. В целом в условиях социальной турбулентности гипотетический успешный актор модернизации российского социума выглядит так: представитель молодого поколения с хорошим образованием, живущий в мегаполисе, обладающий достаточно сильным набором социальных ресурсов, открытый “современным” ценностям. По данным проведенного нами исследования, гипотеза о связи между модернизмом человека и объемом его социального капитала подтвердилась. Доля “модернистов” в сильноресурсной подвыборке молодежи выше, чем в слаборесурсной (23% vs 5%); “традиционалистов”, напротив, больше в слаборесурсной группе (15% vs 7%) (см., например, [Ядова 2016: 52]). Это говорит о неплохом модернизационном потенциале отечественного поколения миллениалов, особенно высокоресурсной его части.

Рассуждая об окончательном разрыве миллениалов с миром “советского”, В.В. Радаев намеренно выводит за скобки анализа политическую сферу, поскольку существует немало социологических и политологических данных, демонстрирующих неочевидность противопоставления миллениалов и *homo soveticus*. Особенно это было заметно в период Крымского кризиса — 2014, когда настроения молодежи по многим ключевым вопросам мало отличались от взглядов старших поколений. Например, результаты индивидуальных интервью с молодыми “модернистами” и “традиционалистами” в нашем исследовании показали, что тех и других объединяет тотальное недоверие отечественным политикам, однако это не касается действующего президента страны, авторитет которого после событий *Русской весны* только вырос. Давая оценки происходящему в Крыму, молодые информанты нередко переходили на почти “советскую” риторику, что свидетельствует о неизжитости великодержавного комплекса и у постсоветских поколений россиян [там же: 56]. Думается, тема соотношения советского и несоветского в системе ценностей миллениалов еще ждет всестороннего исследования, а пока отечественным обществоведам, вероятно, следует провести “инвентаризацию” имеющихся в их распоряжении научных подходов к изучению межпоколенческой проблематики.

В своих размышлениях В.В. Радаев старается уйти от слишком политизированного отношения к понятию “поколение”. По его мнению, интерес к молодежи как к преимущественно акторам будущих политических преобразований нередко способствует разочарованию в молодых людях, не сумевших “оправдать надежд” старших. Ведь, по данным соцопросов, российское поколение миллениалов “не бросает вызов властной вертикали, не демонстрирует массового участия в протестных движениях” [Радаев 2019: 19],

порой отличается “‘ретроградным’ пониманием советской истории” [там же]. Мы не совсем согласны с таким подходом: вряд ли возможно в принципе исключить обсуждение политических вопросов из поколенческого анализа. К тому же существует достаточное количество исследований, результаты которых позволяют увидеть в миллениалах значительный политический ресурс модернизации российского общества [Чекмарев 2009]. Открытость новому, адаптивность и активность представителей этого поколения дают им хорошие возможности для реализации себя в качестве субъекта происходящих в нашей стране социально-политических изменений. Политологи (см., например, [Кольжанова 2006; Карпенко, Ламанов 2006; Чирун 2011]), как правило, отмечают следующие позитивные факторы модернизации российской политической системы в XXI в.: омоложение политической элиты страны, увеличение доли молодежи в наиболее активных и инновационных социальных группах (предпринимателей, управленцев и пр.), рост числа молодежных организаций и движений, формирование института молодых политических лидеров, выработка стратегии и механизмов привлечения юношей и девушек к участию в политическом процессе. Все это позволяет говорить об особом молодежном ресурсе в нашем обществе, роль которого состоит “не только в совершенствовании политической системы, но и обеспечении ее устойчивости в новых условиях российской цивилизационной специфики” [Чекмарев 2017: 90].

Помимо этого, можно предположить, что благодаря адаптивной гибкости и развитым цифровым навыкам миллениалы, вероятно, окажутся лучше, чем старшие поколения, приспособлены к жизни в новой постковидной действительности. Ответом на глобальные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, стали новые практики солидарности и социального активизма (усиление онлайн-активизма, совместные действия государства и гражданского общества для борьбы с последствиями пандемии и пр.) в разных странах мира³; появился запрос на изменение существующей политической, экономической и социокультурной реальности для минимизации дальнейших рисков в условиях посткоронавирусного кризиса. Именно молодежи предстоит стать первопроходцами в моделировании и освоении новых поведенческих паттернов и форм социального взаимодействия.

Подводя итоги, В.В. Радаев замечает, что при написании книги его не покидало свойственное социальным современным исследователям ощущение постоянного отставания: еще не до конца поняты миллениалы, а уже вступает во взрослую жизнь поколение Z. В то же время, по его мнению, вектор общественного развития, заданный миллениалами, достаточно устойчив, и кардинальные изменения вряд ли возможны. Впрочем, этот вопрос остается открытым, а ответ на него может дать только будущее. Как показывает практика, при подобных прогнозах невозможно игнорировать эмерджентные эффекты. В мире бушует пандемия COVID-19, неизвестно, что ждет человечество завтра. Очевидно лишь, что отвечать на эти вызовы предстоит и новым поколениям россиян — наиболее удобным и понятным для них способом, т.е.

³ См., например, онлайн-вебинар, состоявшийся в апреле 2020 г. в рамках исследовательского комитета по изучению социальных классов и социальных движений Международной социологической ассоциации “Изменение солидарности и коллективных действий во время пандемии”: *Changing Solidarities and Collective Action in Times of Pandemic*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1qBieYRFClc&feature=youtu.be> (accessed 29.09.2020).

в “своем стиле”. Одно это делает предпринятое В.В. Радаевым исследование не просто актуальным, а жизненно важным. Кроме того, нынешние реалии требуют усиленного осмысления представлений о новых поколениях, их возможностях и преимуществах в условиях новой повседневности. На наш взгляд, книгу В.В. Радаева стоит рассматривать не только как блестящую, высокопрофессиональную по содержанию и исполнению первую систематическую работу, посвященную отечественному поколению миллениалов, но и как программу для дальнейших научных изысканий на эту тему.

DOI: [10.17976/jpps/2020.06.14](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.14)

GENERATION OF MILLENNIALS IN RUSSIAN SOCIETY: IN SEARCH OF ANOTHER YOUTH

M.A. Yadova¹

¹*Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

YADOVA, Maiya Andreevna, Cand. Sci. (Soc.), Head of the Department of Sociology and Social Psychology, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, email: m.yadova@mail.ru

Yadova M.A. Generation of Millennials in Russian Society: In Search of Another Youth. — Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 181-188. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.14>

Received: 11.07.2020. Accepted: 03.09.2020

Abstract. The author, relying on V.V. Radaev's monograph “Millennials: How Russian Society Changes”, analyzes the distinctive features of the “millennial” generation, whose maturation period occurred in the 2000s. Using the example of Russian millennials, it is demonstrated that the widely known concept of the “Soviet common man” is gradually becoming outdated, which makes it crucial to develop alternative interpretational generation schemes. It is emphasized that at the turn of the millennium in Russia there was a significant social turning point, which led to the formation of a new, “different” generation of young people, very distinctive from their elder cohorts. Strong and weak social resources and individual personality traits that help adaptations to rapidly changing social conditions are considered. To compare the data of his own sociological studies with the results set forth in the book under review, the author reflects on the views and values of post-Soviet youth, its modernization potential, and the adaptive abilities. The correlation of modern and traditional components in the value systems of representatives from different young social groups is estimated. According to the author, when analyzing social changes caused by the arrival of new generations, it is necessary to take into account that post-Soviet youth as a social group is internally heterogeneous and consists of representatives of different – sometimes contrasting – subgroups, differing in their views, the volume of social capital, and the characteristics of socialization experience. It is concluded that in the future, under favorable external conditions, the domestic generation of millennials may become a force capable of real social and political modernization in Russian society.

Keywords: millennials, generation, post-Soviet youth, Russian society, social and political modernization.

References

- Howe N., Strauss W. 2000. *Millennials Rising: The Next Great Generation*. New York: Vintage books.
- Inglehart R. 1990. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Inkeles A., Smith D.H. 1974. *Becoming Modern*. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.
- Chekmarev E.V. 2009. *Molodezh' – politicheskij resurs modernizacii postsovetsoj Rossii* [Youth a Political Resource of Modernization of Post-Soviet Russia]. Saratov: PAGS. (In Russ.)
- Chekmarev E.V. 2017. Youth Resource of Preserving the Stability of the Political System of Modern Russia. — *Central Russian Journal of Social Sciences*. Vol. 12. No. 2. P. 89-96. (In Russ.)
- Chirun S.N. 2011. Youth Political Movements and the Organizations as Mechanisms and Realization Ways Independence Youth in Public Youth Policy. — *Bulletin of Kemerovo State University*. No. 1. P. 120-123. (In Russ.)
- Karpenko O.M., Lamanov I.A. 2006. *Molodezh' v sovremennom politicheskom protsesse v Rossii* [Youth Participation in the Contemporary Political Process]. Moscow: SGU. (In Russ.)

Kolzhanova I.N. 2006. Obshchestvenno-politicheskie molodjozhnye dvizheniya v sovremennoj Rossii: massa, jelity, lidery [Social and Political Youth Movements in Modern Russia: Masses, Elites, Leaders]. Dissertation ... cand. sci. (pol. sci.). Rostov-on-Don. (In Russ.)

Mel'nikov A.V. 2016. The Effective Model of Political Socialization of Youth. — *Vlast' (The Authority)*. Vol. 24. No. 3. P. 201–204. (In Russ.)

Radaev V. 2019. Millennials: How the Russian Society Changes. Moscow: HSE Publishing House. (In Russ.) <https://www.doi.org/10.17323/978-5-7598-1985-1>

Sovetskij prostoy chelovek: Issledovanie sotsialnogo portreta na rubezhe 1990-kh [Soviet Ordinary Man: A Study of Social Portrait at the Edge of 1990s]. 1993. Ed. by Yu.A. Levada. Moscow: Mirovoy okean.

Yadov V.A. 2001. Social'nyj resurs individov i grupp kak ih kapital: vozmozhnost' primeneniya universal'noj metodologii issledovaniya real'nogo rassloeniya v rossijskom obshchestve. [Social Resource of Individuals and Groups as Their Capital: An Applicability of the Universal Methodology of the Study of Real Stratification in Russian Society]. — *Kto i kuda stremitsya vesti Rossiya?* [Where is Russia Going?] Ed. by T.I. Zaslavskaya. Moscow: The Moscow School of Social and Economic Sciences. P. 310–319. (In Russ.)

Yadova M.A. 2016. Crimean Crisis-2014 as Seen by the Post-Soviet Youth Generation. — *Sociological Studies*. No. 9. P. 50–58. (In Russ.)

Литература на русском языке

Карпенко О.М., Ламанов И.А. 2006. *Молодежь в современном политическом процессе в России*. М.: СГУ.

Кольжанова И.Н. 2006. *Общественно-политические молодёжные движения в современной России: масса, элиты, лидеры*. Дисс. ... канд. полит. наук. Ростов-на-Дону.

Мельников А.В. 2016. Эффективная модель политической социализации молодежи. — *Власть*. Т. 24. № 3. С. 201–204.

Радаев В.В. 2019. *Миллениалы: как меняется российское общество*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. <https://www.doi.org/10.17323/978-5-7598-1985-1>

Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х. 1993. Отв. ред. Ю.А. Левада. М.: Мировой океан.

Чекмарев Э.В. 2009. *Молодежь — политический ресурс модернизации постсоветской России*. Саратов: ПАГС.

Чекмарев Э.В. 2017. Молодежный ресурс сохранения устойчивости политической системы современной России. — *Среднерусский вестник общественных наук*. Т. 12. № 2. С. 89–96.

Чирун С.Н. 2011. Молодежные политические движения и организации как механизмы реализации субъектности молодежи в публичной молодежной политике. — *Вестник КемГУ*. № 1. С. 120–123.

Ядов В.А. 2001. Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения универсальной методологии исследования реального расслоения в российском обществе. — *Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса*. Под ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН. С. 310–319.

Ядова М.А. 2016. Крымский кризис-2014 глазами молодежи постсоветского поколения. — *Социологические исследования*. № 9. С. 50–58.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ “ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ” В 2020 г.

ТЕМА НОМЕРА

Арапова Е.Я., Хохлова Н.И. Модели регионализации в АТР	№ 5
Арбатов А.Г. Китай и ограничение вооружений: не утопия, а возможность	№ 4
Бедерсон В.Д. Гражданские ассоциации и политический режим в мировой недемократической практике: между политическим контролем и социальной эффективностью	№ 2
Ефремова К.А. АСЕАН как потенциальный субъект глобального управления: предпосылки, возможности и перспективы	№ 3
Ибрагимов К.А., Барабанов О.Н. Право на развитие: инновации как глобальное достояние	№ 2
Истомин И.А., Байков А.А. Альянсы на службе гегемонии: деконструкция инструментария военно-политического доминирования	№ 6
Коктыш К.Е. Событие свободы: опыт деконструкции	
Коннов В.И. Программы научной политики: парадигмальный анализ	№ 1
Лапкин В.В., Пантин В.И. Глобальная политико-институциональная динамика в условиях дестабилизации миропорядка (на примере стран ЕС и России)	№ 4
Лебедева М.М. Новый мировой порядок: параметры и возможные контуры	№ 4
Лукин А.В. Россия и Китай в Большой Евразии	№ 5
Мельвиль А.Ю. Выйти из “гетто”: о вкладе постсоветских исследований / Russian Studies в современную политическую науку	№ 1
Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г. “Политический атлас современности” revisited	№ 6
Саркисян О.Л., Дунамалян Н.А. Динамика трансформации гражданской идентичности в современной Армении: факторы и субъекты	№ 2
Торкунов А.В., Стрельцов Д.В., Колдунова Е.В. Российский поворот на Восток: достижения, проблемы и перспективы	№ 5
Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Политическая теория деколонизации: императивы современного прочтения	№ 6
Худайкулова А.В., Рамич М.С. “Квад 2.0”: четырехсторонний диалог для контрбалансирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе	№ 3
Чугров С.В. Переосмысление итогов Второй мировой войны в современной Японии	№ 5
Butler W.E., Entin M.L., Entina E.G., Torkunova E.A. Greater Eurasia: In Search of a Legal Order	№ 4
Korybko A., Morozov V.M. Pakistan's Role in Russia's Greater Eurasian Partnership	№ 3

189

ЛАБОРАТОРИЯ

Евгеньева Т.В., Смутькина Н.В., Цымбал И.А. Место России в мире в восприятии рядовых граждан: идентификационное измерение	№ 4
Шестопал Е.Б., Рогач Н.Н. Идеальные представления как фактор восприятия реального политического лидера	№ 4

DIXI!

Некlessа А.И. Приватизация будущего.	№ 2
Движение к новой семантике, концепции и практике мира	
Оганисян Ю.С. Феномен тоталитаризма: выход в XXI век	№ 2

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Антюхова Е.А. Акторные модели глобальной образовательной политики	№ 3
Ахременко А.С., Стукал Д.К., Петров А.П. Сеть или текст? Факторы распространения протеста в социальных медиа: теория и анализ данных	№ 2
Бугров К.Д., Логинов А.В. Назад к субъекту: теории справедливой войны в современной политической мысли	№ 5
Галларотти Дж. Как измерять мягкую силу в международных отношениях	№ 1
Гринин Л.Е., Гринин А.Л. Революции XX века: теоретический и количественный анализ	№ 5
Гуторов В.А. Еще раз о ценностях и “Капитале”	№ 3
Динч Д. На берегу “Империи”. Критический анализ концепции Хардта и Негри	№ 2
Ильин М.В. Вновь о принципах эволюции	№ 1
Коньшев В.Н. Неоклассический реализм в теории международных отношений	№ 4
Наумкин В.В. Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация?	№ 4
Сардарян Г.Т., Алексеева Т.А. Секуляризация и религиозность в оптике конструктивизма	№ 4
Стрежнева М.В. Системный подход в международных исследованиях: об актуальности теоретического наследия Александра Богданова	№ 4
Терин Д.Ф. Политическое доверие, удовлетворенность и представления о причинах бедности: роль нормативных аспектов институтов в производстве доверия	№ 3

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Барсукова С.Ю., Денисова-Шмидт Е.В. “Политические инвестиции” бизнеса в России, или почему бизнес финансирует избирательные кампании	№ 3
Козырева П.М., Смирнов А.И. Эволюция правовых представлений россиян: законопослушность или справедливость?	№ 5
Литвинова Т.Н. Эффективность региональной власти: от теории к измерению (на примере республик Северо-Кавказского федерального округа)	№ 2
Малахов В.С., Летняков Д.Э. Мерцающий секуляризм: религия в российском публичном пространстве	№ 1
Мартынов М.Ю., Фадеева Л.А., Габеркорн А.И. Патриотизм как политический дискурс в современной России	№ 2
Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Семененко И.С. Развитие сельских местных сообществ: потенциал политики идентичности	№ 3
Назукина М.В. Институционализация этничности в политике идентичности российских республик: концептуальный анализ	№ 3
Найденко В.Н. Этноконфликтность в контексте национальной безопасности России	№ 1
Паин Э.А., Федюнин С.Ю. Политика интеркультурализма и возможности ее применения в России	№ 1
Палитай И.С. Молодое поколение российской политической элиты: статусно-ролевые и личностные характеристики	№ 5
Петухов Р.В. Запрос на перемены: политико-ценностное измерение	№ 6
Сапронова М.А., Чечевিশников А.Л., Ярлыкапов А.А. Становящееся научное сообщество. Сводный портрет исследователей российского ислама	№ 2
Селезнева А.В., Азарнова А.А. “Рождение гражданина”: политико-психологический анализ гражданственности российских старшеклассников	№ 5
Сунгуров А.Ю., Козлова Н.Н., Мамагулашвили В.И. Общественные палаты как институты реализации патерналистской модели взаимодействия власти и общества: опыт Тверской области и Санкт-Петербурга	№ 3
Шкель С.Н. Политические установки муниципальных элит в современной России (на примере муниципалитетов Пермского края)	№ 6

ORBIS TERRARUM

Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Изменение стимулов и стратегий национальных правительств в условиях многоуровневого управления в Европейском союзе	№ 5
Грэм Т. Китай – Россия – США: отношения и стратегические треугольники	№ 6
Кириченко Э.В. Экспортный контроль как инструмент поддержания лидерства США в меняющемся мире	№ 1
Коньков А.Е., Чуков Р.С. Парламентская дипломатия: развитие общественно-государственного взаимодействия на мегаполитическом уровне	№ 1
Кравченко С.А. Пандемия COVID-19: вызовы здоровью населения мира – возможна ли гуманистическая глобальная биополитика?	№ 6
Малахов В.С., Касцяк К.А. Евросоюз перед лицом вынужденной миграции: политическое и юридическое измерение	№ 4
Пальмовский Т., Федоров Г.М. Российско-польское пограничье: проблемы и перспективы развития трансграничных связей	№ 2
Сергеев В.М., Казанцев А.А., Медведева С.М. Территориальная неоднородность глобализации и порождаемые ею типы конфликтов	№ 1
Тимофеев И.Н. “Санкции за нарушение санкций”: принудительные меры Министерства финансов США против компаний финансового сектора	№ 6
Чигашева М.А., Елизарьева М.А., Ларина Т.С. Национально-культурная специфика политического языка лидеров блока ХДС/ХСС	№ 4
Verlaine M., Shashkova A.V., Kudryashova E.V. Amendments to Russian Constitution and International Institutions Decisions: EAEU Prospective	№ 5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Казаринова Д.Б. “Массовая наука” на конференции EPSA: опыт включенного наблюдения	№ 1
---	-----

РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПРОЧИТАННЫМ

Белоусов А.Б. Парадоксы вертикали власти: ретроспекция, воображение, травмы	№ 6
Гудалов Н.Н. Политические практики: проблематизация данности или поклонение ей?	№ 5
Кочеров О.С. “Грядущая философия” международных отношений и апофатическая демократия Фреда Даллмайра	№ 6
Лапкин В.В. Государство во временах и пространствах: многообразие и изменчивость	№ 6
Михайленок О.М., Назаренко А.В. Публичная политика, развитие и институты: логика сопряжения смыслов и “забытые вещи” в новой бытийной реальности	№ 1
Соловьев А.И. Власть и политика. Полемические заметки о “проклятых вопросах” политической науки	№ 6
Турченко М.С. Мировые практики электоральных манипуляций	№ 5
Хахалкина Е.В. Институт премьер-министра и будущее партийно-политической системы Великобритании	№ 3
Хворостов А.В. Что такое демократия и как ее измерить?	№ 3
Ядова М.А. Поколение миллениалов в российском обществе: в поисках другой молодежи	№ 6
Яновский О.С. Языки политики и политика языков. Российский взгляд на Кембриджскую школу	№ 1

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ РЕЦЕНЗЕНТАМ

В основе отбора поступающих в редакцию рукописей лежит независимое двойное слепое рецензирование, организовать которое удалось только благодаря безвозмездной помощи десятков ученых из разных городов и даже стран. Фундированная критика, высказанная в рецензиях, помогает авторам видеть слабые места своих работ и качественно совершенствовать тексты, а читателям нашего журнала — знакомиться с существенно улучшенными версиями статей.

Редакция выражает благодарность всем экспертам, откликнувшимся на просьбы дать профессиональную оценку поступившим рукописям. Этот труд крайне важен и незаменим для развития политической науки в России, для улучшения коммуникации между учеными, представляющими разные научные и образовательные организации. В сложных условиях пандемии коронавируса большинство рецензентов нашли силы, время и мотивацию продолжить сотрудничество с нашей редакцией, и это особенно ценно на фоне драматической социальной реальности.

Самыми активными в уходящем году рецензентами стали: Гуторов Владимир Александрович, Малинова Ольга Юрьевна, Прохоренко Ирина Львовна, Розов Николай Сергеевич, Сморгун Леонид Владимирович, Соловьев Александр Иванович и Сунгуров Александр Юрьевич. В знак признательности они получают электронную подписку на журнал на 2021 год.

ПОДПИСКА

Во всех отделениях связи:

- по каталогу “Газеты. Журналы” (“РОСПЕЧАТЬ”). Индекс 70790 — на полугодие.

В агентствах по подписке:

- ООО “Урал-Пресс”. Тел.: 8 (495) 721-25-89; <http://www.ural-press.ru>
- ООО “Информнаука”. Тел.: 8 (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; <http://www.informnauka.com>
- ООО “НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”. Тел. 8 (499) 789-45-55; <http://www.informsystema.ru>

В интернете:

- ОАО Агентство “РОСПЕЧАТЬ”: <http://press.rospress.ru>

В электронном виде статьи и выпуски журнала можно приобрести в интернет-магазине www.polismag.ru

За разрешением на перепечатку или перевод опубликованных в нашем журнале материалов обращаться в Редакцию.

Страницы журнала всегда открыты для дискуссионных материалов, поэтому его содержание не обязательно отражает точку зрения Учредителей и Редакции.

© Полис. Политические исследования, 2020, № 6(180), 1-192 стр.

Сдано в производство: 26.08.2020. Подписано к печати: 03.11.2020. Дата выхода в свет: 25.11.2020.

Формат 70 x 100 1/16. Гарнитура “Ньютон”. Печать офсетная.

Печ.л. 12,0. Уч.-изд.л. 17. Тираж 770. Цена свободная. Индекс 70790. Заказ

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в типографию-изготовитель

Адрес издателя журнала “Полис. Политические исследования”:

101100, Москва, Колпачный пер., д. 6, пом. II, комн. 5.

Адрес редакции журнала “Полис. Политические исследования”:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корпус 5, оф. 208; телефон: 8 (495) 502-43-17.

Email: new-polis@politstudies.ru (для текущей переписки); new-authors@politstudies.ru (для авторов)

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ФГУП “Издательство “Наука” (Типография “Наука”)
121099, Москва, Шубинский пер., 6